

С В Е Т Л Я Ч О К

1-4
классы



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

для начальной школы



Рассказы Романы Сказки
Поэмы Стихотворения Басни

СВЕТЛЯЧОК

1-4
классы

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

для начальной школы



Москва

2014

У 59 **Универсальная хрестоматия для начальной школы : 1–4 классы.** — Москва : Эксмо, 2014. — 592 с. — (Светлячок. Хрестоматии).

ISBN 978-5-699-71646-3

Универсальная хрестоматия составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта нового поколения и может быть использована со всеми основными учебниками по литературному чтению, рекомендованными Министерством образования и науки РФ.

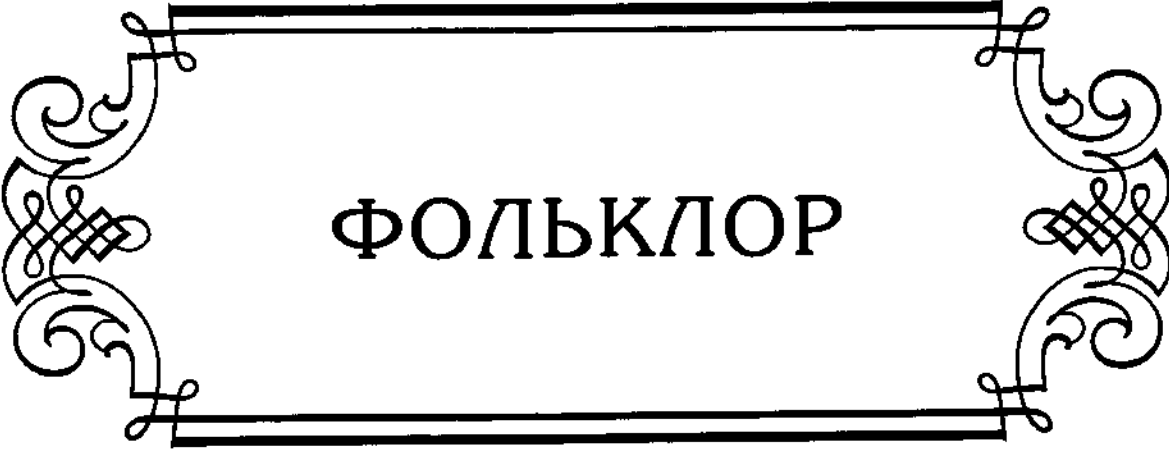
Книга включает в себя произведения устного народного творчества, сказки, стихотворения и прозу русских и зарубежных писателей.

Хрестоматия закрепляет навыки работы с текстом, формирует интерес к чтению, расширяет кругозор учащихся, способствует улучшению техники чтения, литературному и творческому развитию детей. Издание предназначено для подготовки к урокам литературного чтения и интересного и полезного досуга.

УДК 371:82*01/04
ББК 83я71

ISBN 978-5-699-71646-3

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014



ФОЛЬКЛОР



Потешки

Кошка и курочка.

Кошка на окошке
Рубашку шьёт,
Курочка в сапожках
Избёнку метёт.

Мыши

Мыши водят хоровод,
На лежанке дремлет кот.
Тише, мыши, не шумите,
Кота Ваську не будите.
Вот проснётся Васька-кот,
Разобьёт весь хоровод.

* * *

Андрейка, детка, о чём плачешь?
Об ворота ударился головой.
Ну-ка, скажи, когда это случилось?
Вчера вечером.
Почему же ты плачешь сегодня?
Так вчера дома никого не было!

* * *

- **З**дравствуй, кум! Ты куда?
- Да по дрова поехал.
- Что везёшь?
- Сено.
- Какое сено, ведь это дрова?!
- А коли видишь, так что спрашиваешь?

* * *

- **С**ено для лошади?
- Да.
- Напоил лошадь?
- Напоил.
- Так иди запрягай!
- А где она?



Небылицы

* * *

Небывальщины-небылицы
Лежат в бабушкиной светлице,
Завёрнуты в тряпицы
В медном ларце
На дубовом поставце,
Кого хочешь — позабавь,
А ларец на место поставь.

* * *

Из-за леса, из-за гор
Едет дедушка Егор,
Он на сивой на телеге,
На скрипучем на коне,
Топорищем подпоясан,
Ремень за пояс заткнут,
Сапоги нараспашку,
На босу ногу зипун.

* * *

У Иванова двора
Загорелася вода.
Всем селом пожар тушили,
А огонь не загасили.
Пришёл дедушка Фома,
Расседая борода.
Он народ погнал в овин,

Затушил пожар один.
Как Фома тушил пожар,
Он об этом не сказал.
Только слышно стороной:
Затушил он бородой!

* * *

Между небом и землёй
Поросёнок рылся
И нечаянно хвостом
К небу прицепился.

* * *

Ехала деревня мимо мужика,
Вдруг из-под собаки лают ворота.
Выхватил телегу
Он из-под кнута
И давай дубасить
Ею ворота.
Крыши испугались,
Сели на ворон,
Лошадь погоняет
Мужика кнутом.



Загадки

* * *

Без окон, без дверей
Полна горница людей.
(Огурец)

* * *

Чёрный Ивашка,
Деревянная рубашка,
Где носом ведёт,
Там заметку кладёт.
(Карандаш)

* * *

Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает.
(Книга)

* * *

Железный нос
В землю врос,
Роет, копает,
землю разрыхляет.
(Лопата)

* * *

Сидит дед,
Во сто шуб одет.

Кто его раздевает,
Тот слёзы проливает.

(Лук)

* * *

Среди двора стоит копна:
Спереди вилы, сзади метла.

(Корова)

* * *

Кланяется, кланяется,
Придёт домой — растянется.

(Топор)

* * *

Маленька,
Светленька,
Да весь мир одевает.

(Игла)

* * *

Летит орлица
По синему небу.
Крылья распластала,
Солнышко застлала.

(Туча)

* * *

Сам алый, сахарный;
Кафтан зелёный, бархатный.

(Арбуз)

Скороговорки

* * *

Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь.

* * *

Ехал грека через реку,
Видит грека — в реке рак,
Сунул грека руку в реку,
Рак за руку греку цап.

* * *

На дворе трава, на траве дрова.
Не руби дрова на траве двора.

* * *

От топота копыт пыль по полю летит.

* * *

Проворонила ворона воронёнка.

* * *

Бежит лиса по шесточку,
Лизни, лиса, песочку!

* * *

У перепела и перепёлки пять перепелят.

* * *

Шли сорок мышей, несли сорок грошей;
Две мыши поплоше несли по два гроша.

* * *

Три сороки-тараторки тараторили на горке.

* * *

Дед Данила делил дыню — дольку Диме, дольку Дине

* * *

Спать на сене будет Сеня.

* * *

Стоит воз овса, возле воза — овца.

* * *

У Саши в каше сыворотка из-под простокваши.

* * *

Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки
Раз Егорка,
Два Егорка,
Три Егорка...
(и так до тридцати трёх Егорок)



Считалки

* * *

Ай, чу-чу, чу-чу, чу-чу,
Я горошек молочу,
Я горошек молочу
На Ивановом току.
Ко мне курочка бежит,
Конопаточка спешит.
Ой, бежит она, спешит,
Ничего не говорит.
А из курочки перо
Полетело далеко,
Ой, далёко, далеко,
На Иваново село.

* * *

Конь ретивый,
Долгогривый,
Скачет полем,
Скачет нивой,
Кто коня
Того поймает,
С нами в салочки
Играет.

* * *

Начинается считалка:
На берёзу села галка,
Две вороны, воробей,
Три сороки, соловей.

* * *

Ой ты, зоренька-заря,
Заря вечерняя.
А кто зореньку найдёт,
Тот и вон пойдёт.

* * *

Конь ретивый
С длинной гривой
Скачет по полям
Тут и там.
Где проскачет он —
Выходи вон.

* * *

Палочка идёт,
Кого первого найдёт,
Тот за палочкой пойдёт.



Докучные сказки

* * *

Стоит град пуст,
А во граде куст.
Под кустом сидит старец,
У него в руках косо́й заяц.
У зайца во рту сало.
Не начать ли сначала?

Жили-были два брата

Жили-были два брата, два братца — кулик да журавль.
Накосили они стожок сенца, поставили среди поляца. Не
сказать ли сказку опять с конца?

Жил-был старичок

— **Ж**ил-был старичок. Поехал на мельницу намотать
муки...

— Ну вот, поманил, а не рассказываешь!

— Кабы доехал, рассказал, а он, может, неделю про-
едет!

Пришёл медведь к броду

Пришёл медведь к броду,
Бултых в воду!
Уж он мок, мок, мок,

Уж он кис, кис, кис,
Вымок, выкис, вылез, высох.
Встал на колоду —
Бултых в воду!
Уж он мок, мок, мок...

Мы с тобой шли?

- Мы с тобой шли?
- Шли!
- Сапог нашли?
- Нашли!
- Я тебе его дал?
- Дал!
- Ты его взял?
- Взял!
- А где же он?
- Кто?
- Да не кто, а что!
- Что?
- Сапог!
- Какой?
- Ну такой! Мы с тобой шли?
- Шли!
- Сапог нашли?
- Нашли...



Русские народные сказки

Как мужик гусей делил

У одного бедного мужика не стало хлеба. Вот он и задумал попросить хлеба у барина. Чтобы было с чем идти к барину, он поймал гуся, изжарил его и понёс. Барин принял гуся и говорит мужику:

— Спасибо, мужик, тебе за гуся; только не знаю, как мы твоего гуся делить будем. Вот у меня жена, два сына да две дочери. Как бы нам разделить гуся без обиды?

Мужик говорит:

— Я разделю.

Взял ножик, отрезал голову и говорит барину:

— Ты всему дому голова — тебе голова.

Потом отрезал задок, подаёт барыне.

— Тебе, — говорит, — дома сидеть, за домом смотреть — тебе задок.

Потом отрезал лапки и подаёт сыновьям.

— Вам, — говорит, — ножки — топтать отцовские дорожки.

А дочерям крылья.

— Вы, — говорит, — скоро из дома улетите, вот вам по крылышку. А остаточки себе возьму!

И взял всего гуся.

Барин посмеялся, дал мужику хлеба и денег.

Услыхал богатый мужик, что барин за гуся награждал бедного мужика хлебом и деньгами, зажарил пять гусей и понёс к барину.

Барин говорит:

— Спасибо за гусей. Да вот у меня жена, два сына, две дочки — всех шестеро. Как бы нам поровну разделить твоих гусей?

Стал богатый мужик думать и ничего не придумал. Послал барин за бедным мужиком и велел делить. Бедный мужик взял одного гуся, дал барину с барыней и говорит:

— Вот вас трое с гусём.

Одного дал сыновьям.

— И вас, — говорит, — трое.

Одного дал дочерям:

— И вас трое.

А себе взял двух гусей.

— Вот, — говорит, — и нас трое с гусями, — всё поровну.

Барин посмеялся и дал бедному мужику ещё денег и хлеба, а богатого прогнал.



Дочь-семилетка

Ехали два брата: один бедный, другой богатый. У обоих по лошади — у бедного кобыла, у богатого мерин. Остановились они на ночлег рядом. У бедного кобыла принесла ночью жеребёнка; жеребёнок подкатился под телегу богатого. Будит он наутро бедного:

— Вставай, брат! У меня телега ночью жеребёнка родила.

Брат встаёт и говорит:

— Как можно, чтоб телега жеребёнка родила? Это моя кобыла принесла.

Богатый говорит:

— Кабы твоя кобыла принесла, жеребёнок бы подле был!

Поспорили они и пошли до начальства. Богатый дарил судей деньгами, а бедный словами оправдывался.

Дошло дело до самого царя. Велел он призвать обоих братьев и загадал им четыре загадки:

— Что всего на свете сильнее и быстрее? Что всего на свете жирнее? Что всего мягче? И что всего милее?

И положил им сроку три дня:

— На четвёртый приходите, ответ дайте!

Богатый подумал-подумал, вспомнил про свою куму и пошёл к ней совета просить.

Она посадила его за стол, стала угощать, а сама спрашивает:

— Что так печален, куманёк?

— Да загадал мне государь четыре загадки, а сроку всего три дня положил.

— Что такое, скажи мне.

— А вот что, кума! Первая загадка: что всего в свете сильнее и быстрее?

— Экая загадка! У моего мужа карая кобыла есть; нет её быстрее! Коли кнутом приударишь, зайца догонит.

— Вторая загадка: что всего на свете жирнее?

— У нас другой год рябой боров кормится; такой жирный стал, что на ноги не поднимается!

— Третья загадка: что всего в свете мягче?

— Известное дело — пуховик, уж мягче не выдумаешь!

— Четвёртая загадка: что всего на свете милее?

— Милее всего внучек Иванушка!

— Ну, спасибо тебе, кума! Научила уму-разуму, по век тебя не забуду.

А бедный брат залился горькими слезами и пошёл домой. Встречает его дочь-семилетка:

— О чём ты, батюшка, вздыхаешь да слёзы ронишь?

— Как же мне не вздыхать, как слёз не ронить? Задал мне царь четыре загадки, которые мне и в жизнь не разгадать.

— Скажи мне, какие загадки.

— А вот какие, дочка: что всего на свете сильнее и быстрее, что всего жирнее, что всего мягче и что всего милее?

— Ступай, батюшка, и скажи царю: сильнее и быстрее всего ветер, жирнее всего земля: что ни растёт, что ни живёт, земля питает! Мягче всего рука: на что человек ни ляжет, а всё руку под голову кладёт; а милее сна нет ничего на свете!

Пришли к царю оба брата — и богатый и бедный. Выслушал их царь и спрашивает бедного:

— Сам ли ты дошёл или кто тебя научил?

Отвечает бедный:

— Ваше царское величество! Есть у меня дочь-семилетка, она меня научила.

— Когда дочь твоя мудра, вот ей ниточка шёлкова; пусть к утру соткёт мне полотенце узорчатое.

Мужик взял шёлковую ниточку, приходит домой кручинный, печальный.

— Беда наша! — говорит дочери. — Царь приказал из этой ниточки соткать полотенце.

— Не кручинься, батюшка! — отвечала семилетка, отломила прутик от веника, подаёт отцу и наказывает: — Поди к царю, скажи, чтоб нашёл такого мастера, который бы сделал из этого прутика кросна¹: было бы на чём полотенце ткать!

Мужик доложил про то царю. Царь даёт ему полтораста яиц.

— Отдай, — говорит, — своей дочери; пусть к завтраму выведет мне полтораста цыплят.

Воротился мужик домой ещё кручиннее, ещё печальнее:

— Ах, дочка! От одной беды увернёшься — другая навяжется!

¹ Кросна — ткацкий станок.

— Не кручинься, батюшка! — отвечала семилетка.

Попекла яйца и припрятала к обеду да к ужину, а отца посылает к царю:

— Скажи ему, что цыплятам на корм нужно однодѣнное пшено: в один бы день было поле вспахано, просо засеяно, сжато и обмолочено. Другого пшена наши цыплята и клевать не станут.

Царь выслушал и говорит:

— Когда дочь твоя мудра, пусть наутро сама ко мне явится ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, ни без подарочка.

«Ну, — думает мужик, — такой хитрой задачи и дочь не разрешит; пришло совсем пропадать!»

— Не кручинься, батюшка! — сказала ему дочь-семилетка. — Ступай-ка к охотникам да купи мне живого зайца да живую перепѣлку.

Отец пошёл и купил ей зайца и перепѣлку.

На другой день поутру сбросила семилетка всю одежду, надела на себя сетку, в руки взяла перепѣлку, села верхом на зайца и поехала во дворец.

Царь её у ворот встречает. Поклонилась она царю.

— Вот тебе, государь, подарочек! — и подаёт ему перепѣлку.

Царь протянул было руку, перепѣлка — порх — и улетела!

— Хорошо, — говорит царь, — как приказал, так и сделано. Скажи теперь: ведь твой отец беден, чем вы кормитесь?

— Отец мой на сухом берегу рыбу ловит, ловушек в воду не ставит, а я подолом рыбу ношу да уху варю.

— Что ты, глупая, когда рыба на сухом берегу живёт? Рыба в воде плавает!

— А ты умён? Когда видано, чтобы телега жеребѣнка принесла?

Царь присудил отдать жеребёнка бедному мужику, а дочь его взял к себе. Когда семилетка выросла, он женился на ней, и стала она царицею.



Мена

Купался богатый купец в реке, попал на глубокое место и стал тонуть. Шёл мимо старик мужик-серячок, услышал крик, кинулся — и купца из воды вытащил. Купец не знает, как старика благодарить: позвал к себе в город, угостил хорошенько и подарил ему кусок золота величиною с конскую голову.

Взял золото мужичок и идёт домой, а навстречу ему барышник — целый табун лошадей гонит:

- Здравствуй, старик! Откуда бог несёт?
- Из города, от богатого купца.
- Что же тебе купец дал?
- Кусок золота с конскую голову.
- Отдай мне золото, возьми лучшего коня.

Взял старик лучшего коня, поблагодарил и пошёл дальше.

Идёт старик, а навстречу ему пастух волов гонит:

- Здравствуй, старик! Откуда бог несёт?
- Из города, от купца.
- Что же тебе купец дал?
- Золота с конскую голову.
- А где же оно?
- Променял на коня.
- Променяй мне коня на любого вола.

Старик выбрал вола, поблагодарил и пошёл. Идёт старичок, а навстречу овчар — гонит овечье стадо:

- Здравствуй, старичок! Откуда бог несёт?

- От богатого купца, из города.
- Что же тебе купец дал?
- Золота с конскую голову.
- Где же оно?
- Променял на коня.
- А конь где?
- Променял на вола.
- Променяй мне вола на любого барана.

Взял старик лучшего барана, поблагодарил и пошёл дальше. Идёт старик, а навстречу свинопас — поросят гонит:

- Здравствуй, старик! Где был?
- В городе, у богатого купца.
- Что же тебе купец дал?
- Кусок золота с конскую голову.
- Где же оно?
- Променял на коня.
- А конь где?
- Променял на вола.
- А вол где?
- Променял на барана.
- Давай мне барана, бери себе лучшего поросёнка.

Выбрал старик поросёнка, поблагодарил пастуха и пошёл.

Идёт старик, а навстречу ему коробейник с коробом за спиной:

- Здравствуй, старик! Откуда идёшь?
- От купца, из города.
- А что тебе купец дал?
- Золота с конскую голову.
- Где же оно?
- Променял на коня.
- А конь где?
- Променял на вола.
- А вол где?

- Променял на барана.
- А баран где?
- Променял на поросё.
- Променяй мне поросёнка на любую иглу.

Выбрал старик славную иголку, поблагодарил и пошёл домой. Пришёл старик домой, стал через плетень перелезть и иглу потерял. Выбежала старику навстречу старушка:

— Ах, голубчик мой, я без тебя здесь совсем пропала! Ну, рассказывай: был ты у купца?

- Был.
- Что тебе купец дал?
- Кусок золота с конскую голову.
- Где же оно?
- Променял на коня.
- А конь где?
- Променял на вола.
- А вол где?
- Променял на барана.
- А баран где?
- Променял на поросёнка.
- А поросёнок где?

— Променял на иглу: хотел тебе, старая, подарочек принести, стал через плетень перелезть и потерял.

— Ну хорошо, голубчик, что ты хоть сам вернулся! Пойдём в избу ужинать.

И теперь живёт старичок со старушкой, счастливы и без золота.



Снегурочка

Жили-были на свете дед и баба. Жили они, жили и состарились.

А детей у них не было. И очень они о том горевали. Вот раз зимой выпало снегу по колено. Выбежали ребята на улицу играть. На санках катаются, снежками кидаются. А потом стали снежную бабу лепить.

Смотрел на них старик из окошка, смотрел да и говорит бабе:

— А что, старуха, не пойти ли и нам по молодому снежку погулять?

А старуха в ответ:

— Что же, старик, пойдём. Вылепим себе из снега дочку Снегурочку.

Так и сделали. Пошли в огород и давай Снегурочку лепить. Вылепили ручки, ножки, головку. Глазки из светлых льдинок сделали, брови угольком вывели. Хороша Снегурочка! Смотрят на неё старики — насмотреться не могут.

И вдруг усмехнулась Снегурочка, бровью повела, ручку подняла, шагнула разок-другой и пошла себе тихонько по снегу к избе.

Тут-то обрадовались дед и баба, побежали за ней в избу, не знают, куда посадить, чем угостить.

Так и осталась жить у деда с бабой дочка Снегурочка.

Растёт Снегурочка не по дням, а по часам. Что ни день — всё умнее да милее становится.

Дед и баба на неё не нарадуются. Сапожки ей купили сафьяновые, ленту в косу — атласную.

День и ночь — сутки прочь. Вот и миновала зима, пришла весна. Стало солнышко пригревать. Потекли из-под снега ручьи. Закапало с крыши. Все ребята рады-радешеньки. Одна Снегурочка невесела — сидит в уголке, на свет не глядит.

Только и радости у неё, как набегут на небо тёмные тучи да холодком дохнёт. Смотрит на неё старуха, головой качает.

— Кто тебя, доченька, обидел?

— Никто не обидел, матушка.

— Может, нездоровится?

Молчит Снегурочка, а у самой по белым щекам слёзы катятся.

Тут и лето настало. Солнышко печёт, земля цветёт. Собрались девушки в лес гулять и Снегурочку зовут:

— Пойдём с нами!

Боится Снегурочка за порог выйти.

— Жарко, — говорит, — солнце голову напечёт.

— А ты платочек на голову повяжи, вот и не напечёт.

Не пошла бы Снегурочка, да старики её уговорили:

— Ступай, доченька. Что тебе одной сидеть?

Послушалась Снегурочка, пошла с девушками. Они в лесу цветы рвут, венки плетут, а она себе сидит в тени у студёного ручейка, ножки в воду опустила, ждёт, пока солнце закатится.

Вот и зашло солнышко. Вечер наступил.

Развеселились девушки, развели костёр и вздумали через огонь прыгать. Одна прыгнула, а за ней другая, третья.

— Что же ты не прыгаешь? — говорят ей подруги. — Иль боишься?

Собралась Снегурочка с духом, разбежалась и прыгнула. Смотрят девушки — где же Снегурочка? Нет её. Только над костром белый пар вьётся. Свился в тонкое облачко, и полетело облачко высоко, высоко — другие облака догонять.

Растаяла Снегурочка.



Привередница

Жили-были муж да жена. Детей у них было всего двое — дочка Малашечка да сынок Ивашечка. Малашечке было годков десяток или поболее, а Ивашечке всего пошёл третий.

Отец и мать в детях души не чаяли и так уж избаловали! Коли дочери что наказать надо, то они не приказывают, а просят. А потом ублажать начнут:

— Мы-де тебе и того дадим, и другого добудем!

А уж как Малашечка испривереднилась, так такой другой не то что на селе, чай, и в городе не было! Ты подай ей хлебца не то что пшеничного, а сдобненького, — на ржаной Малашечка и смотреть не хочет!

А испечёт мать пирог-ягодник, так Малашечка говорит:

— Кисел, давай медку!

Нечего делать, зачерпнёт мать на ложку мёду и весь на дочернин кусок ухнет. Сама же с мужем ест пирог без мёду: хоть они и с достатком были, а сами так сладко есть не могли.

Вот раз понадобилось им в город ехать, они и стали Малашечку ублажать, чтобы не шалила, за братом смотрела, а пуще всего, чтобы его из избы не пускала.

— А мы-де тебе за это пряников купим, да орехов калёных, да платочек на голову, да сарафанчик с дутыми пуговками. — Это мать говорила, а отец поддакивал.

Дочка же речи их в одно ухо впускала, а в другое выпускала.

Вот отец с матерью уехали. Пришли к ней подруги и стали звать посидеть на травке-муравке. Вспомнила было девочка родительский наказ, да подумала: «Не велика беда, коли выйдем на улицу!» А их изба была крайняя к лесу.

Подруги заманили её в лес с ребёнком — она села и стала брату веночки плести. Подруги поманили её в коршу-

ны поиграть, она пошла на минутку, да и заигралась целый час.

Вернулась к брату. Ой, брата нет, и местечко, где сидел, остыло, только травка помята.

Что делать? Бросилась к подругам — та не знает, другая не видела. Взыла Малашечка, побежала куда глаза глядят брата отыскивать: бежала, бежала, бежала, набежала в поле на печь.

— Печь, печурка! Не видала ли ты моего братца Ивашечку?

А печка ей говорит:

— Девочка-привередница, поешь моего ржаного хлеба, поешь, так скажу!

— Вот, стану я ржаной хлеб есть! Я у матушки да у батюшки и на пшеничный не гляжу!

— Эй, Малашечка, ешь хлеб, а пироги впереди! — сказала ей печь.

Малашечка рассердилась и побежала далее. Бежала, бежала, устала, — села под дикую яблоню и спрашивает кудрявую:

— Не видала ли, куда братец Ивашечка делся?

А яблоня в ответ:

— Девочка-привередница, поешь моего дикого, кислого яблочка — может статься, тогда и скажу!

— Вот, стану я кислицу есть! У моих батюшки да матушки садовых много — и то ем по выбору!

Покачала на неё яблоня кудрявой вершиной да и говорит:

— Давали голодной Маланье оладьи, а она говорит: «Испечены неладно!»

Малаша побежала далее. Вот бежала она, бежала, набежала на молочную реку, на кисельные берега и стала речку спрашивать:

— Речка-река! Не видала ли ты братца моего Ивашечку?

А речка ей в ответ:

— А ну-ка, девочка-привередница, поешь наперёд моего овсяного киселька с молочком, тогда, быть может, дам ве-
сточку о брате.

— Стану я есть твой кисель с молоком! У моих у ба-
тюшки и у матушки и сливочки не в диво!

— Эх, — погрозились на неё река, — не брезгай пить
из ковша!

Побежала привередница дальше. И долго бежала она,
ища Ивашечку; наткнулась на ежа, хотела его оттолкнуть,
да побоялась наколоться, вот и вздумала с ним заговорить:

— Ёжик, ёжик, не видал ли ты моего братца?

А ёжик ей в ответ:

— Видел я, девочка, стаю серых гусей, пронесли они в
лес на себе малого ребёнка в красной рубашечке.

— Ах, это-то и есть мой братец Ивашечка! — завопила
девочка-привередница. — Ёжик, голубчик, скажи мне, куда
они его пронесли?

Вот и стал ёж ей сказывать: что-де в этом дремучем
лесу живёт Яга Баба, в избушке на курьих ножках; в при-
слугу наняла она себе серых гусей, и что она им прика-
жет, то гуси и делают.

И ну Малашечка ежа просить, ежа ласкать:

— Ёжик ты мой рябенький, ёжик игольчатый! Доведи
меня до избушки на курьих ножках!

— Ладно, — сказал он и повёл Малашечку в самую
чашу, а в чаще той все съедобные травы растут: кислица
да борщовник, по деревьям седая ежевика вьётся, пере-
плетается, за кусты цепляется, крупные ягодки на солныш-
ке созревают.

«Вот бы поесть!» — думает Малашечка, да уж до еды
ли ей! Махнула на сизые плетенницы и побежала за ежом.
Он привёл её к старой избушке на курьих ножках.

Малашечка заглянула в отворенную дверь и видит —
в углу на лавке Баба Яга спит, а на прилавке Ивашечка
сидит, цветочками играет.

Схватила она брата на руки да вон из избы!

А гуси-наёмники чутки. Сторожевой гусь вытянул шею, гагакнул, взмахнул крыльями, взлетел выше дремучего леса, глянул вокруг и видит, что Малашечка с братом бежит. Закричал, загоготал серый гусь, поднял всё стадо гусяное, а сам полетел к Бабе Яге докладывать. А Баба Яга — костяная нога так спит, что с неё пар валит, от храпа оконницы дрожат. Уж гусь ей в то ухо и в другое кричит — не слышит! Рассердился щипун, щипнул Ягу в самый нос. Вскочила Баба Яга, схватилась за нос, а серый гусь стал ей докладывать:

— Баба Яга — костяная нога! У нас дома неладно что-то сделалось, Ивашечку Малашечка домой несёт!

Тут Баба Яга как расходилась:

— Ах вы трутни, дармоеды, из чего я вас пою, кормлю! Вынь да положь, подайте мне брата с сестрой!

Полетели гуси вдогонку. Летят да друг с дружкой перекликаются. Заслышала Малашечка гусяный крик, подбежала к молочной реке, кисельным берегам, низенько ей поклонилась и говорит:

— Матушка река! Скрой, схорони ты меня от диких гусей!

А река ей в ответ:

— Девочка-привередница, поешь наперёд моего овсяного киселя с молоком.

Устала голодная Малашечка, в охотку поела мужицкого киселя, припала к реке и всласть напилась молока. Вот река и говорит ей:

— Так-то вас, привередниц, голодом учить надо! Ну, теперь садись под бережок, я закрою тебя.

Малашечка села, река прикрыла её зелёным тростником; гуси налетели, покрутились над рекой, искали брата с сестрой да с тем и полетели домой.

Рассердилась Яга пуще прежнего и прогнала их опять за детьми. Вот гуси летят вдогонку, летят да меж собой

перекликаются, а Малашечка, заслыша их, притче прежнего побежала. Вот подбежала к дикой яблоне и просит её:

— Матушка зелёная яблонька! Схорони, укрой меня от беды неминуемой, от злых гусей!

А яблоня ей в ответ:

— А поешь моего самородного кислого яблочка, так, может статься, и спрячу тебя!

Нечего делать, принялась девочка-привередница дикое яблоко есть, и показался дичок голодной Малаше слаще наливного садового яблочка.

А кудрявая яблонька стоит да посмеивается:

— Вот так-то вас, причудниц, учить надо! Давеча не хотела и в рот взять, а теперь ешь над горсточкой!

Взяла яблонька, обняла ветвями брата с сестрой и посадила их в серёдочку, в самую густую листву.

Прилетели гуси, осмотрели яблоню — нет никого! Полетели ещё туда, сюда да с тем к Бабе Яге и вернулись.

Как завидела она их порожнем, закричала, затопала, завопила на весь лес:

— Вот я вас, трутней! Вот я вас, дармоедов! Все пёрышки ощиплю, на ветер пущу, самих живьём проглочу!

Испугались гуси, полетели назад за Ивашечкой и Малашечкой. Летят да жалобно друг с дружкой, передний с задним, перекликаются:

— Ту-та, ту-та? Ту-та не-ту!

Стемнело в поле, ничего не видать, негде и спрятаться, а дикие гуси всё ближе и ближе; а у девочки-привередницы ножки, ручки устали — еле плетётся.

Вот видит она — в поле та печь стоит, что её ржаным хлебом потчевала. Она к печи:

— Матушка печь, укрой меня с братом от Бабы Яги!

— То-то, девочка, слушаться бы тебе отца-матери, в лес не ходить, брата не брать, сидеть дома да есть, что отец с матерью едят! А то «варёного не ем, печёного не хочу, а жареного и на дух не надо!»

Вот Малашечка стала печку упрашивать, умаливать: впёрёд-де таково не буду!

— Ну, посмотрю я. Пока поешь моего ржаного хлебца!

С радостью схватила его Малашечка и ну есть да братца кормить!

— Такого-то хлебца я отроду не видала — словно пряник-коврижка!

А печка, смеючись, говорит:

— Голодному и ржаной хлеб за пряник идёт, а сытому и коврижка вяземская не сладка! Ну, полезай теперь в устье¹, — сказала печь, — да заслонись заслоном.

Вот Малашечка скоренько села в печь, затворилась заслоном, сидит и слушает, как гуси всё ближе подлетают, жалобно друг дружку спрашивают:

— Ту-та, ту-та? Ту-та не-ту!

Вот полетали они вокруг печки. Не найдя Малашечки, опустились на землю и стали промеж себя говорить: что им делать? Домой ворочаться нельзя: хозяйка их живьём съест. Здесь остаться также не можно: она велит их всех перестрелять.

— Разве вот что, братья, — сказал передовой вожак, — вернёмся домой, в тёплые земли — туда Бабе Яге доступа нет!

Гуси согласились, снялись с земли и полетели далеко-далеко, за синие моря.

Отдохнувши, Малашечка схватила братца и побежала домой, а дома отец с матерью всё село исходили, каждого встречного и поперечного о детях спрашивали; никто ничего не знает, лишь только пастух сказывал, что ребята в лесу играли.

Побрели отец с матерью в лес да подле села на Малашечку с Ивашечкой и наткнулись.

¹ Устье — широкое топочное отверстие русской печи.

Тут Малашечка во всём отцу с матерью повинилась, про всё рассказала и обещала вперёд слушаться, не перечить, не привередничать, а есть, что другие едят.

Как сказала, так и сделала, а затем и сказке конец.



Подземные царства

В то давнее время, когда мир был наполнен лешими, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали жареные куропатки, в то время жил-был царь по имени Горох с царицей Анастасьей Прекрасной; у них было три сына-царевича.

И вдруг стряслась беда немалая — утащил царицу нечистый дух. Говорит царю старший сын:

— Батюшка, благослови меня, поеду отыскивать матушку!

Поехал и пропал. Три года про него ни вести, ни слуху не было. Стал второй сын проситься:

— Батюшка, благослови меня в путь-дорогу, авось мне посчастливится найти и брата, и матушку!

Царь благословил. Он поехал и тоже без вести пропал — словно в воду канул.

Приходит к царю младший сын, Иван-царевич:

— Любезный батюшка, благослови меня в путь-дорогу, авось разыщу и братьев, и матушку!

— Поезжай, сынок!

Иван-царевич пустился в чужедальнюю сторону. Ехал-ехал и приехал к синю морю. Остановился на бережку и думает:

«Куда теперь путь держать?»

Вдруг прилетели на море тридцать три колпицы, ударились оземь и стали красными девицами — все хороши,

а одна лучше всех. Разделись и бросились в воду. Много ли, мало ли они купались — Иван-царевич подкрался, взял у той девицы, что всех краше, кушачок¹ и спрятал за пазуху.

Искупались девицы, вышли на берег, начали одеваться — одного кушачка нет.

— Ах, Иван-царевич, — говорит красавица, — отдай мне кушачок!

— Скажи прежде, где моя матушка?

— Твоя матушка у моего отца живёт, у Ворона Вороновича. Ступай вверх по морю, попадётся тебе серебряная птичка — золотой хохолок. Куда она полетит, туда и ты иди!

Иван-царевич отдал ей кушачок и пошёл вверх по морю. Тут повстречал своих братьев, поздоровался с ними и взял с собой.

Идут они вместе берегом, увидели серебряную птичку — золотой хохолок и побежали за ней следом. Птичка летела, летела и бросилась под плиту железную, в яму подземельную.

— Ну, братцы, — говорит Иван-царевич, — благословите меня вместо отца, вместо матери: опущусь я в эту яму и узнаю, какова земля иноверная, не там ли наша матушка!

Братья его благословили, он обвязался верёвкой и полез в ту яму глубокую. Спускался ни много ни мало — ровно три года. Спустился и пошёл путём-дорогою.

Шёл-шёл, шёл-шёл, увидел медное царство: во дворце сидят тридцать три девицы-колпицы, вышивают полотенца хитрыми узорами — городами с пригородками.

— Здравствуй, Иван-царевич! — говорит царевна медного царства. — Куда идёшь, куда путь держишь?

— Иду свою матушку искать!

¹ Кушачок — уменьш.-ласк. от «кушак» — широкий пояс из ткани.

— Твоя матушка у моего отца, у Ворона Вороновича. Он хитёр и мудр, по горам, по долам, по вертепам¹, по облакам летал! Он тебя, добра молодца, убьёт! Вот тебе клубочек, ступай к моей средней сестре — что она тебе скажет. А назад пойдёшь, меня не забудь!

Иван-царевич покати клубочек и пошёл вслед за ним. Приходит в серебряное царство, и тут сидят тридцать три девицы-колпицы. Говорит царица серебряного царства:

— Досёлева русского духа было видом не видать, слыхом не слышать, а нынче русский дух воочую появляется! Что, Иван-царевич, от дела лытаешь али дело пытаешь?

— Ах, красная девица, иду искать матушку!

— Твоя матушка у моего отца, у Ворона Вороновича. И хитёр он, и мудр, по горам, по долам, по вертепам, по облакам летал! Эх, царевич, ведь он тебя убьёт! На тебе клубочек, ступай-ка ты к младшей моей сестре — что она тебе скажет: вперёд ли идти, назад ли вернуться?

Приходит Иван-царевич к золотому царству, и тут сидят тридцать три девицы-колпицы, полотенца вышивают. Всех выше, всех лучше царица золотого царства — такая краса, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Говорит она:

— Здравствуй, Иван-царевич! Куда идёшь? Куда путь держишь?

— Иду матушку искать!

— Твоя матушка у моего отца, у Ворона Вороновича. И хитёр он, и мудр, по горам, по долам, по вертепам, по облакам летал! Эх, царевич, ведь он тебя убьёт! На тебе клубочек, ступай в жемчужное царство: там твоя мать живёт. Увидя тебя, она возрадуется и тотчас прикажет: «Няньки-мамки, подайте моему сыну зелена вина!» А ты не бери, проси, чтоб дала тебе трёхгодовалого вина, что в шкапу стоит, да горелую корку на закусочку. Не забудь ещё: у моего батюшки есть на дворе два чана воды —

¹ Вертеп — (устар.) пещера, потаённое место.

одна вода сильная, а другая малосильная. Переставь их с места на место и напейся сильной воды. А когда будешь бороться с Вороном Вороновичем и побеждать его, проси у него только посошок-пёрышко.

Долго царевич с царевною разговаривали и так полюбили друг друга, что расставаться им не хочется, но делать нечего — попрощался Иван-царевич и отправился в путь-дорогу.

Шёл-шёл, приходит к жемчужному царству. Увидела его мать, обрадовалась и крикнула:

— Мамки-няньки! Подайте моему сыну зелена вина!

— Я не пью простого вина, подайте мне трёхгодовалого, а на закуску горелую корку!

Выпил царевич трёхгодовалого вина, закусил горелую коркою, вышел на широкий двор, переставил чаны с места на место и принялся сильную воду пить.

Вдруг прилетает Ворон Воронович. Был он светел, как ясный день, а увидел Ивана-царевича — сделался мрачнее тёмной ночи. Опустился к чану и стал тянуть бессильную воду.

Тем временем Иван-царевич пал к нему на крылья. Ворон Воронович взвился высоко-высоко, носил его и по долам, и по горам, и по вертепам, и по облакам и начал спрашивать:

— Что тебе нужно, Иван-царевич? Хочешь — казной наделю?

— Ничего мне не надобно, только дай мне посошок-пёрышко!

— Нет, Иван-царевич! Больно в широки сани садишься!

И опять понёс его Ворон по горам и по долам, по вертепам и облакам. А Иван-царевич крепко держится: налёг всей своей тяжестью и чуть-чуть не обломил ему крылья. Вскрикнул Ворон Воронович:

— Не ломай ты мои крылышки, возьми посошок-пёрышко!

Отдал царевичу посошок-пёрышко, сам сделался простым вороном и полетел на крутые горы.

А Иван-царевич пришёл в жемчужное царство, взял свою матушку и пошёл в обратный путь. Смотрит — жемчужное царство клубочком свернулось да вслед за ним покати-лось.

Пришёл в золотое царство, потом в серебряное, а по-том и в медное, взял с собой трёх прекрасных царевен, а те царства свернулись клубочками да и за ним же по-катились. Подходит к верёвке и затрубил в золотую трубу:

— Братцы родные! Если живы, меня не выдайте!

Братья услышали трубу, ухватились за верёвку и вытащи-ли на белый свет красную девицу, медного царства царев-ну. Увидели её и начали меж собой ссориться: один дру-гому уступить её не хочет.

— Что вы бьётесь, добрые молодцы! Там есть ещё лучше меня красная девица! — говорит царевна медного царства.

Царевичи опустили верёвку и вытащили царевну сере-бряного царства. Опять начали спорить и драться. Один говорит:

— Пусть мне достанется!

А другой:

— Не хочу! Пусть моя будет!

— Не ссорьтесь, добрые молодцы, там есть ещё краше меня девица, — говорит царевна серебряного царства.

Царевичи перестали драться, опустили верёвку и вы-тащили царевну золотого царства. Опять было принялись ссориться, да царевна-красавица тотчас остановила их:

— Там ждёт ваша матушка!

Вытащили они свою матушку и опустили верёвку за Ива-ном-царевичем. Подняли его до половины и обсекли верёв-ку. Полетел Иван-царевич в пропасть и крепко ушибся — полгода лежал без памяти. Очнувшись, посмотрел кругом, припомнил всё, что с ним случилось, вынул из кармана по-

сошок-пёрышко и ударил им о землю. В ту же минуту явились двенадцать молодцев:

— Что, Иван-царевич, прикажете?

— Вынесите меня на вольный свет!

Молодцы подхватили его под руки и вынесли на вольный свет.

Стал Иван-царевич про своих братьев разведывать и узнал, что они давно поженились: царевна из медного царства вышла замуж за среднего брата, царевна из серебряного царства — за старшего брата, а его наречённая невеста ни за кого не идёт. И вздумал на ней сам отец-старик жениться: собрал думу, обвинил свою жену в том, что совет держит со злыми духами, и велел отрубить ей голову. После казни спрашивает он царевну из золотого царства:

— Идёшь за меня замуж?

— Тогда пойду за тебя, когда сошьёшь мне башмаки без мерки!

Царь приказал клич кликать, всех и каждого выпрашивать, не сошьёт ли кто царевне башмаков без мерки? На ту пору приходит Иван-царевич в своё государство, нанимается у одного старичка в работники и посылает его к царю:

— Ступай, дедушка, бери на себя это дело. Я тебе башмаки сошью, только ты на меня не сказывай!

Старик пошёл к царю:

— Я готов за эту работу взяться!

Царь дал ему товару на пару башмаков и спрашивает:

— Да потрафишь ли ты, старичок?

— Не бойся, государь, у меня сын чеботарь¹!

Воротясь домой, отдал старичок товар Ивану-царевичу, тот изрезал товар в куски, выбросил за окно, потом отворил золотое царство и вынул готовые башмаки:

— Вот, дедушка, возьми, отнеси к царю!

Царь обрадовался, пристаёт к невесте:

¹ Чеботарь — сапожник.

— Скоро ли к венцу ехать?

Она отвечает:

— Тогда за тебя пойду, когда сошьёшь мне платье без мерки!

Царь опять хлопочет, собирает к себе всех мастеровых, даёт им большие деньги, только чтоб платье без мерки сшили. Иван-царевич говорит старику:

— Дедушка, иди к царю, возьми материю, я тебе платье сошью, только на меня не сказывай!

Старик поплёлся во дворец, взял атласа и бархата, воротился домой и отдал царевичу. Иван-царевич тотчас за ножницы, изрезал на клочки весь атлас и бархат и выкинул в окно. Отворил золотое царство, взял оттуда что ни есть лучшее платье и отдал старику:

— Неси во дворец!

Царь радёхонек:

— Что, невеста моя возлюбленная, не пора ли нам к венцу ехать?

— Тогда за тебя пойду замуж, когда возьмёшь старикова сына да велишь в молоке сварить!

Царь не задумался, отдал приказ — и в тот же день собрали со всех дворов по ведру молока, налили большой чан и вскипятили на сильном огне.

Привели Ивана-царевича. Начал он со всеми прощаться, в землю кланяться. Бросили его в чан: он нырнул, выскочил вон и сделался таким красивым, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Говорит царевна:

— Посмотри-ка, царь! За кого мне замуж идти: за тебя ли, старого, или за него, доброго молодца?

Царь подумал: «Если и я в молоке искупаюсь, таким же красавцем сделаюсь!» Бросился в чан и сварился в молоке...

А Иван-царевич поехал с царевной венчаться. Обвенчались, выслал он своих братьев из царства и стал с царевной жить-поживать да добра наживать.

Царевна-лягушка

В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь с царицей; у него было три сына — все молодые, холостые, удальцы такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать; младшего звали Иван-царевич.

Говорит однажды царь такое слово:

— Дети мои милые! Возьмите себе по стреле, натяните тугие луки и пустите стрелы в разные стороны; на чей двор стрела упадёт, там и сватайтесь.

Пустил стрелу старший брат — упала она на боярский двор, прямо против девичьего терема. Пустил средний брат — полетела к купцу на двор и остановилась у красного крыльца, а на том крыльце стояла душа-девица, дочь купеческая. Пустил младший брат — попала стрела в грязное болото, и подхватила её лягуша-квакуша.

Говорит Иван-царевич:

— Как мне за себя квакушу взять? Квакуша — неровня мне!

— Бери, — отвечает ему царь, — знать, судьба твоя такова.

Вот поженились царевичи: старший — на боярышне, средний — на купеческой дочери, а Иван-царевич — на лягуше-квакуше.

Призывает их царь и приказывает:

— Чтобы жёны ваши испекли мне к завтраму по мягкому белому хлебу!

Воротился Иван-царевич в свои палаты невесел, ниже плеч буйну голову повесил.

— Ква-ква, Иван-царевич! Почто так закручинился? — спрашивает его лягушка. — Аль услышал от отца своего слово неприятное?

— Как мне не кручиниться? Государь мой батюшка приказал тебе к завтраму изготовить мягкий белый хлеб!

— Не тужи, царевич! Ложись-ка спать-почивать: утро вечера мудренее!

Уложила лягушка царевича спать да сбросила с себя лягушечью кожу и обернулась душой-девицей, Василисою Премудрою, вышла на красное крыльцо и закричала громким голосом:

— Мамки-няньки! Собирайтесь, снаряжайтесь, приготовьте мягкий белый хлеб, каков ела я, кушала у родного моего батюшки.

Наутро проснулся Иван-царевич, у квакуши хлеб давно готов, и такой славный, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать!

Изукрашен каравай разными хитrostями, по бокам видны города царские и с заставами.

Благодарствовал царь на том хлебе Ивану-царевичу и тут же отдал приказ трём своим сыновьям:

— Чтобы жёны ваши соткали мне за одну ночь по ковру.

Воротился Иван-царевич невесел, ниже плеч буйну голову повесил.

— Ква-ква, Иван-царевич! Почто закручинился? Аль услышал от отца своего слово неприятное?

— Как мне не кручиниться? Государь мой батюшка приказал за единую ночь соткать ему шёлковый ковёр.

— Не тужи, царевич! Ложись-ка спать-почивать: утро вечера мудренее.

Уложила его спать, а сама сбросила лягушечью кожу и обернулась душой-девицей, Василисою Премудрою. Вышла она на красное крыльцо и закричала громким голосом:

— Мамки-няньки! Собирайтесь, снаряжайтесь шёлковый ковёр ткать, чтоб таков был, на каком я сживала у родного моего батюшки!

Как сказано, так и сделано.

Наутро проснулся Иван-царевич, у квакуши ковёр давно готов, и такой чудный, что ни вздумать, ни взгадать, разве в сказке сказать.

Изукрашен ковёр златом-серебром, хитрыми узорами.

Благодарствовал царь на том ковре Ивану-царевичу и тут же отдал новый приказ: чтобы все три царевича явились к нему на смотр вместе с жёнами. Опять воротился Иван-царевич невесел, ниже плеч буйну голову повесил.

— Ква-ква, Иван-царевич! Почто кручинишься? Аль от отца услышал слово неприветливое?

— Как же мне не кручиниться? Государь мой батюшка велел, чтобы я с тобой на смотр приходил; как я тебя в люди покажу?

— Не тужи, царевич! Ступай один к царю в гости, а я вслед за тобой буду; как услышишь стук да гром, скажи: это моя лягушонка в коробчонке едет.

Вот старшие братья явились на смотр со своими жёнами, разодетыми, разубранными; стоят да над Иваном-царевичем смеются:

— Что ж ты, брат, без жены пришёл? Хоть бы в платочке принёс! И где ты этакую красавицу выискал? Чай, всё болото исходил?

Вдруг поднялся великий стук да гром — весь дворец затрясся.

Гости крепко напугались, повскакали со своих мест и не знают, что и делать, а Иван-царевич говорит:

— Не бойтесь, гости дорогие! Это моя лягушонка в коробчонке приехала!

Подлетела к царскому крыльцу золочёная коляска, в шесть лошадей запряжена, и вышла оттуда Василиса Премудрая — такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать! Взяла Ивана-царевича за руку и повела за столы дубовые, за скатерти браные.

Стали гости есть-пить, веселиться. Василиса Премудрая испила из стакана да последки¹ себе за левый рукав вылила; закусила лебедем да косточки за правый рукав спрятала.

¹ Последки — (прост.) остатки.

Жёны старших царевичей увидали её хитрости, давай и себе то же делать. Пошла Василиса Премудрая танцевать с Иваном-царевичем, махнула левой рукой — сделалось озеро, махнула правой — и поплыли по воде белые лебеди. Царь и гости диву дались!

А старшие невестки пошли танцевать, махнули левыми руками — гостей забрызгали, махнули правыми — костью царю прямо в глаз попали! Царь рассердился и прогнал их с глаз долой.

Тем временем Иван-царевич улучил минуту, побежал домой, нашёл лягушечью кожу и спалил её на большом огне. Приезжает Василиса Премудрая, хватилась — нет лягушечей кожи; приуныла, запечалилась и говорит царевичу:

— Ох, Иван-царевич! Что же ты наделал? Если бы немножко ты подождал, я бы вечно была твоей; а теперь прощай! Ищи меня за тридевять земель, в тридесятом царстве, — у Кощея Бессмертного.

Обернулась белой лебедью и улетела в окно.

Иван-царевич горько заплакал, помолился богу на все четыре стороны и пошёл куда глаза глядят.

Шёл он близко ли, далёко ли, долго ли, коротко ли — попадаетеся ему навстречу старый старичок.

— Здравствуй, — говорит, — добрый молодец! Чего ищешь, куда путь держишь?

Царевич рассказал ему своё несчастье.

— Эх, Иван-царевич! Зачем ты лягушечью кожу спалил? Не ты её надел, не тебе и снимать было! Василиса Премудрая хитрей, мудрёней своего отца уродилась; он за то осерчал на неё и велел ей три года квакушею быть. Вот тебе клубок: куда он покатится — ступай за ним смело.

Иван-царевич поблагодарил старика и пошёл за клубком.

Идёт чистым полем, попадаетеся ему медведь.

«Дай убью зверя», — думает Иван-царевич.

А медведь говорит ему:

— Не бей меня, Иван-царевич! Когда-нибудь пригожусь тебе.

Не тронул Иван-царевич медведя.

Идёт он дальше, глядь: а над ним летит селезень; царевич прицелился из лука, хотел было застрелить птицу, как вдруг говорит она человеческим голосом:

— Не бей меня, Иван-царевич! Я тебе сам пригожусь.

Он пожалел и пошёл дальше.

Бежит косой заяц; царевич опять за лук, стал целиться, а заяц ему человеческим голосом:

— Не бей меня, Иван-царевич! Я тебе сам пригожусь.

Иван-царевич пожалел зайца и пошёл дальше — к синему морю.

Видит — на песке лежит, издыхает щука-рыба.

— Ах, Иван-царевич, — сказала щука, — сжался надо мною, пусти меня в море!

Он бросил её в море и пошёл берегом.

Долго ли, коротко ли — прикатился клубочек к избушке; стоит избушка на куриных лапках, кругом повёртывается. Говорит Иван-царевич:

— Избушка, избушка! Стань по-старому, как мать поставила: ко мне передом, а к морю задом!

Избушка повернулась к морю задом, к нему передом. Царевич вошёл в неё и видит: на печи, на девятом кирпиче, лежит Баба Яга, костяная нога, нос в потолок врос, сама зубы точит.

— Гой еси, добрый молодец! Зачем ко мне пожаловал? — спрашивает Баба Яга Ивана-царевича.

— Ах ты старая хрычовка, — говорит Иван-царевич, — ты бы прежде меня, доброго молодца, накормила, напоила, в бане выпарила, да тогда б и спрашивала.

Баба Яга накормила его, напоила, в бане выпарила, а царевич рассказал ей, что ищет свою жену Василису Премудрую.

— А, знаю! — сказала Баба Яга. — Она теперь у Ко-

щя Бессмертного; трудно её достать, нелегко с Кощеем сладить; смерть его на конце иглы, та игла — в яйце, то яйцо — в утке, та утка — в зайце, тот заяц — в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей как свой глаз бережёт.

Указала Баба Яга, в каком месте растёт этот дуб.

Иван-царевич пришёл туда и не знает, что ему делать, как сундук достать. Вдруг — откуда ни взялся — прибежал медведь и выворотил дерево с корнем; сундук упал и разбился вдребезги.

Выбежал из сундука заяц и во всю прыть наутёк пустился; глядь: а за ним уж другой заяц гонится, нагнал, ухватил и в клочки разорвал.

Вылетела из зайца утка и поднялась высоко, летит, а за нею селезень бросился, как ударит её — утка тотчас яйцо выронила, и упало то яйцо в море.

Иван-царевич, видя беду неминуемую, залился слезами. Вдруг подплывает к берегу щука и держит в зубах яйцо; он взял то яйцо, разбил его, достал иглу и отломил кончик. Сколько ни бился Кощей, сколько ни метался во все стороны, а пришлось ему помереть.

Иван-царевич вошёл в дом Кощея, взял Василису Премудрую и воротился домой. После того они жили вместе и долго, и счастливо.



Крошечка-Хаврошечка

Вы знаете, что есть на свете люди и хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые бога не боятся, своего брата не стыдятся: к таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась она сиротой маленькой; взяли её эти люди, выкормили и на свет божий не пустили, над работою каждый

день занудили, заморили; она и подаёт, и прибирает, и за всех и за всё отвечает.

А были у её хозяйки три дочери большие. Старшая звалась Одноглазка, средняя — Двуглазка, а меньшая — Триглазка; но они только и знали у ворот сидеть, на улицу глядеть, а Крошечка-Хаврошечка на них работала, их обшивала, для них и пряла и ткала, а слова доброго никогда не слыхала. Вот то-то и больно — ткнуть да толкнуть есть кому, а приветить да приохотить нет никого! Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую корову, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжело жить-поживать: «Коровушка-матушка! Меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтраму дали пять пудов прясть, наткать, побелить, в трубы покатать». А коровушка ей в ответ: «Красная девица! Влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь — всё будет сработано». Так и сбывалось. Вылезет красная девица из ушка — всё готово: и наткано, и побелено, и покатоно. Отнесёт к мачехе; та поглядит, побряхтит, спрячет в сундук, а ей ещё больше работы задаст. Хаврошечка опять придёт к коровушке, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмёт и принесёт.

Дивится старуха, зовёт Одноглазку: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая! Доглядись, кто сироте помогает: и ткёт, и прядёт, и в трубы катает?» Пошла с сиротой Одноглазка в лес, пошла с нею в поле; забыла матушкино приказанье, распеклась на солнышке, разлеглась на травушке, а Хаврошечка приговаривает: «Спи, глазок, спи, глазок!» Глазок заснул; пока Одноглазка спала, коровушка и наткала и побелила. Ничего мачеха не дозналась, послала Двуглазку. Эта тоже на солнышке распеклась и на травушке разлеглась, материно приказанье забыла и глазки смежила; а Хаврошечка баюкает: «Спи, глазок, спи, другой!» Коровушка наткала, побелила, в трубы покатола; а Двуглазка всё ещё спала.

Старуха рассердилась, на третий день послала Триглазку, а сироте ещё больше работы дала. И Триглазка, как её старшие сёстры, попрыгала-попрыгала и на травушку пала. Хаврошечка поёт: «Спи, глазок, спи другой!» — а об третьем забыла. Два глаза заснули, а третий глядит и всё видит, всё — как красная девица в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Всё, что видела, Триглазка матери рассказала; старуха обрадовалась, на другой же день пришла к мужу: «Режь рябую корову!» Старик так, сяк: «Что ты, жена, в уме ли? Корова молодая, хорошая!» Режь, да и только! Наточил ножик...

Побежала Хаврошечка к коровушке: «Коровушка-матушка! Тебя хотят резать». — «А ты, красная девица, не ешь моего мяса: косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их расседи и никогда меня не забывай, каждое утро водою их поливай». Хаврошечка всё сделала, что коровушка завещала; голодом голодала, мяса её в рот не брала, косточки каждый день в саду поливала, и выросла из них яблонька, да какая — боже мой! Яблочки на ней висят наливные, листвицы шумят золотые, веточки гнутся серебряные; кто ни едет мимо — останавливается, кто проходит близко — тот заглядывается.

Случилось раз — девушки гуляли по саду; на ту пору ехал по полю барин — богатый, кудреватый, молоденький. Увидел яблочки, попросил девушек: «Девицы-красавицы! — говорит он. — Которая из вас мне яблочко поднесёт, та за меня замуж пойдёт». И бросились три сестры одна перед другой к яблоньке. А яблочки-то висели низко, под руками были, а то вдруг поднялись высоко-высоко, далеко над головами стали. Сёстры хотели их сбить — листья глаза засыпают, хотели сорвать — сучья косы расплетают; как ни бились, ни метались — ручки изодрали, а достать не могли. Подошла Хаврошечка, и веточки приклонились, и яблочки опустились. Барин на ней женился, и стала она в добре поживать, лиха не зная.

Исцеление Ильи Муромца

В славном городе во Муромле,
Во селе было Карачарове,
Сиднем сидел Илья Муромец, крестьянский сын,
Сиднем сидел цело тридцать лет.
Уходил государь его батюшка
Со родителем со матушкою
На работушку на крестьянскую.
Как приходили две калики перехожие
Под тое окошечко косявчето.
Говорят калики таковы слова:
«Ай же ты, Илья Муромец, крестьянский сын!
Отворяй каликам ворота широкие,
Пусти-ка калик к себе в дом».
Ответ держит Илья Муромец:
«Ай же вы, калики перехожие!
Не могу отворить ворот широких,
Сиднем сию цело тридцать лет,
Не владаю ни руками, ни ногами».
Опять говорят калики перехожие:
«Выставай-ка, Илья, на резвы ноги,
Отворяй-ка ворота широкие,
Пускай-то калик к себе в дом».
Выставал Илья на резвы ноги,
Отворял ворота широкие
И пускал калик к себе в дом.
Приходили калики перехожие,
Они крест кладут по-писаному,
Поклон ведут по-учёному,
Наливают чарочку питьица медвяного,
Подносят-то Илье Муромцу.

Как выпил-то чару питица медвяного,
 Богатырско его сердце разгорелось,
 Его белое тело распотелось.
 Воспроговорают калики таковы слова:
 «Что чувствуешь в себе, Илья?»
 Бил челом Илья, калик поздравствовал;
 «Слышу в себе силушку великую».
 Говорят калики перехожие:
 «Будь ты, Илья, великий богатырь,
 И смерть тебе на бою не писана;
 Бейся-ратися со всяким богатырём
 И со всею паленицею удалою,
 А только не выходи драться
 С Святогором-богатырём —
 Его и земля на себе через силу носит;
 Не ходи драться с Самсоном-богатырём —
 У него на голове семь власов ангельских;
 Не бейся и с родом Микуловым —
 Его любит матушка сыра земля;
 Не ходи ещё на Вольгу Сеславьича —
 Он не силою возьмёт,
 Так хитростью-мудростью.
 Доставай, Илья, коня себе богатырского,
 Выходи в раздольице чисто поле,
 Покупай первого жеребчика,
 Станови его в сруб на три месяца,
 Корми его пшеном белояровым.
 А пройдёт поры-времени три месяца,
 Ты по три ночи жеребчика в саду поваживай
 И в три росы жеребчика выкатывай,
 Подводи его к тыну ко высокому.
 Как станет жеребчик через тын перескакивать
 И в ту сторону и в другую сторону,
 Поезжай на нём, куда хочешь,
 Будет носить тебя».
 Тут калики потерялися.
 Пошёл Илья ко родителю ко батюшку

На тую на работу на крестьянскую, —
Он дубьё-колодьё всё повырубил,
В глубоку реку повыгрузил,
А сам и сшёл домой.
Выстали отец с матерью от крепкого сна — испужались
«Что это за чудо подеялось?
Кто бы нам это сработал работушку?»
Работа-то была поделана,
И пошли они домой.
Как пришли домой, видят:
Илья Муромец ходит по избы.
Стали его спрашивать,
Как он выздоровел.
Илья и рассказал им,
Как приходили калики перехожие,
Поили его питицем медвяным —
И с того он стал владать руками и ногами
И силушку получил великую.
Пошёл Илья в раздольице чисто поле,
Видит: мужик ведёт жеребчика немудрого,
Бурого жеребчика косматенького.
Покупал Илья того жеребчика,
Что запросил мужик, то и дал;
Становил жеребчика в сруб на три месяца,
Кормил его пшеном белояровым,
Поил свежей ключевой водой.
И прошло поры-времени три месяца.
Стал Илья жеребчика по три ночи в саду поваживать,
В три росы его выкатывал;
Подводил ко тыну ко высокому,
И стал Бурушко через тын перескакивать
И в ту сторону и в другую сторону.
Тут Илья Муромец
Седлал добра коня, зауздывал,
Брал у батюшки, у матушки
Прощенье-благословеньице
И поехал в раздольице чисто поле.



БАСНИ

КРЫЛОВ
ИВАН АНДРЕЕВИЧ
(1769—1844)

Мартышка и Очки

Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло ещё не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмёт, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.
«Тьфу, пропасть! — говорит она, — и тот дурак,
Кто слушает людских всех врак:
Всё про Очки лишь мне нагнали;
А проку на волос нет в них».
Мартышка тут с досады и с печали
О камень такхватила их,
Что только брызги засверкали.

К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
Невежда про неё свой толк всё к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он её ещё и гонит.



Лебедь, Щука и Рак

Когда в товарищах согласия нет,
На лад их дело не пойдёт,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.

Кто виноват из них, кто прав — судить не нам;
Да только воз и ныне там.



Ворона и Лисица

Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близёхонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил.
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:

«Голубушка, как хороша!
 Ну что за шейка, что за глазки!
 Рассказывать, так, право, сказки!
 Какие пёрышки! какой носок!
 И, верно, ангельский быть должен голосок!
 Спой, светик, не стыдись!
 Что, ежели, сестрица,
 При красоте такой и петь ты мастерица, —
 Ведь ты б у нас была царь-птица!»
 Вещунына с похвал вскружилась голова,
 От радости в зобу дыханье спёрло, —
 И на приветливы Лисицыны слова
 Ворона каркнула во всё воронье горло:
 Сыр выпал — с ним была плутовка такова.



Слон и Моська

По улицам Слона водили,
 Как видно, напоказ.
 Известно, что Слоны в диковинку у нас,
 Так за Слоном толпы зевак ходили.
 Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
 Увидевши Слона, ну на него метаться,
 И лаять, и визжать, и рваться;
 Ну так и лезет в драку с ним.
 «Соседка, перестань срамиться, —
 Ей Шавка говорит, — тебе ли со Слоном возиться?
 Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт
 Вперёд
 И лаю твоего совсем не примечает». —
 «Эх, эх! — ей Моська отвечает, —
 Вот то-то мне и духу придаёт,

Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!»



Две Бочки

Две Бочки ехали: одна с вином,
Другая

Пустая.

Вот первая себе без шуму и шажком
Плетётся,

Другая вскачь несётся;

От ней по мостовой и стукотня,

И гром,

И пыль столбом;

Прохожий к стороне скорей от страху жмётся,
Её заслышавши издалека.

Но как та Бочка ни громка,

А польза в ней не так, как в первой, велика.

Кто про свои дела кричит всем без умолку,

В том, верно, мало толку;

Кто делов¹ истинно, — тих часто на словах.

Великий человек лишь громок на делах,

И думает свою он крепку думу

Без шуму.



¹ Делов — деловой, трудолюбивый.

Свинья под Дубом

Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выпалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.
«Ведь это дереву вредит, —
Ей с Дубу Ворон говорит. —
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может».
«Пусть сохнет, — говорит Свинья, —
Ничуть меня то не тревожит;
В нём проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею,
Лишь были б жёлуди: ведь я от них жирею». —
«Неблагодарная! — примолвил Дуб ей тут. —
Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти жёлуди на мне растут».

Невежда также в ослепленье
Бранит науки и ученье,
И все учёные труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.



ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (1828—1910)

Белка и волк

Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк вскочил и хотел её съесть. Белка стала просить:

— Пусти меня.

Волк сказал:

— Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так веселы. Мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там вверху всё играете и прыгаете.

Белка сказала:

— Пусти меня прежде на дерево, я оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя.

Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала:

— Тебе скучно оттого, что ты зол. Тебе злость сердце жжёт. А мы веселы оттого, что мы добры и никому зла не делаем.



Комар и лев

Комар прилетел ко льву и говорит: «Ты думаешь, в тебе силы больше моего? Как бы не так! Какая в тебе сила? Что царапаешь когтями и грызёшь зубами — это и бабы так-то с мужиками дерутся. Я сильнее тебя; хочешь, выходи на войну!» И комар затрубил и стал кусать льва в голые щёки и нос. Лев стал бить себя по лицу и драть когтями; изодрал себе в кровь всё лицо и из сил выбился.

Комар затрубил с радости и улетел. Потом запутался в паутину к пауку, и стал паук его сосать. Комар и говорит: «Сильного зверя, льва, одолел, а вот от дрянного паука погибаю».



Муравей и Голубка

Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не потопила. Голубка несла ветку; она увидела — Муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся.

Потом охотник расставил сеть на Голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу; охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.



Голова и хвост змеи

Змеиный хвост заспорил с змеиной головой о том, кому ходить впереди? Голова сказала: «Ты не можешь ходить спереди, у тебя нет глаз и ушей». Хвост сказал: «А зато во мне сила, я тебя двигаю: если захочу да обернусь вокруг дерева, ты с места не тронешься». Голова сказала: «Разойдёмся!»

И хвост оторвался от головы и пополз вперёд. Но только что он отполз от головы, попал в трещину и провалился.



Волк и старуха

Голодный волк разыскивал добычу. На краю деревни он услышал — в избе плачет мальчик, и старуха говорит:

— Не перестанешь плакать, я тебя волку отдам.

Волк не пошёл дальше и стал дожидаться, когда ему отдадут мальчика. Вот пришла ночь; он все ждёт и слышит — старуха опять приговаривает:

— Не плачь, дитяtko; не отдам тебя волку; только приди волк, убьём его.

Волк и подумал: видно, тут говорят одно, а делают другое; и пошёл прочь от деревни.



СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ

**ДРОЖЖИН
СПИРИДОН ДМИТРИЕВИЧ
(1848—1930)**

Родине

Как не гордиться мне тобой,
О, родина моя!
Когда над Волгою родной
Стою, недвижим, я,
Когда молитвенно свой взор
Бросаю в небеса,
На твой чарующий простор,
На тёмные леса.
Как хороша ты в тёплый день
На празднике весны,
Среди приветных деревень
Родимой стороны!
Как бодро дышится, когда
На поле весь народ
Среди свободного труда
Все силы отдаёт!
Каким восторгом мою грудь
Ты наполняешь мне,
Когда хочу я отдохнуть
С тобой наедине!..

Я в каждом шелесте листов
Твой голос узнаю,
Хожу среди своих лугов,
Мечтаю и пою.
Во всей в тебе и мощь видна,
И сила с красотой,
Недаром ты и названа
Великой и святой.



Привет

Привет тебе, мой край родной,
С твоими тёмными лесами,
С твоей великою рекой
И неоглядными полями!
Привет тебе, народ родимый,
Герой труда неустомимый
Среди зимы и в летний зной!
Привет тебе, мой край родной!



ЖУКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (1783—1852)

Жаворонок

На солнце тёмный лес зардел,
В долине пар белеет тонкий,
И песню раннюю запел
В лазури жаворонок звонкий.
Он голосисто с вышины
Поёт, на солнышке сверкая:
Весна пришла к нам молодая,
Я здесь пою приход весны;
Здесь так легко мне, так радушно,
Так беспредельно, так воздушно;
Весь божий мир здесь вижу я.
И славит бога песнь моя!



Мальчик с пальчик

Жил маленький мальчик:
Был ростом он с пальчик,
Лицом был красавчик,
Как искры глазёнки,
Как пух волосёнки.
Он жил меж цветочков;
В тени их листочков
В жары отдыхал он;
И ночью там спал он;

С зарёй просыпался,
Живой умывался
Росой, наряжался
В листочек атласный
Лилеи прекрасной;
Проворную пчёлку
В свою одноколку
Из лёгкой скорлупки
Потом запрягал он,

И с пчёлкой летал он,
 И жадные губки
 С ней вместе впивал он
 В цветы луговые.
 К нему золотые
 Цикады слетались
 И с ним забавлялись,
 Кружась с мотыльками,
 Жужжа, и порхая,
 И ярко сверкая
 На солнце крылами;
 Ночною ж порою
 Земля покрывалась,
 И в небе с луною
 Одна за другую
 Звезда зажигалась,
 На луг благовонный
 С лампадой зажжённой
 Лазурно-блестящий
 К малютке являлся
 Светляк, и собирался
 К нему вкруговую
 На пляску ночную
 Рой эльфов летучий;
 Они — как бегучий
 Источник волнами —

Шумели крылами,
 Свивались, сплетались,
 Проворно качались
 На тонких былинках,
 В перловых купались
 На травке росинках,
 Как искры сверкали
 И шумно плясали
 Пред ним до полночи.
 Когда же на очи
 Ему усыпление
 Под пляску, под пенье
 Сходило — смолкали
 И вмиг исчезали
 Плясуньи ночные;
 Тогда, под живые
 Цветы угнездившись
 И в сон погрузившись,
 Он спал под защитой
 Их кровли, омытой
 Росой, до восхода
 Зари лучезарной
 С границы янтарной
 Небесного свода.
 Так милый красавчик
 Жил мальчик наш с пальчик..



ЛЕРМОНТОВ
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
(1814—1841)

Горные вершины

* * *

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.

* * *

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна,
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей всё, что в пустыне далёкой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горячем
Прекрасная пальма растёт.



Бородино

— Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, ещё какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Не многие вернулись с поля...
Не будь на то Господня воля,
Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки —
Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдём ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.

Прилёг вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Всё шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рождён был хватом,
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражён булатом,
Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?

Умрёмте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пёстрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась — как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны —
И отступили басурманы.

Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри — не вы.
Плохая им досталась доля:
Не многие вернулись с поля,
Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы!



Тучи

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.



**НЕКРАСОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1821—1877)**

* * *

(ОТРЫВОК ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ
«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»)

Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит;
Лёд неокрепший на речке студёной
Словно как тающий сахар лежит;
Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно — покой и простор!
Листья поблёкнуть ещё не успели,
Жёлты и свежи лежат, как ковёр...
Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...



* * *

(ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ
«МОРОЗ, КРАСНЫЙ НОС»)

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи —
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
Глядит — хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?

Пушисты ли сосен вершины,
 Красив ли узор на дубах?
 И крепко ли скованы льдины
 В великих и малых водах?
 Идёт — по деревьям шагает,
 Трещит по замёрзлой воде,
 И яркое солнце играет
 В косматой его бороде.



* * *

(ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ
 «САША»)

В зимние сумерки нянины сказки
 Саша любила. Поутру в салазки
 Саша садилась, летела стрелой,
 Полная счастья, с горы ледяной.
 Няня кричит: «Не убейся, родная!»
 Саша, салазки свои погоняя,
 Весело мчится. На полном бегу
 Набок салазки — и Саша в снегу!
 Выбьются косы, растреплется шубка.
 Снег отряхает, смеётся, голубка!
 Не до ворчанья и няне седой,
 Любит она её смех молодой...



Мужичок с ноготок

(ОТРЫВОК ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ
«КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ»)

Однажды, в студёную
зимнюю пору,
Я из лесу вышел;
был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно
в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И, шествуя важно, в спокойствии
чинном,
Лошадку ведёт под уздцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке
овчинном,
В больших рукавицах... А сам
с ноготок!
— Здорово, парнище! —
«Ступай себе мимо!»
— Уж больно ты грозен, как я
погляжу!
Откуда дровишки? — «Из лесу,
вестимо,
Отец, слышишь, рубит,
а я отвожу».
(В лесу раздавался топор
дровосека.)
— А что, у отца-то
большая семья? —
«Семья-то большая,
да два человека
Всего мужиков-то:
отец мой да я...»

Домики в ней на высоких столбах
 (Всю эту местность вода поднимает,
 Так что деревня весною всплывает,
 Словно Венеция). Старый Мазай
 Любит до страсти свой низменный край.
 Вдов он, бездетен, имеет лишь внука,
 Торной¹ дорогой ходить ему — скука!
 За сорок вёрст в Кострому напрямиком
 Сбегать лесами ему нипочём.

«Лес не дорога: по птице, по зверю
 Выпалить можно». — «А леший?» —

«Не верю!

Раз в кураже я их звал-поджидал
 Целую ночь — никого не видал!
 За день грибов собираешь корзину,
 Ешь мимоходом бруснику, малину,
 Вечером пеночка нежно поёт,
 Словно как в бочку пустую удоб
 Ухает; сыч разлетается к ночи,
 Рожки точёны, рисованы очи.
 Ночью... ну, ночью робел я и сам:
 Очень уж тихо в лесу по ночам.
 Тихо, как в церкви, когда отслужили
 Службу и накрепко дверь затворили,
 Разве какая сосна заскрипит,
 Словно старуха во сне проворчит...»
 Дня не проводит Мазай без охоты.
 Жил бы он славно, не знал бы заботы,
 Кабы не стали глаза изменять:
 Начал частенько Мазай пуделять².
 Впрочем, в отчаянье он не приходит:

¹ Торный — гладкий, ровный (о дороге).

² Пуделять — (охот. простореч.) стрелять мимо, делать промахи в стрельбе по чему-либо.

Выпалит дедушка — заяц уходит,
 Дедушка пальцем косому грозит:
 «Врёшь — упадёшь!» — добродушно кричит.
 Знает он много рассказав забавных
 Про деревенских охотников славных:
 Кузя сломал у ружьишка курок,
 Спичек таскает с собой коробок,
 Сядет за кустом — тетерю подманит,
 Спичку к затравке приложит — и грянет!
 Ходит с ружьишком другой зверолов,
 Носит с собою горшок угольков.
 «Что ты таскаешь горшок с угольками?»
 «Больно, родимый, я зябок руками;
 Ежели зайца теперь сослежу,
 Прежде я сяду, ружьё положу,
 Над уголёчками руки погрею,
 Да уж потом и палю по злодею!»
 «Вот так охотник!» — Мазай прибавлял.
 Я, признаюсь, от души хохотал.
 Впрочем, милей анекдотов крестьянских
 (Чем они хуже, однако, дворянских?)
 Я от Мазая рассказы слышал.
 Дети, для вас я один записал...

II

Старый Мазай разболтался в сарае:
 «В нашем болотистом, низменном крае
 Впятеро больше бы дичи велось,
 Кабы сетями её не ловили,
 Кабы силками её не давили;
 Зайцы вот тоже, — их жалко до слёз!
 Только весенние воды нахлынут,
 И без того они сотнями гинут, —
 Нет! ещё мало! бегут мужики,

Ловят, и топят, и бьют их баграми.
Где у них совесть?.. Я раз за дровами
В лодке поехал — их много с реки
К нам в половодье весной нагоняет, —
Еду, ловлю их. Вода прибывает.
Вижу один островок небольшой —
Зайцы на нём собралися гурьбой.
С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверкам; уж под ними осталось
Меньше аршина¹ земли в ширину,
Меньше сажени² в длину.
Тут я подъехал: лопочут ушами,
Сами ни с места; я взял одного,
Прочим скомандовал: прыгайте сами!
Прыгнули зайцы мои, — ничего!
Только уселась команда косая,
Весь островочек пропал под водой:
«То-то! — сказал я. — Не спорьте со мной!
Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!»
Этак гуторя³, плывём в тишине.
Столбик не столбик, зайчишко на пне,
Лапки скрестивши, стоит, горемыка,
Взял и его — тягота не велика!
Только что начал работать веслом,
Глядь, у куста копошится зайчиха —
Еле жива, а толста, как купчиха!
Я её, дуру, накрыл зипуном⁴ —
Сильно дрожала... Не рано уж было.

¹ Аршин — устаревшая мера длины, равна 71 см.

² Сажень — старорусская единица измерения расстояния. 1 сажень = 2,1 метра

³ Гуторить — (обл.) говорить, беседовать, болтать.

⁴ Зипун — в старину — верхняя одежда у крестьян.

Мимо бревно суковатое плыло,
 Сидя, и стоя, и лёжа пластом,
 Зайцев с десятков спасалось на нём.
 «Взял бы я вас — да потопите лодку!»
 Жаль их, однако, да жаль и находку —
 Я зацепился багром за сучок
 И за собою бревно поволок...
 Было потехи у баб, ребятишек,
 Как прокатил я деревней зайчишек:
 «Глянь-ко: что делает старый Мазай!»
 Ладно! Любуйся, а нам не мешай!
 Мы за деревней в реке очутились.
 Тут мои зайчики точно сбесились:
 Смотрят, на задние лапы встают,
 Лодку качают, грести не дают:
 Берег завидели плуты косые,
 Озимь, и рощу, и кусты густые!..
 К берегу плотно бревно я пригнал,
 Лодку причалил — и «с Богом!» сказал...
 И во весь дух
 Пошли зайчишки.
 А я им: «У-х!
 Живей, зверишки!
 Смотри, косою,
 Теперь спасайся,
 А чур, зимой
 Не попадайся!
 Прицелюсь — бух!
 И ляжешь... уу-х!..»
 Мигом команда моя разбежалась,
 Только на лодке две пары осталось —
 Сильно измокли, ослабли; в мешок
 Я их поклат — и домой приволок;
 За ночь больные мои отогрелись.

Высохли, выпались, плотно наелись;
Вынес я их на лужок; из мешка
Вытряхнул, ухнул — и дали стречка!
Я проводил их всё тем же советом:
«Не попадайтесь зимой!»
Я их не бью ни весною, ни летом:
Шкура плохая — линяет косою...»



Генерал Топтыгин

Дело под вечер, зимой,
И морозец знатный.
По дороге столбовой
Едет парень молодой,
Мужичок обратный:
Не спешит, трусит слегка;
Лошади не слабы,
Да дорога не гладка —
Рытвины, ухабы.
Нагоняет ямщикок
Вожака с медведем:
«Посади нас, паренёк,
Веселей поедem!» —
«Что ты? с мишкой?» — «Ничего!
Он у нас смиренный,
Лишний шкалик за него
Поднесу, почтенный!» —
«Ну садитесь!» — Посадил
Бородач медведя,
Сел и сам — и потрусил
Полегоньку Федя...
Видит Трифон кабачок,
Приглашает Федю.

«Подожди ты нас часок!» —
 Говорит медведю.
 И пошли. Медведь смирён,
 Видно, стар годами,
 Только лапу лижет он
 Да звенит цепями...
 Час проходит; нет ребят,
 То-то выпьют лихо!
 Но привычные стоят
 Лошадёнки тихо.
 Свечерело. Дрожь в конях,
 Стужа злее на ночь;
 Заворочался в санях
 Михайло Иваныч,
 Кони дёрнули; стряслась
 Тут беда большая —
 Рывкнул мишка! — понеслась
 Тройка, как шальная!
 Колокольчик услышал,
 Выбежал Федюха,
 Да напрасно — не догнал!
 Экая поруха!
 Быстро, бешено неслась
 Тройка — и не диво:
 На ухабе всякий раз
 Зверь рычал ретиво;
 Только стон кругом стоял:
 «Очищай дорогу!
 Сам Топтыгин-генерал
 Едет на берлогу!»
 Вздрогнет встречный мужичок,
 Жутко станет бабе,
 Как мохнатый седочок
 Рывкнет на ухабе.
 А коням подавно страх —
 Не передохнули!

Вёрст пятнадцать на весь ма
Бедные отдули!
Прямо к станции летит
Тройка удалая.
Проезжающий сидит,
Головой мотая;
Ладит вывернуть кольцо,
Вот и стала тройка;
Сам смотритель на крыльцо
Выбегает бойко;
Видит, ноги в сапогах
И медвежья шуба,
Не заметил впопыхах,
Что с железом губа,
Не подумал: где ямщик
От коней гуляет?
Видит — барин материк,
«Генерал», — смекает.
Поспешил фуражку снять:
«Здравия желаю!
Что угодно приказать,
Водки или чаю?..»
Хочет барину помочь
Юркий старичишка;
Тут во всю медвежью мочь
Заревел наш мишка!
И смотритель отскочил:
«Господи помилуй!
Сорок лет я прослужил
Верой, правдой, силой;
Много видел на тракту
Генералов строгих,
Нет ребра, зубов во рту
Не хватает многих,
А такого не видал,
Господи Исусе!

Небывалый генерал,
Видно, в новом вкусе!..»
Прибежали ямщики,
Подивились тоже:
Видят — дело не с руки,
Что-то тут негоже!
Собрался честной народ,
Всё село в тревоге;
«Генерал в санях ревёт,
Как медведь в берлоге!»
Трус бежит, а кто смелей,
Те — потехе ради —
Жмутся около саней;
А смотритель сзади.
Струсил, издали кричит:
«В избу не хотите ль?»
Мишка вновь как зарычит...
Убежал смотритель!
Оробел и убежал,
И со всею свитой...
Два часа в санях лежал
Генерал сердитый.
Прибежали той порой
Ямщик и вожатый;
Вразумил народ честной
Трифон бородатый
И Топтыгина прогнал
Из саней дубиной...
А смотритель обругал
Ямщика скотиной...



**НИКИТИН
ИВАН САВВИЧ
(1824—1861)**

* * *

Тихо ночь ложится
На вершины гор,
И луна глядится
В зеркала озёр;
Над глухою степью
В неизвестный путь
Бесконечной цепью
Облака плывут;
Над рекой широкой,
Сумраком покрыт,

В тишине глубокой
Лес густой стоит;
Светлые заливы
В камышах блестят,
Неподвижно нивы
На полях стоят;
Небо голубое
Весело глядит,
И село большое
Беззаботно спит.

* * *

В синем небе плывут над полями
Облака с золотыми краями;
Чуть заметен над лесом туман,
Тёплый вечер прозрачно-румян.

Вот уж веет прохладой ночью;
Грезит колос над узкой межою;
Месяц огненным шаром встаёт,
Красным заревом лес обдаёт.

Кротко звёзд золотое сиянье,
В чистом поле покой и молчанье;
Точно в храме, стою я в тиши
И в восторге молюсь от души.



ПЛЕЩЕЕВ
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1825—1893)

Сельская песня

(ОТРЫВОК)

Травка зеленеет,
 Солнышко блестит,
 Ласточка с весною
 В сени к нам летит.
 С нею солнце краше
 И весна милей...

Прощебечь с дороги
 Нам привет скорей.
 Дам тебе я зёрен,
 А ты песню спой,
 Что из стран далёких
 Принесла с собой...



Весна

Уж тает снег, бегут ручьи,
 В окно повеяло весною...
 Засвищут скоро соловьи,
 И лес оденется листвою!
 Чиста небесная лазурь,
 Теплей и ярче солнце стало,
 Пора метелей злых и бурь
 Опять надолго миновала.
 И сердце сильно так в груди
 Стучит, как будто ждёт чего-то,
 Как будто счастье впереди
 И унесла зима заботы!

Все лица весело глядят.
«Весна!» — читаешь в каждом взоре;
И тот, как празднику, ей рад,
Чья жизнь — лишь тяжкий труд и горе
Но резвых деток звонкий смех
И беззаботных птичек пенье
Мне говорят — кто больше всех
Природы любит обновление!



ПУШКИН
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(1799—1837)

Зимнее утро

Мороз и солнце; день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Вечор¹, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче... погляди в окно:
Под голубыми небесами

¹ Вечор — вчера вечером.

Великолепными коврами,
 Блестя на солнце, снег лежит;
 Прозрачный лес один чернеет,
 И ель сквозь иней зеленеет,
 И речка подо льдом блестит.
 Вся комната янтарным блеском
 Озарена. Весёлым треском
 Трещит затопленная печь.
 Приятно думать у лежанки.
 Но знаешь: не велеть ли в санки
 Кобылку бурую запречь?
 Скользя по утреннему снегу,
 Друг милый, предадимся бегу
 Нетерпеливого коня
 И навестим поля пустые,
 Леса, недавно столь густые,
 И берег, милый для меня.



Осень

(ОТРЫВОК)

...Унылая пора! Очей очарованье!
 Приятна мне твоя прощальная краса —
 Люблю я пышное природы увяданье,
 В багрец и в золото одетые леса,
 В их сёнях ветра шум и свежее дыханье,
 И мглой волнистою покрыты небеса,
 И редкий солнца луч, и первые морозы,
 И отдалённые седой зимы угрозы.



Няне

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждёшь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые ворота
На чёрный отдалённый путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.



Руслан и Людмила

(ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ)

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;

Там лес и дол видений полны;
 Там о заре прихлынут волны
 На брег песчаный и пустой,
 И тридцать витязей прекрасных
 Чредой из вод выходят ясных,
 И с ними дядька их морской;
 Там королевич мимоходом
 Пленяет грозного царя;
 Там в облаках перед народом
 Через леса, через моря
 Колдун несёт богатыря;
 В темнице там царевна тужит,
 А бурый волк ей верно служит;
 Там ступа с Бабою Ягой
 Идёт, бредёт сама собой;
 Там царь Кащей над златом чахнет;
 Там русский дух... там Русью пахнет!
 И там я был, и мёд я пил;
 У моря видел дуб зелёный;
 Под ним сидел, и кот учёный
 Свои мне сказки говорил.
 Одну я помню: сказку эту
 Поведаю теперь я свету...



★ ★ ★

(ОТРЫВКИ ИЗ РОМАНА
 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»)

Гонимы вешними лучами,
 С окрестных гор уже снега
 Сбежали мутными ручьями
 На потоплённые луга.

Улыбкой ясною природа
 Сквозь сон встречает утро года;
 Синяя блещут небеса.
 Ещё прозрачные, леса
 Как будто пухом зеленеют.
 Пчела за данью полевой
 Летит из кельи восковой.
 Долины сохнут и пестреют;
 Стада шумят, и соловей
 Уж пел в безмолвии ночей.



* * *

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
 На дровнях обновляет путь;
 Его лошадка, снег почуя,
 Плетётся рысью как-нибудь;
 Бразды пушистые взрывая,
 Летит кибитка удалая;
 Ямщик сидит на облучке
 В тулупе, в красном кушаке.
 Вот бегают дворовый мальчик,
 В салазки жучку посадив,
 Себя в коня преобразив;
 Шалун уж заморозил пальчик:
 Ему и больно и смешно,
 А мать грозит ему в окно...



Слышу песни жаворонка,
Слышу трели соловья...
Это — русская сторонка,
Это — родина моя!..
Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля...
Это — русское раздолье,
Это — русская земля!..
Слышу песни хоровода,
Звучный топот трепака...
Это — радости народа,
Это — пляска мужика!..
Уж гулять, так без оглядки,
Чтоб ходил весь белый
свет...
Это — русские порядки,
Это — дедовский завет!..

Вижу дубы вековые,
А вон там сосновый бор...
Это — признаки родные,
Это — родины простор!..
Вижу горы-исполины,
Вижу реки и леса...
Это — русские картины,
Это — русская краса...
Вижу всюду трепет жизни,
Где ни брошу только
взор...
Это — матушки-отчизны
Нескончаемый простор...
Снова духом оживаю,
Снова весел, счастлив я
И невольно ощущаю
В сердце мощь богатыря!..



СУРИКОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ (1841—1880)

Зима

Белый снег, пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.
И под утро снегом
Поле забелело,
Точно пеленою
Всё его одело.
Тёмный лес что шапкой
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно...
Божьи дни коротки,
Солнце светит мало,
Вот пришли морозцы —
И зима настала.

Труженик-крестьянин
Вытащил санишки,
Снеговые горы
Строят ребятишки.
Уж давно крестьянин
Ждал зимы и стужи,
И избу соломой
Он укрыл снаружи.
Чтобы в избу ветер
Не проник сквозь щели
Не надули б снега
Вьюги и метели.
Он теперь покоен —
Всё кругом укрыто,
И ему не страшен
Злой мороз, сердитый.



Детство

Вот моя деревня,
Вот мой дом родной;
Вот качусь я в санках
По горе крутой;
Вот свернули санки,
И я на бок — хлоп!
Кубарем качуся
Под гору, в сугроб.

И друзья-мальчишки,
Стоя надо мной,
Весело хохочут
Над моей бедой.
Всё лицо и руки
Залепил мне снег...
Мне в сугробе горе,
А ребятам смех!

Но меж тем уж село
 Солнышко давно;
 Поднялася выюга,
 На небе темно.
 Весь ты перезябнешь,
 Руки не согнёшь
 И домой тихонько,
 Нехотя бредёшь.
 Ветхую шубёнку
 Скинешь с плеч долой;
 Заберёшься на печь
 К бабушке седой...
 И сидишь, ни слова...
 Тихо всё кругом;
 Только слышишь — воет
 Выюга за окном.
 В уголке, согнувшись,
 Лапти дед плетёт;
 Матушка за прялкой
 Молча лён прядёт.
 Избу освещает
 Огонёк светца;
 Зимний вечер длится,
 Длится без конца...
 И начну у бабки
 Сказки я просить;
 И начнёт мне бабка
 Сказку говорить:
 Как Иван-царевич
 Птицу-жар поймал;
 Как ему невесту
 Серый волк достал.
 Слушаю я сказку, —
 Сердце так и мрёт;
 А в трубе сердито
 Ветер злой поёт.

Я прижмусь к старушке...
 Тихо речь журчит,
 И глаза мне крепко
 Сладкий сон смежит.
 А во сне мне снятся
 Чудные края.
 И Иван-царевич —
 Это будто я.
 Вот передо мною
 Чудный сад цветёт;
 В том саду большое
 Дерево растёт.
 Золотая клетка
 На сучке висит;
 В этой клетке птица,
 Точно жар, горит;
 Прыгает в той клетке,
 Весело поёт;
 Ярким, чудным светом
 Сад весь обдаёт.
 Вот я к ней подкрался
 И за клетку — хватить!
 И хотел из сада
 С птицею бежать.
 Но не тут-то было!
 Поднялся шум, звон;
 Набежала стража
 В сад со всех сторон.
 Руки мне скрутили
 И ведут меня...
 И, дрожа от страха,
 Просыпаюсь я...
 Весело текли вы,
 Детские года!
 Вас не омрачали
 Горе и беда.

ТОЛСТОЙ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1817—1875)

* * *

(ОТРЫВОК)

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Тёмно-голубые?
И о чём звените вы
В день весёлый мая,
Средь некошенной травы
Головой качая?
Конь несёт меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьёт своим копытом.

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,
Тёмно-голубые!
Я бы рад вас не топтать,
Рад промчаться мимо,
Но уздой не удержать
Бег неукротимый!
Я лечу, лечу стрелой,
Только пыль взметаю;
Конь несёт меня лихой, —
А куда? не знаю!..



* * *

Звонче жаворонка пенье,
Ярче вешние цветы,
Сердце полно вдохновенья,
Небо полно красоты.
Разорвав тоски оковы,
Цепи пошлые разбив,

Набегают жизни новой
Торжествующий прилив,
И звучит свежо и юно
Новых сил могучий строй,
Как натянутые струны
Между небом и землёй.



ТЮТЧЕВ

ФЁДОР ИВАНОВИЧ

(1803—1873)

* * *

Чародейкою Зимою
 Околдован, лес стоит —
 И под снежной бахромою,
 Неподвижною, немою,
 Чудной жизнью он блестит.
 И стоит он, околдован, —
 Не мертвец и не живой —
 Сном волшебным очарован,
 Весь опутан, весь окован
 Лёгкой цепью пуховой...
 Солнце зимнее ли мещет
 На него свой луч косой —
 В нём ничто не затрепещет,
 Он весь вспыхнет и заблещет
 Ослепительной красой.



* * *

Зима недаром злится,
 Прошла её пора —
 Весна в окно стучится
 И гонит со двора.
 И всё засуетилось,
 Всё нудит Зиму вон —
 И жаворонки в небе
 Уж подняли трезвон.
 Зима ещё хлопочет
 И на Весну ворчит.

Та ей в глаза хохочет
 И пуще лишь шумит...
 Взбесилась ведьма злая
 И, снегу захватя,
 Пустила, убегая,
 В прекрасное дитя...
 Весне и горя мало:
 Умылася в снегу
 И лишь румяней стала
 Наперекор врагу.

Весенняя гроза

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный —
Всё вторит весело громам...



Весенние воды

Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...
Они гласят во все концы:
«Весна идёт, весна идёт,
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперёд!
Весна идёт, весна идёт,
И тихих, тёплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!..»



ФЕТ

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

(1820—1892)

* * *

Зреет рожь над жаркой нивой,
 И от нивы и до нивы
 Гонит ветер прихотливый
 Золотые переливы.
 Робко месяц смотрит в очи,
 Изумлён, что день не минул,
 Но широко в область ночи
 День объятия раскинул.
 Над безбрежной жатвой хлеба
 Меж заката и востока
 Лишь на миг смежает небо
 Огнедышащее око.



* * *

Уж верба вся пушистая
 Раскинулась кругом;
 Опять весна душистая
 Повеяла крылом.
 Станицей тучки носятся,
 Тепло озарены,
 И в душу снова просятся
 Пленительные сны.
 Везде разнообразною
 Картиной занят взгляд,

Шумит толпою праздною
Народ, чему-то рад...
Какой-то тайной жаждою
Мечта распалена —
И над душою каждою
Проносится весна.



* * *

Учись у них — у дуба, у берёзы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слёзы,
И треснула, сжимаяся, кора.
Всё злей метель и с каждою минутой
Сердито рвёт последние листья,
И за сердце хватает холод лютый;
Они стоят, молчат; молчи и ты!
Но верь весне. Её промчится гений,
Опять теплом и жизнью дыша.
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.



* * *

Кот поёт, глаза прищуря,
Мальчик дремлет на ковре,
На дворе играет буря,
Ветер свищет на дворе.
«Полно тут тебе валяться,
Спрячь игрушки да вставай!

Подойди ко мне прощаться,
 Да и спать себе ступай».
 Мальчик встал. А кот глазами
 Поводил и всё поёт;
 В окна снег валит клоками,
 Буря свищет у ворот.



* * *

Чудная картина,
 Как ты мне родна:
 Белая равнина,
 Полная луна,
 Свет небес высоких,
 И блестящий снег,
 И саней далёких
 Одинокий бег.



* * *

Мама! глянь-ка из окошка —
 Знать, вчера недаром кошка
 Умывала нос:
 Грязи нет, весь двор одело,
 Посветлело, побелело —
 Видно, есть мороз.
 Неколючий, светло-синий
 По ветвям развешен иней —
 Погляди хоть ты!

Словно кто-то тороватый¹
Свежей, белой, пухлой ватой
Все убрал кусты.
Уж теперь не будет спору:
За салазки² да и в гору
Весело бежать!
Правда, мама? Не откажешь,
А сама, наверно, скажешь:
«Ну, скорей гулять!»



* * *

Ласточки пропали,
А вчера зарёй
Всё грачи летали
Да, как сеть, мелькали
Вон над той горой.
С вечера всё спится,
На дворе темно.
Лист сухой валится,
Ночью ветер злится
Да стучит в окно.

Лучше б снег да вьюгу
Встретить грудью рад!
Словно как с испугу
Раскричавшись, к югу
Журавли летят.
Выйдешь — поневоле
Тяжело — хоть плачь!
Смотришь — через поле
Перекасти-поле³
Прыгает, как мяч.



¹ Тороватый — великодушный, щедрый.

² Салазки — маленькие санки для катания с гор или перевозки ручную небольших грузов.

³ Перекасти-поле — степное растение, верхушка которого в сухом состоянии легко отламывается ветром от основания и перекачивается в виде большого клубка по полям.



АКИМ ЯКОВ ЛАЗАРЕВИЧ (1923—2013)

В школу

Сегодня
Маленький народ
Встречает новый
Школьный год.
С утра по тротуарам,
По улице любой
Идут ребята
Парами,
Цепочкою,
Гурьбой.
Кто тащит
На занятия
Приёмник-самоделку,
Кто бабочек
Засушенных,
А кто — живую белку.
Вот с братом-первокласс-
ником
Сестра шагает рядом.
Девочке поручено
Смотреть
За младшим братом.

Да он и сам
Ещё не раз
К своей сестрёнке
В пятый класс
Заглянет непременно
В большую перемену!
...Идут гурьбою
Школьники
С портфелями в руках,
Не тронуты тетрадки,
Чисто в дневниках.
Они к звонку торопятся
И весело галдят.
А взрослые
Из окон
С улыбкою глядят.
У нас в почёте
Всякий труд —
Трудиться
Школьники
Идут!

Митины каникулы

Тише,
 Не шумите!
 Каникулы
 У Мити!
 Никто его не будит,
 Никто не подтолкнёт.
 — Пусть, — сказала
 бабушка, —
 Ребёнок отдохнёт.
 Около двенадцати
 Без лишней канители
 Митя, неумытый,
 Позавтракал
 В постели.
 С кровати перегнувшись,
 Как в лодке
 Через борт,
 Достал он с пола
 Книжку
 Про горнолыжный
 Спорт.
 Перелистал картинки,
 Зевнул,

Ещё зевнул
 И как-то незаметно
 За книгою
 Уснул.
 Тише,
 Не шумите!
 Каникулы
 У Мити!
 На улице стемнело.
 Зажгли в квартире свет.
 — Митя, — шепчет
 бабушка,
 Проснись, дружок, обед!
 Глаза продрал
 Наш Митя,
 Оделся, сел за стол
 И говорит:
 — Смотрите,
 Когда же день прошёл?
 ...Друзья,
 С такого Мити
 Примера
 Не берите!



БАЛЬМОНТ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (1867—1942)

У чудиш

Я был в избушке
 на курьих ножках.
 Там всё как прежде.
 Сидит Яга.
 Пищали мыши и рылись
 в крошках.
 Старуха злая была строга.
 Но я был в шапке,
 был в невидимке.
 Стянул у Старой
 две нитки бус.
 Разгневал Ведьму
 и скрылся в дымке.
 И вот со смехом
 кручу свой ус.
 Пойду, пожалуй, теперь
 к Кощею.
 Найду для песен там
 жемчугов.
 До самой пасти приближусь
 к Змею.
 Узнаю тайны —
 и был таков.



Золотая рыбка

В замке был весёлый бал,
Музыканты пели.
Ветерок в саду качал
Лёгкие качели.
В замке, в сладостном бреду,
Пела, пела скрипка.
А в саду была в пруду
Золотая рыбка.
И кружились под луной,
Точно вырезные,
Опьянённые весной,
Бабочки ночные.
Пруд качал в себе звезду,
Гнулись травы гибко,
И мелькала там в пруду
Золотая рыбка.
Хоть не видели её
Музыканты бала,
Но от рыбки, от неё,
Музыка звучала.
Чуть настанет тишина,
Золотая рыбка
Промелькнёт, и вновь видна
Меж гостей улыбка.
Снова скрипка зазвучит,
Песня раздаётся.
И в сердцах любовь журчит,
И весна смеётся.
Взор ко взору шепчет: «Жду!»
Так светло и зыбко,
Оттого что там в пруду —
Золотая рыбка.



БЕРЕСТОВ ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ (1928—1998)

Читалочка

Как хорошо уметь читать!
 Не надо к маме приставать,
 Не надо бабушку трясти:
 — Прочти, пожалуйста, прочти!
 Не надо умолять сестрицу:
 — Ну, почитай ещё страницу!
 Не надо звать,
 Не надо ждать,
 А можно взять
 И прочитать!



Где право, где лево

Стоял ученик на развилке дорог.
 Где право, где лево, понять он не мог.
 Но вдруг ученик в голове почесал
 Той самой рукою, которой писал.
 И мячик кидал, и страницы листал.
 И ложку держал, и полы подметал.
 «Победа!» — раздался ликующий крик.
 Где право, где лево, узнал ученик.



Первое сентября

Нежарким солнышком согреты,
Леса ещё листвою одеты.
У первоклассников букеты.
День хоть и грустный, но весёлый.
Грустишь ты:
— До свиданья, лето!
И радуешься:
— Здравствуй, школа!



БЛОК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1880—1921)

Зайчик

Маленькому зайчику
На сырой ложбинке
Прежде глазки тешили
Белые цветочки...
Осенью расплакались
Тонкие былинки,
Лапки наступают
На жёлтые листочки.
Хмурая, дождливая
Наступила осень,
Всю капусту сняли,
Нечего украсть.

Бедный зайчик прыгает
Возле мокрых сосен,
Страшно в лапы волку
Серому попасть...
Думает о лете,
Прижимает уши,
На небо косится —
Неба не видать...
Только б потеплее,
Только бы посуше...
Очень неприятно
По воде ступать.

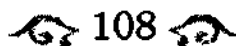


Снег да снег

Снег да снег. Всю избу занесло.
Снег белеет кругом по колено.
Так морозно, светло и бело!
Только чёрные, чёрные стены...
И дыханье выходит из губ
Застывающим в воздухе паром.
Вон дымок выползает из труб;
Вот в окошке сидят с самоваром;
Старый дедушка сел у стола,
Наклонился и дует на блюде;
Вон и бабушка с печки сползла,
И кругом ребятишки смеются.
Притаились, ребята, глядят,
Как играет с котятками кошка...
Вдруг ребята пискливых котят
Побросали обратно в лукошко...
Прочь от дома на снежный простор
На салазках они покатали.
Оглашается криками двор —
Великана из снега слепили!
Палку в нос, повертели глаза
И надели лохматую шапку.
И стоит он, ребячья гроза, —
Вот возьмёт, вот ухватит в охапку!
И хохочут ребята, кричат,
Великан у них вышел на славу!
А старуха глядит на внучат,
Не перечит ребячьему нраву.



Сахарный песок,
Спичечный коробок,
Масло и компот.
Деньги — вот.
Наконец очередь Нинки.
Нина твердит без запинки:
— Дайте фунт кваса,
Бутылку мяса,
Спичечный песок,
Сахарный коробок,
Масло и компот.
Деньги — вот.
Кассир говорит в ответ:
— Такого, простите, нет!
Как же вам взвесить
квасу,
Не лезет в бутылку мясо...
На масло и компот
Чек — вот!
А про сахарный коробок
И спичечный песок
Никогда не слыхал я
лично, —
Верно, товар заграничный...



Чудаки

Я послал на базар чудаков,
Дал чудакам пятаков:
Один пятак — на кушак,
Другой пятак — на колпак,
А третий пятак — так.
По пути на базар чудаки
Перепутали все пятаки:
Который пятак — на кушак,
Который пятак — на колпак,
А который пятак — так.
Только ночью пришли чудаки,
Принесли мне назад пятаки.
— Извините, но с нами беда:
Мы забыли — который — куда:
Который пятак — на кушак,
Который пятак — на колпак,
А который пятак — так.



**ЕСЕНИН
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1895—1925)**

Берёза

Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит берёза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.



* * *

Поёт зима — аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далёкую
Седые облака.
А по двору метелица
Ковром шелковым
стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.

Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А выюга с рёвом бешеным
Стучит по ставням
 свешенным
И злится всё сильней.
И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мёрзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
Красавица весна.



Черёмуха

Черёмуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.
А рядом, у проталинки,
В траве, между корней,

Бежит, струится маленький
Серебряный ручей.
Черёмуха душистая
Развесившись стоит,
А зелень золотистая
На солнышке горит.
Ручей волной гремячей
Все ветки обдаёт
И вкрадчиво под кручею
Ей песенки поёт.



КОРИНЕЦ ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ (1923—1989)

Лапки

Как у старой бабки
Жили-были лапки.
Встанет бабка утром рано,
Выйдет в погреб за сметаной —
Лапки вслед за ней бегут.
Всюду бабку стерегут.
Сядет бабушка вязать —
Лапки рядом с ней опять:
Схватят бабушкин клубок
И закатят в уголок...
Надоели бабке
Озорные лапки!

Видит бабка — у ворот
Умывают лапки рот.
Стала бабка ждать гостей,
Суп сварила из костей.
Ждёт гостей, а их всё нет.
Стынет бабушкин обед.
Глядь, а лапки из кастрюли
Кость большую утянули.
Вот тебе и лапки!
Нет покоя бабке.
Отчего ж тогда стара
Их не гонит со двора?
Оттого, что ночью лапки
Верно служат старой бабке.
Если лапки ночью вскочат,
Когти острые поточат,
По полу пройдутся —
Все мыши разбегутся!
Нет мышей у бабки.
Вот какие лапки!



Лошадиная сила

Человек изобрёл паровоз.
Паровоз человека повёз.
И кричал паровоз на людей:
Сил во мне, как у ста лошадей!

Тут одна лошадиная сила
Подошла и сказала ему:
— Я весь век человека возила,
Что мне делать теперь — не пойму!

Человек изобрёл пароход
И поплыл по реке на восход.
Пароход над рекой голосил:
— Лошадиных во мне сотни сил!

Тут одна лошадиная сила
Подошла и сказала ему:
— По земле я все грузы возила,
Как по речке везти — не пойму!

Человек изобрёл самолёт
И отправился в первый полёт.
Зажужжал самолёт над долиной:
— Я силен, как табун лошадиный!

Тут одна лошадиная сила
Подошла и сказала ему:
— По земле я весь век свой ходила,
Как ты в небо залез — не пойму!

Человек изготовил ракету,
Облетел нашу Землю-планету,
И ракета хвастливо сказала:
— Сил во мне лошадиных немало!

Тут одна лошадиная сила
Человека печально спросила:
— Век трудилась я честно, поверь!
Что мне делать осталось теперь?

— Не грусти, лошадиная сила! —
Человек улыбнулся легко. —
Отвечаю тебе, коль спросила:
Будешь детям возить молоко!



МАЯКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1993—1930)

Тучкины штучки

Плыли по небу тучки.
Тучек — четыре штучки:
от первой до третьей —
люди;
четвёртая была
верблюдик.
К ним, любопытством
объятая,
по дороге пристала
пятая,
от неё в небосинем лоне
разбежались
за слоником слоник.
И, не знаю, спугнула
шестая ли,
тучки взяли все —
и растаяли.
И следом за ними,
гонясь и сжирав,
солнце погналось —
жёлтый жираф.



Что такое хорошо и что такое плохо?

Крошка сын
к отцу пришёл,
и спросила кроха:
— Что такое
хорошо
и что такое
плохо? —
У меня
секретов нет, —
слушайте, детишки, —
папы этого
ответ
помещаю
в книжке.
— Если ветер
крыши рвёт,
если
град загрохал, —
каждый знает —
это вот
для прогулок
плохо.
Дождь покапал
и прошёл.
Солнце
в целом свете.
Это —
очень хорошо
и большим
и детям.

Если
сын
чернее ночи,
грязь лежит
на рожице, —
ясно,
это
плохо очень
для ребячьей кожицы.
Если
мальчик
любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает хорошо.
Если бьёт
дрянной драчун
слабого мальчишку,
я такого
не хочу
даже
вставить в книжку.
Этот вот кричит:
— Не трожь
тех,
кто меньше
ростом! — Этот мальчик
так
хорош,
загляденье просто!

Если ты
порвал подряд
книжицу
и мячик,
октябрюта говорят:
плоховатый мальчик.
Если мальчик
любит труд,
тычет
в книжку
пальчик,
про такого
пишут тут:
он
хороший мальчик.
От вороны
карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
просто трус.
Это
очень плохо.
Этот,
хоть и сам с вершок,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни
пригодится.
Этот
в грязь полез
и рад,

что грязна рубаха.
Про такого
говорят:
он плохой,
неряха.
Этот
чистит валенки,
моет
сам
галоши.
Он
хотя и маленький,
но вполне хороший.
Помни
это
каждый сын.
Знай,
любой ребёнок:
вырастет
из сына
свин,
если сын —
свинёнок.
Мальчик
радостный пошёл,
и решила кроха:
«Буду
делать хорошо,
и не буду —
плохо».



История Власа — лентяя и лоботряса

(В СОКРАЩЕНИИ)

Влас Прогулкин —
 милый мальчик,
 спать ложился,
 взяв журнальчик.
 Всё в журнале
 интересно.
 — Дочитаю весь,
 хоть тресну! —
 Ни отец его,
 ни мать
 не могли
 заставить спать.
 Засыпает на рассвете,
 скомкав
 ёрзаньем
 кровать,
 в час,
 когда
 другие дети
 бодро
 начали вставать.
 Когда
 другая детвора
 чаёвничает, вставши,
 отец
 орёт ему:
 — Пора! —
 Он —
 одеяло на уши.

Разошлись
 другие
 в школы, —
 Влас
 у крана
 полуголый —
 не дремалось в школе
 чтоб,
 моет нос
 и мочит лоб.
 Без чаю
 и без калача
 выходит,
 еле волочась.
 Пошагал
 и встал разиней:
 вывеска на магазине.
 Грамота на то и есть!
 Надо
 вывеску
 прочесть!
 Прочёл...
 Пошёл.
 Минуты с три —
 опять застрял
 у двух витрин.
 Как-никак,
 а к школьным
 зданиям

пришёл
с огромным
опозданием.
Дверь на ключ.
Толкнулся Влас —
не пускают Власа
в класс!
Этак ждать
расчёта нету.
«Сыграну-ка
я
в монету!»
Проиграв
один пятак,
не оставил дела так...
Словом,
не заметил сам,
как промчались
три часа.
Что же делать —
вывод ясен:
возвратился восвояси!
Пришёл в грустях,
чтоб видели
соседи
и родители.

Те
к сыночку:
— Что за вид? —
— Очень голова болит.
Так трещала,
что не мог
даже
высидеть урок!..
Словом,
вырос этот Влас —
настоящий лоботряс...
Дети,
не будьте
такими, как Влас!
Радостно
книгу возьмите
и — в класс!
Вооружись
учебником-книгой!
С детства
мозги
развивай и двигай!
Помни про школу —
только с ней
станешь
строителем
радостных дней!



МОШКОВСКАЯ ЭММА ЭФРАИМОВНА (1926—1981)

Я маму мою обидел

Я маму мою обидел,
Теперь никогда-никогда
Из дому вместе не выйдем,
Не сходим с ней никуда.

Она в окно не помашет,
Я тоже не помашу,
Она ничего не расскажет,
Я тоже не расскажу...

Возьму я мешок за плечи,
Я хлеба кусок найду,
Найду я палку покрепче,
Уйду я, уйду в тайгу!

Я буду ходить по следу,
Я буду искать руду,

Я через бурную реку
Строить мосты пойду!

И буду я главный начальник,
И буду я с бородой,
И буду всегда печальный
И молчаливый такой...

И вот будет вечер зимний,
И вот пройдёт много лет,
И вот в самолёт реактивный
Мама возьмёт билет.

И в день моего рождения
Тот самолёт прилетит.
И выйдет оттуда мама,
И мама меня простит!



Решительное решение

Я — в горе и в отчаянье.
Никак мне не понять:
ДАЮ я обещание,
И мне же ВЫПОЛНЯТЬ?!

— Но это очень трудно, —
шепчу я очень грустно. —
Но это очень много! —
кричу я очень строго. —

И где же
разделение
труда?
Да?!
Такое
положение
хочу я поменять.
Решаю я

решение
решительно
принять.
Я говорю:
— Внимание!
Прошу меня понять:
ДАЮ я обещание,
ИЗВОЛЬТЕ ВЫПОЛНЯТЬ!



Таблица умножения

— Скажи нам,
Сколько шестью шесть?

— Вы погодите,
Дайте сесть!
Я сразу не соображу!
Я посижу, тогда скажу.

— А сколько будет пятью пять?
Уж это стыдно бы не знать!

— Ну как мне этого не знать,
Я просто не хочу сказать!
Вот не желаю,
Не хочу,
Вот не хочу
И промолчу!

— А сколько будет семью семь?

— Вы надоели мне совсем!
Я это завтра вам решу,
Сейчас я занят,
Я спешу.

— А сколько будет трижды три?
Скажи, да только не соври!

— Я очень болен!
Я — в жару!
В жару
Я, может быть, совру...

— А сколько будет дважды два?!
— От вас устала голова...
Ну отвяжитесь, вас прошу!
Пойду
у мамы я спрошу...



* * *

Можно всему-всему научиться.
И научиться,
Как не учиться.
Но надо учиться,
Как надо учиться!
А то неизвестно, что может
Случиться!



САКОНСКАЯ НИНА (1896—1951)

* * *

От чистого сердца,
Простыми словами,
Давайте, друзья,
Потолкуем о маме.
Мы любим её,
Как хорошего друга,
За то, что у нас
С нею всё сообща,
За то, что, когда
Нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть
У родного плеча.
Мы любим её и за то,
Что порою

Становятся строже
В морщинках глаза,
Но стоит с повинной
Прийти головою —
Исчезнут морщинки,
Умчится гроза.
За то, что всегда,
Без утайки и прямо,
Мы можем доверить
Ей сердце своё.
И просто за то,
Что она наша мама,
Мы крепко и нежно
Любим её!



Зимний праздник

Ясный день, замечательный воздух!
Забирайте коньки — и на лёд!
Встретим так новогодний наш отдых,
Чтоб потом вспоминать целый год.
На санях хорошо, на коньках хорошо,
И с горы хорошо прокатиться!
Но сейчас веселей, в десять раз веселей
Возле ёлки играть и кружиться!

Серпантина бумажные стружки,
 Извиваясь, над нами шуршат,
 Из мешка доставая игрушки,
 Дед Мороз поздравляет ребят.
 На санях хорошо, на коньках хорошо,
 И с горы хорошо прокатиться!
 Но сейчас веселей, в десять раз веселей
 Возле ёлки играть и кружиться!
 Ватный снег на иголках не тает,
 Как сосульки, блестят леденцы.
 Огоньков разноцветная стая,
 Голосов молодых бубенцы.
 На санях хорошо, на коньках хорошо,
 И с горы хорошо прокатиться!
 Но сейчас веселей, в десять раз веселей
 Возле ёлки играть и кружиться!



Мы с мамой
 В новом сером доме,
 На верху на самом,
 Где звезда в окошко
 Светит, как маяк, —
 В этом новом доме
 Я живу и мама,
 Ласковая, смелая,
 Весёлая моя.
 Кто её обгонит
 На коньках и лыжах?
 Кто умеет легче
 Плавать и грести?

Кто скорей отыщет
 Самый рыжий рыжик?
 Лучше этой мамы
 В мире не найти!..
 Мне в апреле десять,
 Мама старше втрое;
 У неё морщинка
 Меж бровей легла.
 Если провинишься,
 Мама хмурит брови.
 Если отличишься,
 Мама весела...
 Раннею весною

По лесной опушке
Вот с такою мамой
Хорошо идти!
Ландыши кивают,
Квакают лягушки,
Ручеёк прохладный
Вьётся на пути.
Он журчит невнятно

Про весёлых дочек,
Про любимых дочек
И любимых мам.
И бежит всё дальше
И как будто хочет
Рассказать об этом
Всем своим
друзьям.



УСАЧЁВ
АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(род. в 1958 г.)

Стая и стадо

Чем отличается стадо от стаи?
Стадо пасётся.
А стая — летает.
Стая гусей улетает на юг.
А стадо гусей ковыляет на луг.
В этом отличие стаи от стада.
Это запомнить как следует надо!



Шуршащая песня

Шуршат осенние кусты.
Шуршат на дереве листья.
Шуршит камыш, и дождь шуршит.
И мыш, шурша, в нору спешит.

А там тихо-онечко шуршат
 Шесть шустрых маленьких мышат...
 Но все вокруг возмущены:
 — Как расшуршались шалуны!
 Шуршат на малышей кусты.
 Шуршат им с дерева листы.
 Шуршит рассерженный камыш.
 И дождь шуршит, и мама-мышь.
 Весь лес шуршит им: «Шалуны!
 Не нарушайте тишины!»
 Но их не слышат шесть мышат:
 Давно мышата не шуршат.
 Они легли пораньше спать,
 Чтоб не мешать большим шуршать.



Часы

Часы идут за днями дни.
 Часы бегут за веком век...
 — Куда торопитесь, Часы? —
 Спросил однажды человек.
 Часы ужасно удивились.
 Задумались.
 Остановились.



**ЦВЕТАЕВА
МАРИНА ИВАНОВНА
(1892—1941)**

Так

Почему ты плачешь?» — «Так». —
«Плакать «так» смешно и глупо.
Зареветь, не кончив супа!
Отними от глаз кулак!
Если плачешь, есть причина.
Я отец, и я не враг.
Почему ты плачешь?» — «Так». —
«Ну какой же ты мужчина?
Отними от глаз кулак!
Что за нрав такой? Откуда?
Рассержусь, и будет худо!
Почему ты плачешь?» — «Так».



За книгами

Мама, милая, не мучь же!
Мы поедем или нет?»
Я большая, — мне семь лет,
Я упряма, — это лучше.

Удивительно упряма:
Скажут нет, а будет да.
Не поддамся никогда,
Это ясно знает мама.

«Поиграй, возьмись за дело,
Домик строй». —
 «А где картон?» —
«Что за тон?» —
 «Совсем не тон!
Просто жить мне надоело!

Надоело... жить... на свете,
Все большие — палачи,
Давид Копперфильд...» —
 «Молчи!
Няня, шубу! Что за дети!»

Прямо в рот летят снежинки...
Огонёчки фонарей...
«Ну, извозчик, поскорей!
Будут, мамочка, картинки?»

Сколько книг! Какая давка!
Сколько книг! Я все прочту!
В сердце радость, а во рту
Вкус солёного прилавка.



* * *

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.
Спорили сотни
Колоколов.

День был субботний:
Иоанн Богослов.
Мне и доньше
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.



Наши царства

Владенья наши царственно-богаты,
 Их красоты не рассказать стиху:
 В них ручейки, деревья, поле, скаты
 И вишни прошлогодние во мху.
 Мы обе — феи, добрые соседки,
 Владенья наши делит тёмный лес.
 Лежим в траве и смотрим, как сквозь ветки
 Белеет облачко в выси небес.
 Мы обе — феи, но большие (странно!)
 Двух диких девочек лишь видят в нас.
 Что ясно нам — для них совсем туманно:
 Как и на всё — на фею нужен глаз!
 Нам хорошо. Пока ещё в постели
 Все старшие, и воздух летний свеж,
 Бежим к себе. Деревья нам качели.
 Беги, танцуй, сражайся, палки режь!..
 Но день прошёл, и снова феи — дети,
 Которых ждут и шаг которых тих...
 Ах, этот мир и счастье быть на свете
 Ещё невзрослый передаст ли стих?



* * *

Бежит тропинка с бугорка,
 Как бы под детскими ногами,
 Всё так же сонными лугами
 Лениво движется Ока;
 Колокола звонят в тени,
 Спешат удары за ударом,
 И всё поют о добром, старом,
 О детском времени они.

О, дни, где утро было рай
 И полдень рай и все закаты!
 Где были шпагами лопаты
 И замком царственным сарай.
 Куда ушли, в какую даль вы?
 Что между нами пролегло?
 Всё так же сонно-тяжело
 Качаются на клумбах мальвы...



ЧЁРНЫЙ САША (Александр Гликберг) (1880—1932)

* * *

Что ты тискаешь утёнка?
 Он малыш, а ты — большой.
 Ишь, задравши головёнку,
 Рвётся прочь он всей душой...
 Ты представь такую штуку, —
 Если б толстый бегемот
 Захотел с тобой от скуки
 Поиграть бы в свой черёд?
 Взял тебя бы крепко в лапу,
 Языком бы стал лизать.
 Ух, как стал бы звать ты папу.
 И брыкаться и кричать!..
 Ты снеси утёнка к утке,
 Пусть идёт купаться в пруд.
 Лапы мальчика не шулки,
 Чуть притиснешь — и капут.

Храбрецы

У пруда по мягкой травке
Ходит маленький Васюк.
Ходит — смотрит: здесь паук,
Там дерутся две козявки,
Под скамейкой красный гриб,
На мостках сидят лягушки,
А в воде так много рыб
Мельче самой мелкой мушки.
Надо всё пересмотреть,
Перетрогать, повертеть...
Ведь лягушки не кусают?
Пусть попробуют... Узнают!
А лягушки на мостках
Не спускают глаз с мальчишки:
Страшный, толстый...
Прут в руках,
Ярко-красные штанишки...
Из-под шапочки крючком
Вьётся, пляшет чубик рыжий...
Сам к мосткам бочком, бочком,
Подбирается всё ближе.
Ведь мальчишки не кусают?
Пусть попробует... Узнает!



Воробей

Воробей мой, воробышка!
Серый юркий, словно мышка.
Глазки — бисер, лапки — врозь,
Лапки — боком, лапки — вкось..

Прыгай, прыгай, я не трону —
 Видишь, хлебца накрошил...
 Двинь-ка клювом в бок ворону,
 Кто её сюда просил?
 Прыгни ближе, ну-ка, ну-ка,
 Так, вот так, ещё чуть-чуть...
 Ветер сыплет снегом, злюка,
 И на спинку, и на грудь.
 Подружись со мной, пичужка,
 Будем вместе в доме жить,
 Сядем рядышком под выюшкой,
 Будем азбуку учить...
 Ближе, ну ещё немножко...
 Фурх! Удрал... Какой нахал!
 Съел все зёрна, съел все крошки
 И спасибо не сказал.



Волк

Вся деревня спит в снегу.
 Ни гугу.
 Месяц скрылся на ночлег.
 Вьётся снег.
 Ребятишки все на льду,
 На пруду.
 Дружно саночки визжат —
 Едем в ряд!
 Кто — в запряжке,
 кто — седок.
 Ветер в бок.
 Растянулся наш обоз
 До берёз.

Вдруг кричит передовой:
«Черти, стой!»
Стали санки, хохот смолк.
«Братцы, волк!..»
Ух, как брызнули назад!
Словно град.
Врассыпную все с пруда —
Кто куда.
Где же волк? Да это пёс —
Наш Барбос!
Хохот, грохот, смех и толк:
«Ай да волк!»



Зелёные стихи

Зеленеют все опушки,
Зеленеет пруд.
А зелёные лягушки
Песенку поют.
Ёлка — сноп зелёных свечек,
Мох — зелёный пол.
И зелёненький кузнечик
Песенку завёл...
Над зелёной крышей дома
Спит зелёный дуб.
Два зелёненькие гнома
Сели между труб.
И, сорвав зелёный листик,
Шепчет младший гном:
«Видишь? рыжий гимназистик
Ходит под окном.

Отчего он не зелёный?
 Май теперь ведь... май!»
 Старший гном зевает сонно:
 «Цыц! не приставай».



Живая азбука

Буквам очень надоело
 В толстых книжках спать да спать...
 В полночь — кучей угорелой
 Слезли с полки на кровать.
 А с кровати — на пол сразу,
 Посмотрели — люди спят —
 И затеяли проказу,
 Превесёлый маскарад.
 А — стал аистом, Ц — цаплей,
 Е — ежом... Прекрасный бал!
 Я не спал и всё до капли
 Подсмотрел и записал...
 Утром в дверь стучит художник
 (Толстый, с чёрной бородой,
 И румяный, как пирожник) —
 Это был приятель мой.
 Прочитал он, взял бумагу,
 Вынул семь карандашей
 И сейчас же всю ватагу
 Срисовал для малышей.

А

Астра в садике цветёт —
 Аист, вам пора в поход!

Б

Бык весь день мычит и ест.
Белка держит хвост, как шест.

В

Ворон может жить сто лет.
Волк овце — плохой сосед.

Г

Гусь шагает, как солдат.
Груша зреет — Гриша рад.

Д

Дятел в дуб всё тук да тук...
Дуб скрипит: «Что там за стук?»

Ё

Ёж под ёлкой удивлён:
Ёлка с иглами — и он.

Ж

Жаба ждёт, раздув живот, —
Жук летит ей прямо в рот.

З

Зяблик в роще засвистал,
Заяц струсил и удрал.

И

Ива клонит ветви в пруд.
Индюки всегда орут.

К

Крыса мчится через мост.
Кот за ней, задравши хвост.

Л

Лебедь — родственник гуся,
Лошадь — зебре, лещ — ершам.

М

Мышь глядит на потолок:
«Муха, свалишься, дружок!»

Н

Норка ловит рыб в волне.
Носорог храпит во сне.

О

Ослик влез в чертополох.
Обезьянки ищут блох.

П

Пчёлка трудится весь день,
Петушку и клюнуть лень.

Р

Рыжик прячет в мох колпак.
Рак был негр, а стал, как мак.

С

Слон ужасно заболел —
Сливу с косточкою съел.

Т

Тигр свирепей всех зверей,
Таракан же всех добрей.

У

Утка — опытный нырок.
Ужик любит холодок.

Ф

Фиги сладки, как желе.
Филин днём сидит в дупле.

Х

Хрущ — весёлый майский жук.
Хмель ползёт на шест без рук.

Ц

Цыпка вышла из яйца.
Цапля спит у деревца.

Ч

Червячок влез на цветок,
Чиж слетел — и клюнул в бок!

Ш

Шимпанзе грызёт бисквит.

Шпиц от зависти дрожит.

Щ

Щур¹ ест пчёл по сотне в день.

Щука-злюка скрылась в тень.

Э

Эфиопы варят суп.

Эскимос защит в пять шуб.

Ю

Юнга моет свой корабль.

Юра клеит дирижабль.

Я

Ястреб — ловкий птицелов.

Ягуар — гроза лесов.

Ъ, Ъ, Ы

Твёрдый знак и мягкий знак,

Ы и Ять² — остались так.



¹ Щур — птица семейства выюрковых.

² Ять — буква в дореволюционном русском алфавите

ЧУКОВСКИЙ КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ (1882—1969)

Путаница

Замяукали котята:
«Надоело нам мяукать!
Мы хотим, как поросята,
Хрюкать!»
А за ними и утята:
«Не желаем больше крякать!
Мы хотим, как лягушата,
Квакать!»
Свинки замяукали:
Мяу, мяу!
Кошечки захрюкали:
Хрю, хрю, хрю!
Уточки заквакали:
Ква, ква, ква!
Куры закрюкали:
Кря, кря, кря!
Воробышек прискакал
И коровой замычал:
Му-у-у!
Прибежал медведь
И давай реветь:
Ку-ка-ре-ку!
Только зайнька
Был паинька:
Не мяукал
И не хрюкал —
Под капустою лежал,

По-заячьи лопотал
И зверюшек неразумных
Уговаривал:
«Кому велено чирикать —
Не мурлыкайте!
Кому велено
мурлыкать —
Не чирикайте!
Не бывать вороне короною,
Не летать лягушатам
под облаком!»
Но весёлые зверята —
Поросята, медвежата —
Пуще прежнего шалят,
Зайца слушать не хотят.
Рыбы по полю гуляют,
Жабы по небу летают,
Мыши кошку изловили,
В мышеловку посадили.
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
«Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!»

Испугалася коза,
 Растопырила глаза:
 «Что такое? Почему?
 Ничего я не пойму».

2

Но, как чёрная железная нога,
 Побежала, поскакала кочерга.
 И помчались по улице ножи:
 «Эй, держи, держи, держи, держи,
 держи!»

И кастрюля на бегу
 Закричала утюгу:
 «Я бегу, бегу, бегу,
 Удержаться не могу!»
 Вот и чайник за кофейником
 бежит,

Тараторит, тараторит, дребезжит...
 Утюги бегут побрякивают,
 Через лужи, через лужи перескаки-
 вают.

А за ними блюдца, блюдца —
 Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
 Вдоль по улице несутся —
 Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
 На стаканы — дзынь! —
 натыкаются,

И стаканы — дзынь! —
 разбиваются.

И бежит, бренчит, стучит
 сковорода:
 «Вы куда? куда? куда?
 куда? куда?»

А за нею вилки,
Рюмки да бутылки,
Чашки да ложки
Скачут по дорожке.
Из окошка вывалился стол
И пошёл, пошёл, пошёл, пошёл,
пошёл...

А на нём, а на нём,
Как на лошади верхом,
Самоварище сидит
И товарищам кричит:
«Уходите, бегите, спасайтесь!»
И в железную трубу:
«Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!»

3

А за ними вдоль забора
Скачет бабушка Федора:
«Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!
Воротитесь домой!»
Но ответило корыто:
«На Федору я сердито!»
И сказала кочерга:
«Я Федоре не слуга!»
А фарфоровые блюда
Над Федорою смеются:
«Никогда мы, никогда
Не воротимся сюда!»
Тут Федорины коты
Расфуфырили хвосты,
Побежали во всю прыть.
Чтоб посуду воротить:
«Эй вы, глупые тарелки,
Что вы скачете, как белки?»

Вам ли бегать за воротами
 С воробьями желторотыми?
 Вы в канаву упадёте,
 Вы утонете в болоте.
 Не ходите, погодите,
 Воротитесь домой!»
 Но тарелки вьются-вьются,
 А Федоре не даются:
 «Лучше в поле пропадём,
 А к Федоре не пойдём!»

4

Мимо курица бежала
 И посуду увидала:
 «Куд-куда! Куд-куда!
 Вы откуда и куда?!»
 И ответила посуда:
 «Было нам у бабы худо,
 Не любила нас она,
 Била, била нас она,
 Запылила, закоптила,
 Загубила нас она!»
 «Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!
 Жить вам было нелегко!»
 «Да, — промолвил медный таз, —
 Погляди-ка ты на нас:
 Мы поломаны, побиты,
 Мы помоями облиты.
 Загляни-ка ты в кадушку —
 И увидишь там лягушку.
 Загляни-ка ты в ушат —
 Тараканы там кишат,
 Оттого-то мы от бабы
 Убежали, как от жабы,

И гуляем по полям,
По болотам, по лугам,
А к неряхе-замарахе
Не воротимся!»

5

И они побежали лесочком,
Поскакали по пням и по кочкам.
А бедная баба одна,
И плачет, и плачет она.
Села бы баба за стол,
Да стол за ворота ушёл.
Сварила бы баба щи,
Да кастрюлю поди поищи!
И чашки ушли, и стаканы,
Остались одни тараканы.
Ой, горе Федоре,
Горе!

6

А посуда вперёд и вперёд
По полям, по болотам идёт.
И чайник шепнул утюгу:
«Я дальше идти не могу».
И заплакали блюдца:
«Не лучше ль вернуться?»
И зарыдало корыто:
«Увы, я разбито, разбито!»
Но блюдо сказало: «Гляди,
Кто это там позади?»
И видят: за ними из тёмного бора
Идёт-ковыляет Федора.
Но чудо случилось с ней:
Стала Федора добрей.

Тихо за ними идёт
 И тихую песню поёт:
 «Ой вы, бедные сиротки мои,
 Утюги и сковородки мои!
 Вы подите-ка, немытые, домой,
 Я водою вас умою ключевой.
 Я почищу вас песочком,
 Окачу вас кипяточком,
 И вы будете опять,
 Словно солнышко, сиять,
 А поганых тараканов я повыведу,
 Прусаков и пауков я повымету!»
 И сказала скалка:
 «Мне Федору жалко».
 И сказала чашка:
 «Ах, она бедняжка!»
 И сказали блюдца:
 «Надо бы вернуться!»
 И сказали утюги:
 «Мы Федоре не враги!»

7

Долго, долго целовала
 И ласкала их она,
 Поливала, умывала,
 Полоскала их она.
 «Уж не буду, уж не буду
 Я посуду обижать.
 Буду, буду я посуду
 И любить и уважать!»
 Засмеялися кастрюли,
 Самовару подмигнули:
 «Ну, Федора, так и быть,
 Рады мы тебя простить!»

Полетели,
Зазвенели
Да к Федоре прямо в печь!
Стали жарить, стали печь, —
Будут, будут у Федоры и блины
и пироги!

А метла-то, а метла — весела —
Заплясала, заиграла, замела,
Ни пылинки у Федоры не оставила.
И обрадовались блюдца:
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
И танцуют и смеются —
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
А на белой табуреточке
Да на вышитой салфеточке
Самовар стоит,
Словно жар горит,
И пытит, и на бабу поглядывает:
«Я Федорушку прощаю,
Сладким чаем угощаю.
Кушай, кушай, Федора Егоровна!»

АВТОРСКИЕ
СКАЗКИ

**АКСАКОВ
СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
(1791—1859)**

Аленький цветочек

СКАЗКА КЛЮЧНИЦЫ ПЕЛАГЕИ

В некиим царстве, в некиим государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны; и было у того купца три дочери, все три красавицы писанные, а меньшая лучше всех; и любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны — по той причине, что он был вдовец и любить ему было некого; любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он своим любезным дочерям: «Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство, и мало ли, много ли времени проезжу — не ведаю, и наказываю я вам жить без меня честно и смирно; и коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам

такие гостинцы, каких вы сами похотите, и даю я вам сроку думать на три дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется». Думали они три дня и три ночи и пришли к своему родителю, и стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первая:

«Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов чёрного соболя, ни жемчуга бурмицкого, а привези ты мне золотой венец из камениев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от них светло в тёмную ночь, как среди дня белого». Честной купец призадумался и сказал потом: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая: привезу я тебе таковой венец; знаю я за морем такова человека, который достанет мне таковой венец; а и есть он у одной королевичны заморския, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени, за тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа будет немалая: да для моей казны супротивного нет». Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит: «Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни чёрных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга бурмицкого, ни золота венца самоцветного, а привези ты мне тувалет из хрусталу восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную и чтоб, смотрясь в него, я не старилась и красота б моя девичья прибавлялась». Призадумался честной купец и, подумав мало ли, много ли времени, говорит ей таковые слова: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе таковой хрустальный тувалет; а и есть он у дочери короля персидского, молодой королевичны, красоты несказанной, неописанной и негаданной: и схоронен тот тувалет в терему каменном, высокиим, и стоит он на горе каменной, вышина

той горы в триста сажень, за семью дверьми железными, за семью замками немецкими, и ведут к тому терему ступеней три тысячи, и на каждой ступени стоит по воину персидскому и день и ночь, с саблею наголо булатного, и ключи от тех дверей железных носит королевична на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне таковой тувалет. Потяжеле твоя работа сестриной: да для моей казны супротивного нет». Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таково слово: «Государь ты мой батюшка родимой! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни чёрных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне аленькой цветочик, которого бы не было краше на белом свете». Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу; надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь любимую и говорит таковые слова: «Ну, задала ты мне работу потяжеле сестриных: коли знаешь, что искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь? Аленькой цветочик не хитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи». И отпустил он дочерей своих, хороших, пригожих, в ихние терема девицы. Стал он собираться в путь, во дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь, во дороженьку. Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморскими, по королевствам невиданным; продаст он свои товары втридорога, покупает чужие втридешева; он меняет товар на товар и того сходней, со придачею серебра да золота; золотой казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери: венец с камнями самоцветными, а от них светло в тёмную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный го-

стинец и для своей средней дочери: тувалет хрустальный, а в нём видна вся красота поднебесная, и, смотрясь в него, девичья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшей любимой дочери, аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свету. Находил он во садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать; да никто ему поруки не даёт, что краше того цветка нет на белом свете; да и сам он того не думает. Вот едет он путём-дорогою, со своими слугами верными, по пескам сыпучим, по лесам дремучим, и откуда ни возьмись налетели на него разбойники, бусурманские, турецкие да индейские нехристи поганые; и, увидя беду неминуемую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугою своей верною и бежит в тёмны леса. «Пусть-де меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи, поганые и доживать свой век в плену, во неволе». Бродит он по тому лесу дремучему, непроезжному, непроходному, и что дальше идёт, то дорога лучше становится, словно деревья перед ним расступаются, а часты кусты раздвигаются. Смотрит назад — руки не просунуть, смотрит направо — пни да колоды, зайцу косому не проскочить, смотрит налево — а и хуже того. Дивуется честной купец, думает не придумает, что с ним за чудо совершается, а сам всё идёт да идёт: у него под ногами дорога торная. Идёт он день от утра до вечера, не слышит он рёву звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего: ровно около него всё померло. Вот пришла и тёмная ночь: кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлѣхонько. Вот идёт он, почитай, до полуночи, и стал видеть впереди будто зарево, и подумал он: «Видно, лес горит, так зачем же мне туда идти на верную смерть, неминуемую?» Поворотил он назад — нельзя идти, направо, налево — нельзя идти; су-

нулся вперёд — дорога торная. «Дай постою на одном месте, может, зарево пойдёт в другую сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем». Вот и стал он, дожидается; да не тут-то было: зарево точно к нему навстречу идёт и как будто около него светлее становится; думал он, думал и порешил идти вперёд. Двух смертей не бывать, одной не миновать. Перекрестился купец и пошёл вперёд. Чем дальше идёт, тем светлее становится, и стало, почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он под конец на поляну широкую, и посередь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский, весь в огне, в серебре и золоте и в камнях самоцветных, весь горит и светит, а огня не видать; ровно солнушко красное, индо тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нём музыка согласная, какой никогда он не слыхивал. Входит он на широкий двор, в ворота широкие, растворённые; дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланной кармазинным сукном, со перилами позолоченными; вошёл в горницу — нет никого; в другую, в третью — нет никого, в пятую, десятую — нет никого; а убранство везде царское, неслыханное и невиданное: золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая. Дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое того, что хозяина нет; не токмо хозяина, и прислуги нет; а музыка играет не смолкаяючи; и подумал он в те поры про себя: «Всё хорошо, да есть нечего», — и вырос перед ним стол, убраный, разубранный: в посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медвяные. Сел он за стол без сумления: напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые; кушанье такое, что и сказать нельзя, — того и гляди, что язык проглотишь, а он, по лескам и пескам ходючи, крепко проголодался; встал он из-за сто-

ла, а поклониться некому и сказать спасибо за хлеб за соль некому. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет неумолкаючи. Дивуется честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным да любит-ся, а сам думает: «Хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть», — и видит, стоит перед ним кровать резная, из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными; пуховик на ней как гора лежит, пуху мягкого, лебяжьего. Дивится купец такому чуду новому, новому и чудному; ложится он на высокую кровать, задёргивает полог серебряный и видит, что он тонок и мягок, будто шёлковый. Стало в палате темно, ровно в сумерки, и музыка играет будто издали, и подумал он: «Ах, кабы мне дочерей хоть во сне увидеть», — и заснул тое ж минуточку.

Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может: всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих, и видел он дочерей своих старших: старшую и среднюю, что они веселым-веселёхоньки, а печальна одна дочь меньшая, любимая; что у старшей и средней дочери есть женихи богатые и что собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского; меньшая же дочь любимая, красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится её родимый батюшка; и стало у него на душе и радостно и не радостно. Встал он со кровати высокия, платье ему всё приготовлено, и фонтан воды бьёт в чашу хрустальную; он одевается, умывается и уж новому чуду не дивуется: чай и кофей на столе стоят, и при них закуска сахарная. Помолившись богу, он накушался, и стал он опять по палатам ходить, чтоб опять на них полюбоваться при свете солнышка красного. Всё показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна растворённые, что кругом дворца разведены сады

диковинные, плодовые, и цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться.

Сходит он по другой лестнице из мрамора зелёного, из малахита медного, с перилами позолоченными, сходит прямо в зеленые сады. Гуляет он и любит; на деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся, индо, глядя на них, слюнки текут; цветы цветут распрекрасные, мохровые, пахучие, всякими красками расписанные; птицы летают невиданные: словно по бархату зелёному и пунцовому золотом и серебром выложенные, песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, индо глядеть на их вышину — голова запрокидывается; и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным. Ходит честной купец, дивуется; на все такие диковинки глаза у него разбежались, и не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так, много ли, мало ли времени — неведомо: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он на пригорочке зелёным цветёт цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается, подходит он ко тому цветку, запах от цветка по всему саду, ровно струя, бежит; затряслись и руки и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным: «Вот аленькой цветочик, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая». И, проговорив таковы слова, он подошёл и сорвал аленькой цветочик. В то же минуту, безо всяких туч, блеснула молонья и ударил гром, индо земля зашаталась под ногами, — и вырос, как будто из земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так какое-то чудовище, страшное и мохнатое, и заревел он голосом дикий: «Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моём саду мой заповедной, любимой цветок? Я хоронил его паче зеницы ока моего и всякой день утешался, на него гляючи, а ты лишил меня всей утехы в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, я принял тебя, как доро-

гого гостя и званого, накормил, напоил и спать уложил, а ты эдак-то заплатил за моё добро? Знай же свою участь горькую: умереть тебе за свою вину смертью безвременною...» И несчётное число голосов диких со всех сторон завопило: «Умереть тебе смертью безвременною!» У честного купца от страха зуб на зуб не приходил; он оглянувшись кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из воды, из земли лезет к нему сила нечистая и несметная, все страшилища безобразные. Он упал на колени перед наибольшим хозяином, чудищем мохнатым, и возговорил голосом жалобным: «Ох ты гой еси, господин честной, зверь лесной, чудо морское! как взвеличать тебя — не знаю, не ведаю. Не погуби ты души моей христианския за мою продерзость безвинную, не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери, три дочери красавицы, хорошие и пригожие; обещал я им по гостинцу привезть: старшей дочери — самоцветный венец, средней дочери — тувалет хрустальный; а меньшей дочери — аленькой цветочик, какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшей дочери гостинца отыскать не мог; увидел я такой гостинец у тебя в саду, аленькой цветочик, какого краше нет на белом свете, и подумал я, что такому хозяину богатому-богатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне, неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родимым и подари мне цветочик аленькой, для гостинца моей меньшей, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь». Раздался по лесу хохот, словно гром загремел, и возговорит купцу зверь лесной, чудо морское: «Не надо мне твоей золотой казны: мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасенье.

Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчётною, подарю цветочик аленькой, коли дашь ты мне слово честное купецкое и запись своей руки, что пришлѣшь за-место себя одну из дочерей своих, хороших, пригожих; я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моём. Стало скучно мне жить одному, и хочу я залучить себе товарища». Так и пал купец на сыру землю, горючими слезами обливается; а и взглянет он на зверя лесного, на чудо морское, а и вспомнит он своих дочерей, хороших, пригожих, а и пуще того завопит источным голосом: больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивается и слезами обливается, и возговорит он голосом жалобным: «Господин честной, зверь лесной, чудо морское! А и как мне быть, коли дочери мои, хорошие и пригожие, по своей воле не похочут ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги да насильно прислать? Да и каким путём до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно два года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю». Возговорит купцу зверь лесной, чудо морское: «Не хочу я невольницы: пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением; а коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне — не твоя беда; дам я тебе перстень с руки моей: кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, во единое ока мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть три дня и три ночи». Думал, думал купец думу крепкую и придумал так: «Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им своё родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не похочут, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чуду морскому». Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было на мыслях. Зверь лесной, чудо морское, и без того их знал; видя его

правду, он и записи с него заручной не взял, а снял с своей руки золотой перстень и подал его честному купцу. И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора; в ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верною, и привезли они казны и товаров втрое противу прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери из-за пялец своих, а вышивали они серебром и золотом ширинки шёлковые; почали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть, и две старшие сестры лебезят пуще меньшей сестры. Видят они, что отец как-то не радощен и что есть у него на сердце печаль потаённая. Стали старшие дочери его допрашивать: не потерял ли он своего богатства великого; меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю: «Мне богатства твои ненадобны; богатство дело наживное, а открой ты мне своё горе сердешное». И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошиим и пригожиим: «Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое-вчетверо; а есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрашний день, а сегодня будем веселиться». Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные; доставал он старшей дочери золотой венец, золота аравийского, на огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными; достаёт гостинец средней дочери, тувалет хрусталу восточного; достаёт гостинец меньшей дочери, золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулись, унесли свои гостинцы в терема высокие и там на просторе ими досыта потешались. Только дочь меньшая любимая, увидав цветочик аленькой, затряслась вся и заплакала, точно в сердце её что ужалило. Как возговорит к ней отец таковы речи: «Что же, дочь моя милая, любимая, не берёшь ты своего цветка желанного; краше его нет на белом свете?» Взяла дочь меньшая цветочик аленькой ровно нехотя, целует руки от-

цовы, а сама плачет горячими слезами. Скоро прибежали дочери старшие, попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за питания медвяные; стали есть, пить, прохлаждатися, ласковыми речами утешатися. Ввечеру гости понаехали, и стал дом у купца полнёхонек дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. До полуночи беседа продолжалася, и таков был вечерний пир, какого честной купец у себя в дому не видывал, и откуда что бралось, не мог догадаться он, да и все тому дивовались: и посуды золотой-серебряной и кушаньев диковинных, каких никогда в дому не видывали. Заутра позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей всё, что с ним приключилось, всё от слова до слова, и спросил: хочет ли она избавить его от смерти лютыя и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому? Старшая дочь наотрез отказалася и говорит: «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленькой цветочик». Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю, рассказал ей всё, что с ним приключилось, всё от слова до слова, и спросил: хочет ли она избавить его от смерти лютыя и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому? Средняя дочь наотрез отказалася и говорит: «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленькой цветочик». Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей всё рассказывать, всё от слова до слова, и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая и сказала: «Благослови меня, государь мой батюшка родимый: я поеду к зверю лесному, чуду морскому и стану жить у него. Для меня достал ты аленькой цветочик, и мне надо выручить тебя». Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь любимую и говорит ей таковые слова: «Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая! Да будет над тобою моё благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смер-

ти лютыя и по доброй воле своей и хотению идёшь на житьё противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и приволье великиим; да где тот дворец — никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыскучему, ни птице перелётной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе об нас и подавно. И как мне доживать мой горькой век, лица твоего не видючи, ласковых речей твоих не слыхаючи; расстаюсь я с тобою на веки вечные, ровно тебя живую в землю хороно». И возговорит отцу дочь меньшая, любимая: «Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый; житьё моё будет богатое, привольное: зверя лесного, чуда морского я не испугаюсь, буду служить ему верой и правдою, исполнять его волю господскую, а может, он надо мною и сжалятся. Не оплакивай ты меня живую, словно мёртвую: может, бог даст, я и вернусь к тебе». Плачет, рыдает честной купец, таковыми речами не утешается. Прибегают сёстры старшие, большая и середняя, подняли плач по всему дому: вишь, больно им жаль меньшей сестры любимыя; а меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается. И берёт с собою цветочик аленькой во кувшине позолоченном. Прошёл третий день и третья ночь, пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшею, любимую; он целует, милует её, горючими слезами обливает и кладёт на неё крёстное благословение своё родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского из ларца кованого, надевает перстень на правый мизинец меньшей любимой дочери — и не стало её в тое же минуточку, со всеми её пожитками.

Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, во палатах высокиих, каменных, на кровати из резного золота, со ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом золотой камкой; ровно она и с места не

сходила, ровно она целый век тут жила, ровно легла почивать, да проснулася. Заиграла музыка согласная, какой сродясь она не слыхивала. Встала она со постели пуховая и видит, что все её пожитки и цветочик аленькой в кувшинчике позолоченном тут же стоят, раскладены и расставлены на столах зелёных малахита медного, и что в той палате много добра и скарба всякого, есть на чём посидеть-полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И была одна стена вся зеркальная, а другая стена золочёная, а третья стена вся серебряная, а четвёртая стена из кости слоновая и мамонтовая, самоцветными яхонтами вся разубранная, и подумала она: «Должно быть, это моя опочивальня». Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие, и ходила она немало времени, на все диковинки любующись; одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь её батюшка родимый; взяла она из кувшина золочёного любимый цветочик аленькой, сошла она в зелёные сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонились; выше забили фонтаны воды и громче зашумели ключи родниковые; и нашла она то место высокое, пригорок муравчатый, на котором сорвал честной купец цветочик аленькой, краше которого нет на белом свете. И вынула она тот аленькой цветочик из кувшина золочёного и хотела посадить на место прежнее; но сам он вылетел из рук её и прирос к стеблю прежнему и расцвёл краше прежнего. Подивилась она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному и пошла назад в палаты свои дворцовые; и в одной из них стоит стол накрыт, и только она подумала: «Видно, зверь лесной, чудо морское на меня не гневается, и будет он ко мне господин милостивый», — как на белой мраморной стене появились слова огненные: «Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и всё,

что тебе пожелается, всё, что тебе на ум придёт, исполнять я буду с охотою». Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И вспало ей на мысли написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, как видит она: перед нею бумага лежит, золотое перо со чернилицей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным: «Не плачьте обо мне, не горюйте, я живу во дворце у зверя лесного, чуда морского, как королевишна; самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной словесами огненными, и знает он всё, что у меня на мысли, и то же минутою всё исполняет, и не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожою своей». Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук и из глаз её, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего, на столе явились яства сахарные, питья медвяные, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселёхонька, хотя сроду не обедала одна-одинёшенька; ела она, пила, прохлаждалася, музыкою забавлялася. После обеда, накушамшись, она опочивать легла; заиграла музыка потише и подальше, по той причине, чтоб ей спать не мешать. После сна встала она веселёшенька и пошла опять гулять по садам зелёным, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диговинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонились, а спелые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли. Походив время немалое, почитай вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие, и видит она: стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные и питья медвяные, и все отменные. После ужина вошла она в ту палату беломраморну, где читала она на стене словеса огненные, и видит она на той же стене опять такие же словеса огненные: «Довольна ли госпожа моя своими садами

и палатами, угощением и прислугою?» И возговорила голо-
сом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная:
«Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой
добрый господин, ласковый и милостивый. Я из воли твоей
никогда не выступлю. Благодарствую тебе за всё твоё уго-
щение. Лучше твоих палат высоких и твоих зелёных са-
дов не найти на белом свете: то и как же мне довольною
не быть? Я сродясь таких чудес не видывала. Я от такого
дива ещё в себя не приду, только боюсь и почивать одна;
во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой».
Появились на стене слова огненные: «Не бойся, моя го-
спожа прекрасная: не будешь ты почивать одна, дожидает-
ся тебя твоя девушка сенная, верная и любимая; и много
в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и
не слышишь, и все они вместе со мною берегут тебя и
день и ночь: не дадим мы на тебя ветру венути, не дадим
и пылинке сесть». И пошла почивать в опочивальню свою
молодая дочь купецкая, красавица писаная, и видит: стоит
у кровати её девушка сенная, верная и любимая, и сто-
ит она чуть от страха жива, и обрадовалась она госпоже
своей, и целует ей руки белые, обнимает её ноги резвые.
Госпожа была ей также радостна, принялась её расспраши-
вать про батюшку родимого, про сестриц своих старших
и про всю свою прислугу девичью, опосля того принялась
сама рассказывать, что с нею в это время приключилось;
так и не спали они до белой зари.

Так и стала жить и поживать молодая дочь купецкая,
красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые
богатые и убранства такие, что цены им нет, ни в сказ-
ке сказать, ни пером написать; всякой день угощения и
веселья новые, отменные; катанье, гулянье с музыкою на
колесницах без коней и упряжи, по тёмным лесам; а те
леса перед ней расступались и дорогу давали ей широкую,
широкую и гладкую, и стала она рукодельями заниматься,
рукодельями девичьими, вышивать ширинки серебром и зо-

лотом и низать бахромы частым жемчугом, стала посылать подарки батюшке родимому, а и самую богатую ширинку подарила своему хозяину ласковому, а и тому лесному зверю, чуду морскому; а и стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы и приветы словесами огненными.

Мало ли, много ли тому времени прошло: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, — стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купецкая, красавица писаная, ничему она уж не дивуется, ничего не пугается, служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в музыку играют и все её повеления исполняют; и возлюбляла она своего господина милостивого, день ото дня, и видела она, что недаром он зовёт её госпржой своей и что любит он её пуще самого себя; и захотелось ей его голоса послушать, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая словесов огненных. Стала она его о том молить и просить; да зверь лесной, чудо морское не скоро на её просьбу соглашается, испугать её своим голосом опасается; упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть, и написал он ей в последний раз на стене беломраморной словесами огненными: «Приходи сегодня во зелёный сад, сядь во свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетённую, и скажи так: «Говори со мной, мой верный раб». И мало спустя времечка побежала молода дочь купецкая, красавица писаная, во сады зелёные, входила во беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетённую, и садилась на скамью парчовую, и говорит она задыхаючись, бьётся сердечко у ней, как у пташки пойманной, говорит таковые слова: «Не бойся ты, господин мой, добрый, ласковый, испугать меня своим голосом: опосля всех твоих милостей, не убоюсь я и рёва звериного; говори со мной, не опа-

саючись». И услышала она, ровно кто вздохнул, за беседкою, и раздался голос страшный, дикой и зычный, хриплый и сиплый, да и то говорил он ещё вполголоса; вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услышала голос зверя лесного, чуда морского, только со страхом своим совладала и виду, что испужалася, не показала, и скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные стала слушать она и заслушалась, и стало у ней на сердце радостно.

С той поры, с того времечка пошли у них разговоры, почитай целый день, во зелёном саду на гуляньях, во тёмных лесах на катаньях и во всех палатах высокиих. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писаная: «Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин?» Отвечает лесной зверь, чудо морское: «Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг». И не пугается она его голоса дикого и страшного, и пойдут у них речи ласковые, что конца им нет.

Прошло мало ли, много ли времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, — захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского, и стала она его о том просить и молить; долго он на то не соглашается, испугать её опасается, да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать; не токмо люди, звери дикие его всегда устрашались и в свои берлоги разбегались. И говорит зверь лесной, чудо морское такие слова: «Не проси, не моли ты меня, госпожа моя прекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе своё лицо противное, своё тело безобразное. К голосу моему попривыкла ты; мы живём с тобой в дружбе, согласии, друг со другом, почитай, не разлучаемся, и любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную, а увидя меня страшного и противного, возненавидишь ты меня несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой

я умру с тоски». Не слушала таких речей молода купецка дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, клясться, божиться и ротиться, что никакого на свете страшилища не испугается и что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит ему таковые слова: «Если ты стар человек — будь мне дедушка, если середович — будь мне дядюшка, если же молод ты — будь мне названой брат, и поколь я жива — будь мне сердечный друг». Долго, долго лесной зверь, чудо морское не поддавался на такие слова, да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть и говорит ей таково слово: «Не могу я тебе супротивным быть, по той причине, что люблю тебя пуще самого себя, исполню я твоё желание, хоша знаю, что погублю моё счастье и умру смертью безвременной. Приходи во зелёный сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: «Покажись мне, верный друг!» — и покажу я тебе своё лицо противное, своё тело безобразное. А коли станет не возмогу тебе больше у меня оставатися, не хочу я твоей неволи и муки вечныя: ты найдёшь в опочивальне своей, у себя под подушкою, мой золот перстень. Надень его на правый мизинец, и очутишься ты у батюшки родимого и ничего обо мне не услышишь». Не убоялась, не утрашилася, крепко на себя понадеялась молода дочь купецкая, красавица писаная. В те поры, не мешкая ни минуточки, пошла она во зелёный сад дожидатися часу урочного, и когда пришли сумерки серые, опустилося за лес солнышко красное, проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг!» И показался ей издали зверь лесной, чудо морское: он прошёл только поперёк дороги и пропал в частых кустах, и не взвидела света молода дочь купецкая, красавица писаная, всплеснула руками белыми, закричала источным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти звериныя, ноги лошадиныя, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый от вер-

ху до низу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные. Полежамши долго ли, мало ли времени, опамятовалась молода дочь купецкая, красавица писаная, и слышит: плачет кто-то возле неё, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным: «Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица распрекрасного, не захочешь ты меня даже слышати, и пришло мне умереть смертью безвременною». И стало ей жалко и совестно, и совладела она с своим страхом великим и с своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твёрдым: «Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей; покажись мне теперь же в своём виде давишнем; я только впервые испугалась». Показался ей лесной зверь, чудо морское в своём виде страшным, противным, безобразным, только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его; гуляли они до ночи тёмная и вели беседы прежние, ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха молода дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское при свете солнышка красного, и хоша сначала, разглядев его, испугалась, а виду не показала, и скоро страх её совсем прошёл. Тут пошли у них беседы пуще прежнего: день-деньской, почитай, не разлучались, за обедом и ужином яствами сахарными насыщались, питьями медвяными прохлаждались, гуляли по зелёным садам, без коней катались по тёмным лесам.

И прошло тому не мало времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот одна и привиделось во сне молодой купецкой дочери, красавице писаной, что батюшка её нездоров лежит; и напала на неё тоска неусыпная, и увидал её в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское и вельми закручинился и стал спрашивать: отчего она во тоске, во слезах? Рассказала она ему свой

недоброй сон и стала просить у него позволения: повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных; и возговорит к ней зверь лесной, чудо морское: «И зачем тебе моё позволение? Золот перстень мой у тебя лежит, надень его на правый мизинец — и очутишься в дому у батюшки родимого. Оставайся, пока не соскучишься, а и только я скажу тебе: ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я тою же минутою, по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу». Стала она заверять словами заветными, и божбами, и клятвами, что ровно за час до трёх дней и трёх ночей воротится во палаты высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золотой перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идёт она на высокое крыльцо его палат каменных; набежала к ней прислуга и челядь дворовая, подняли шум и крик; прибежали сестрицы любезные и, увидав её, диву дались красоте её девичьей и её наряду царскому, королевскому; подхватили её под руки белые и повели к батюшке родимому; а батюшка нездоров лежит, нездоров и нерадошен, день и ночь её воспоминаючи, горючими слезами обливаясь; и не вспомнил он от радости, увидавши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, и дивился красоте её девичьей, её наряду царскому, королевскому. Долго они целовались, миловались, ласковыми речами утешались. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сёстрам старшим, любезным про своё житьё-бытьё у зверя лесного, чуда морского, всё от слова до слова, никакой крохи не скрываючи, и возвеселился честной купец её жизнью богатому, царскому, королевскому, и дивился, как она привыкла смотреть на своего хозяина страшного и не боится зверя лесного, чуда морского; сам он, об нём воспоминаючи, дрожкой дрожал. Сёстрам же старшим, слушая

про богатства несметные меньшей сестры и про власть её царскую над своим господином, словно над рабом своим, индо завистно стало. День проходит, как единый час, другой день проходит, как минуточка, а на третий день стали уговаривать меньшую сестру сёстры старшие, чтоб не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому. «Пусть-де околеет, туда и дорога ему...» И прогневалась на сестёр старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им таковы слова: «Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную заплачу его смертью лютою, то не буду я стоять того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание». И отец её, честной купец, похвалил её за такие речи хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась к зверю лесному, чуду морскому дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая; а сёстрам то в досаду было, и задумали они дело хитрое, дело хитрое и недоброе: взяли они, да все часы в доме целым часом назад поставили, и не ведал того честной купец и вся его прислуга верная, челядь дворовая. И когда пришёл настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь подымать её, и смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие, — а всё рано ей пускаться в дальний путь; а сёстры с ней разговаривают, о том о сём расспрашивают, позадерживают; однако сердце её не вытерпело: простилась дочь меньшая, любимая, красавица писаная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословение родительское, простилась с сёстрами старшими, любезными, со прислугою верною, челядью дворовою и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверя лесного, чуда морского, и, дивуючись, что он её не встречает, закричала она громким

голосом: «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного целым часом со минуточкой». Ни ответа, ни привета не было, тишина стояла мёртвая; в зелёных садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купечской дочери, красавицы писаной, почувяла она нешто недоброе, обежала она палаты высокие и сады зелёные, звала зычным голосом своего хозяина доброго — нет нигде ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания; побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался её любимый цветочик аленькой, — и видит она, что лесной зверь, чудо морское лежит на пригорке, обхватив аленькой цветочик своими лапами безобразными. И помстилось ей, что заснул он, её дожидаясь, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купецкая, красавица писаная: он не слышит; принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую — и видит, что зверь лесной, чудо морское бездыханен, мёртв лежит... Помутились её очи ясные, подкосились ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила источным голосом: «Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного...» И только таковы словеса она вымолвила, как заблестели молоньи со всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила грома стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молода дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти — не ведаю; только, очнувшись, видит она себя во палате высокой беломраморной, сидит она на золотом престоле со каменьями драгоценными, и обнимает её принц молодой, красавец писанный, на голове со короною царскою, в одежде златоканной, перед ним стоит отец с сёстрами, а кругом на

коленях стоит свита великая, все одеты в парчах золотых, серебряных; и возговорит к ней молодой принц, красавец писанный, на голове со короною царскою: «Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе; полюби же меня теперь в образе человеческого, будь моей невестою желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня, ещё малолетнего, и сатанинским колдовством своим, силой нечистою, оборотила меня в чудище страшное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таковом виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари божией, пока найдётся красная девица, какого бы роду и звания ни была она, и полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женою законною, и тогда колдовство всё покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим; и жил я таковым страшилищем и пугалом ровно тридцать лет, и залучал я в мой дворец заколдованный одиннадцать девиц красных, а ты была двенадцатая. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную, и будешь ты за то женою короля славного, королевою в царстве могучием».

Тогда все тому подивились, свита до земли преклонилась. Честной купец дал своё благословение дочери меньшей, любимой и молодому принцу-королевичу. И проздравили жениха с невестою сёстры старшие завистные и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные, и нисколько не медля принялись весёлым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сама там была, пиво-мёд пила, по усам текло, да в рот не попало.



ГАРШИН

ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ

(1855—1888)

Лягушка-путешественница

Жила-была на свете лягушка-путешественница. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно — конечно, в том случае, если бы не съел её аист. Но случилось одно происшествие.

Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась тёплым мелким дождиком.

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! — думала она. — Какое это наслаждение — жить на свете!»

Дождик моросил по её пёстренькой лакированной спинке; капли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно, так приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была уже осень и что осенью лягушки не квакают, — на это есть весна, — и что, заквакав, она может уронить своё лягушачье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться.

Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют или, лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью — раздаётся в воздухе, когда летит высоко над вами стая таких уток, а их самих даже и не видно, так они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.

— Кря, кря! — сказала одна из них. — Лететь ещё далеко: надо покушать.

И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть её, большую и толстую квакушку, но всё-таки на всякий случай она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летят утки.

— Кря, кря! — сказала другая утка. — Уже холодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг!

И все утки стали громко крякать в знак одобрения.

— Госпожи утки! — осмелилась сказать лягушка. — Что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство.

И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть её, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями:

— Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные тёплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце всё-таки спросила, потому что была осторожна:

— А много ли там мошек и комаров?

— О! Целые тучи! — ответила утка.

— Ква! — сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать её и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик.

— Возьмите меня с собой!

— Это мне удивительно! — воскликнула утка. — Как мы тебя возмём? У тебя нет крыльев.

— Когда вы летите? — спросила лягушка.

— Скоро, скоро! — закричали все утки. — Кря, кря! Кря! Кря! Тут холодно! На юг! На юг!

— Позвольте мне подумать только пять минут, — сказала лягушка, — я сейчас вернусь, я, наверное, придумаю что-нибудь хорошее.

И она шлёпнулась с сучка, на который было снова влезла, в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. Пять минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды, около сучка, на котором она сидела, показалась её морда, и выражение этой морды было самое сияющее, на какое только способна лягушка.

— Я придумала! Я нашла! — сказала она. — Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крикали, а я не квакала, и всё будет превосходно.

Хотя молчать и тащить хоть бы и лёгкую лягушку три тысячи вёрст не бог знает какое удовольствие, но её ум привёл уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести её. Решили переменяться каждые два часа, и так как уток было, как говорится в загадке, столько, да ещё столько, да полстолько, да четверть столько, а лягушка была одна, то нести её приходилось не особенно часто.

Нашли хороший, прочный прутик, две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и всё стадо поднялось в воздух. У лягушкихватило дух от страшной высоты, на которую её поднимали; кроме того, утки летели неровно и дёргали прутик; бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлёпнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было очень трудно рассматривать, потому что, висая на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что всё-таки ви-

дела, и радовалась, и гордилась. «Вот как я превосходно придумала», — думала она про себя.

А утки летели вслед за нёсшей её передней парой, кричали и хвалили её.

— Удивительно умная голова наша лягушка, — говорили они. — Даже между утками мало таких найдётся.

Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, ещё крепче стиснула челюсти и решила терпеть. Она болталась таким образом целый день: нёсшие её утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик. Это было очень страшно: не раз лягушка чуть было не квакала от страха, но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела. Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте; с зарёю утки с лягушкой снова пустились в путь, но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперёд, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах; оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на неё руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала:

— Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно.

И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса.

— Смотрите, смотрите! — кричали дети в одной деревне. — Утки лягушку несут!

Лягушка услышала это, и у неё прыгало сердце.

— Смотрите, смотрите! — кричали в другой деревне взрослые. — Вот чудо-то!

«Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» — подумала квакушка.

— Смотрите, смотрите! — кричали в третьей деревне. — Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?

Тут лягушка уж не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

— Это я! Я!

И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали; одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где была твёрдая дорога, а гораздо дальше, что было для неё большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во всё горло:

— Это я! Это я придумала!

Но вокруг неё никого не было. Испуганные неожиданным всплеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из неё, то с удивлением смотрели на новую.

И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и наконец изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как у неё были свои собственные утки, которые носили её, куда ей было угодно; как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные тёплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых.

— Я заехала к вам посмотреть, как вы живёте, — сказала она. — Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила.

Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели её.

ПОГОРЕЛЬСКИЙ АНТОНИЙ

(Перовский Алексей Алексеевич)

1787—1836

Чёрная Курица, или Подземные жители

Лет сорок тому назад в С.-Петербурге, на Васильевском острове, в Первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который ещё и до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своею красотою, хотя и далеко ещё не был таким, каков теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было весёлых тенистых аллей: деревянные подмости, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь; да и самая площадь Исаакиевская вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской церкви отделён был канавою; Адмиралтейство не было обсажено деревьями; манеж Конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом — одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с годами становятся красивее... Впрочем, не о том теперь идёт дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века, — теперь же обратимся опять к пансиону, который

лет сорок тому назад находился на Васильевском острове, в Первой линии.

Дом, которого теперь — как уже я вам сказывал — вы не найдёте, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу... Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жильё, состоявшее из восьми или девяти комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дортуары, или спальные комнаты детей, находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а по левую жили две старушки, голландки, из которой каждой было более ста лет и которые собственными глазами видали Петра Великого и даже с ним говаривали...

В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик, по имени Алёша, которому тогда было не более девяти или десяти лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперёд. Алёша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особенно сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучён с родными своими. Но потом мало-помалу он стал привыкать к своему положению, и бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме.

Вообще дни учения для него проходили скоро и приятно; но когда наставала суббота и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алёша горько чувствовал своё одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из

небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и волшебные повести, — и библиотека, которую пользовался наш Алёша, большею частью состояла из книг сего рода.

Итак, Алёша, будучи ещё в десятилетнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере так, как они описаны были в романах. Любимым его занятием в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням, было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие века... Особливо в вакантное время, когда он бывал разлучён надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по тёмным, дремучим лесам.

Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно пространный двор, отделённый от переулка деревянным забором из барочных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были закрыты, и потому Алёше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдыха играть на дворе, первое движение его было — подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алёша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, которыми прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него повертела эти дырочки. Он всё ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку, или талисман, или письмоцо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу.

Другое занятие Алёши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора в нарочно для них выстроенном домике и целый день играли и бегали на дворе. Алёша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил одну чёрную хохлатую, названную Чернушкой. Чернушка была к нему ласковее других; она даже иногда позволяла себя гладить, и потому Алёша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого; редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алёшу более, нежели подруг своих.

Однажды (это было во время зимних вакаций — день был прекрасный и необыкновенно тёплый, не более трёх или четырёх градусов мороза) Алёше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ, и ещё накануне, с утра до позднего вечера, везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола: белую архангельскую телятину, огромный окорок и киевское варенье. Алёша тоже по мере сил способствовал приготовлениям: его заставили из белой бумаги вырезать красивую сетку на окорок и украшать бумажною резьбою нарочно купленные шесть восковых свечей. В назначенный день рано поутру явился парикмахер и показал своё искусство над буклями, тупеем и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напмадил и напудрил у ней локоны и шиньон и взгромоздил на её голове целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещённые два бриллиантовые перстня, когда-то подаренные её мужу родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый, изношенный салоп и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая

притом строго, чтоб как-нибудь не испортилась причёска; и для того сама она не входила в кухню, а давала приказания своей кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого причёска не так была высока.

В продолжение всех этих забот Алёшу нашего совсем забыли, и он тем воспользовался, чтоб на просторе играть на дворе. По обыкновению своему, он подошёл сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку; но и в этот день никто почти не проходил по переулку, и он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алёше никогда не нравилась эта кухарка — сердитая и бранчливая. Но с тех пор, как он заметил, что она-то и была причиною, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он ещё менее стал её любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев её теперь с ножом, он тотчас догадался, что́ это значит, и, чувствуя с горестию, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.

— Алёша, Алёша, помоги мне поймать курицу! — кричала кухарка.

Но Алёша принялся бежать ещё пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слёзки одна за другою выкатывались из его глаз и упали на землю.

Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нём сильно билось, между тем как кухарка бегала по двору — то манила курочек: «Цып, цып, цып!», то бранила их.

Вдруг сердце у Алёши ещё сильнее забилося: ему послышался голос любимой его Чернушки! Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:

Куда́х, куда́х, куду́ху!
Алёша, спаси Чурнуху!
Куду́ху, куду́ху,
Чернуху, Чернуху!

Алёша никак не мог более оставаться на своём месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже Чернушку за крыло.

— Любезная, милая Тринушка! — вскричал он, обливаясь слезами. — Пожалуйста, не тронь мою Чернуху!

Алёша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из рук Чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать.

Но Алёше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:

Куда́х, куда́х, куду́ху!
Не поймала ты Чернуху!
Куду́ху, куду́ху,
Чернуху, Чернуху!

Между тем кухарка вне себя была от досады и хотела бежать к учителю, но Алёша не допустил её. Он прицепился к полам её платья и так умильно стал просить, что она остановилась.

— Душенька, Тринушка! — говорил он. — Ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая... Пожалуйста, оставь мою Чернушку! Вот посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра.

Алёша вынул из кармана империал, составлявший всё его имение, который берёг он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки... Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтоб удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку

за империалом. Алёше очень, очень жаль было империала, но он вспомнил о Чернушке и с твёрдостью отдал драгоценный подарок.

Таким образом Чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти. Лишь только кухарка удалилась в дом, Чернушка слетела с кровли и подбежала к Алёше. Она как будто знала, что он её избавитель: кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала весёлым голосом. Всё утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто хочет что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать её кудахтанья.

Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алёшу позвали наверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шёлковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две ровные части и переложили наперёд по обе стороны груди.

Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдёт в комнату директор, — и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы.

В другое время Алёша был бы очень рад приезду директора, которого давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нём учитель и учительша, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на этот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно тогда его занимавшей: о чёрной курице. Ему всё представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как Чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему сказать хотела, и его так и тянуло к курятнику... Но делать было нечего: надлежало дожидаться, пока кончится обед!

Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали.

Всё пришло в движение: учитель стремглав бросился из дверей, чтоб встретить его внизу, у крыльца; гости встали с мест своих, и даже Алёша на минуту забыл о своей курочке и подошёл к окну, чтоб посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозничьи сани. Алёша очень этому удивился! «Если бы я был рыцарь, — подумал он, — то никогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом!»

Между тем отворили настежь все двери, и учительша начала приседать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстою учительшею, стоявшею в самых дверях; но, когда она, окончив длинное приветствие своё, присела ниже обыкновенного, Алёша, к крайнему удивлению, из-за неё увидел... не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алёша, был маленький пучок! Когда вошёл он в гостиную, Алёша ещё более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фрак, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно.

Сколь, однако ж, ни казалось всё это странным Алёше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке всё бродило утреннее происшествие с Чернушкою. Подали десерт: разного рода варенья, яблоки, бергамоты, финики, винные ягоды и грецкие орехи; но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и

надежды сердцем подошёл к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе.

— Подите, — отвечал учитель, — только не долго там будьте: уж скоро сделается темно.

Алёша поспешно надел свою красную бекешу на беличем меху и зелёную бархатную шапочку с собольим околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег и, сонные, не очень обрадовались принесённым крошкам. Одна Чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну: она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алёша долго с ней играл; наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперёд, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звёздочки, и что она тихонько ему говорит:

— Алёша, Алёша! Остайся со мною!

Алёша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем как на другой половине часу до одиннадцатого пробыли гости. Прежде, нежели они разъехались, Алёша пошёл в нижний этаж, в спальню, разделся, лёг в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с Чернушкой, как, к сожалению, пробуждён был шумом разъезжающихся гостей.

Немного погодя учитель, провожавший директора со свечою, вошёл к нему в комнату, посмотрел, всё ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом.

Ночь была месячная, и сквозь ставни, неплотно затворившиеся, упал в комнату бледный луч луны. Алёша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье, над его головою, ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы.

Наконец всё утихло... Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещённую месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться... ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается, — и немного погодя показалось, что кто-то тихим голосом зовёт его:

— Алёша, Алёша!

Алёша испугался... Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нём дрожало.

Он немного приподнялся в постели и ещё яснее увидел, что простыня шевелится... ещё внятнее услышал, что кто-то говорит:

— Алёша, Алёша!

Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под неё вышла... чёрная курица!

— Ах! это ты, Чернушка! — невольно вскричал Алёша. — Как ты зашла сюда?

Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом:

— Это я, Алёша! Ты не боишься меня, не правда ли?

— Зачем я тебя буду бояться? — отвечал он. — Я тебя люблю; только для меня странно, что ты так хорошо говоришь: я совсем не знал, что ты говорить умеешь!

— Если ты меня не боишься, — продолжала курица, — так поди за мною. Одевайся скорее!

— Какая ты, Чернушка, смешная! — сказал Алёша. — Как мне можно одеться в темноте? Я платья своего теперь не сыщу, я и тебя насилу вижу!

— Постараюсь этому помочь, — сказала курочка. Тут она закудахтала странным голосом, и вдруг откуда ни взялись маленькие свечки в серебряных шандалах, не больше как с Алёшин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу,

на стульях, на окнах, даже на рукомойнике, и в комнате сделалось так светло, так светло, как будто днём. Алёша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет.

Когда Алёша был готов, Чернушка опять закудаhtала, и все свечки исчезли.

— Иди за мною! — сказала она ему.

И он смело последовал за нею. Из глаз её выходили как будто лучи, которые освещали всё вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю.

— Дверь заперта ключом, — сказал Алёша.

Но курочка ему не отвечала: она хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась. Потом, пройдя через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки голландки. Алёша никогда у них не бывал, но слышал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось всё это видеть, потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями и дверь в покои старушек отворилась.

Алёша в первой комнате увидел всякого рода старинную мебель: резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых нарисованы были синей муравой люди и звери. Алёша хотел было остановиться, чтоб рассмотреть мебель, а особенно фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила.

Они вошли во вторую комнату, и тут-то Алёша обрадовался! В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алёша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять его не допустила.

— Не трогай здесь ничего, — сказала она. — Берегись разбудить старушек!

Тут только Алёша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые

он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами: она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле неё сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо неё, Алёша не мог утерпеть, чтоб не попросить у ней лапки... Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать: «Дуррак! дуррак!» В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалилась, Алёша побежал за нею, дверь вслед за ними сильно захлопнулась... И ещё долго слышно было, как попугай кричал: «Дуррак! дуррак!»

— Как тебе не стыдно! — сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек. — Ты, верно, разбудил рыцарей...

— Каких рыцарей? — спросил Алёша.

— Ты увидишь, — отвечала курочка. — Не бойся, однако ж, ничего, иди за мною смело.

Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алёша никогда не видывал. Иногда коридоры эти так были низки и узки, что Алёша принуждён был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещённую тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах, с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках.

Чернушка шла вперёд на цыпочках и Алёше велела следовать за собой тихонько-тихонько.

В конце залы была большая дверь из светлой жёлтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на чёрную курицу. Чернушка подняла хохол, распустила крылья... вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться! Рыцари сильно на неё насту-

пали, а она защищалась крыльями и носом. Алёше сделалось страшно, сердце в нём сильно затрепетало, и он упал в обморок.

Когда пришёл он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постели. Не видно было ни Чернушки, ни рыцарей, Алёша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью: во сне ли всё то видел или в самом деле это происходило? Он оделся и пошёл наверх, но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор, но весь тот день, как нарочно, шёл сильный снег, и нельзя было и подумать, чтоб выйти из дому.

За обедом учительша между прочими разговорами объявила мужу, что чёрная курица непонятно куда спряталась.

— Впрочем, — прибавила она, — беда невелика, если бы она и пропала: она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка.

Алёша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтоб её нигде не находили, нежели чтоб попала она на кухню.

После обеда Алёша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться в потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен её увидеть в следующую ночь, несмотря на то что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль.

Настало время ложиться спать, и Алёша с нетерпением разделся и лёг в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещённую тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня — точно так, как накануне... Опять слышался ему голос, его зовущий: «Алёша,

Алёша!» — и немного погодя вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.

— Ах! здравствуй, Чернушка! — вскричал он вне себя от радости. — Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?

— Здорова, — отвечала курочка, — но чуть было не за-немогла по твоей милости.

— Как это, Чернушка? — спросил Алёша, испугавшись.

— Ты добрый мальчик, — продолжала курочка, — но притом ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо! Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек, — несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтоб не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей — и я насилу с ними сладила!

— Виноват, любезная Чернушка, впредь не буду! Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен.

— Хорошо, — сказала курочка, — увидим!

Курочка закудаhtала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алёша опять оделся и пошёл за курицею. Опять вошли они в покои старушек, но в этот раз он уж ни до чего не дотрагивался.

Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки голландки, так же как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алёшу и хлопал глазами, серая кошка опять умывалась лапками. На убранном столе перед зеркалом Алёша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою; но он помнил приказание Чернушки и прошёл, не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтоб ми-

моходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, всё кивая головою. Чуть-чуть он не остановился — такими они показались ему забавными, но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей и, видя, что Алёша на них не смотрит, возвратились на свои места.

Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещённую тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять, когда приблизились они к двери из жёлтой меди, два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне; они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья.

Чернушка сделалась большая и нахохлилась. Но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алёша увидел, что то были пустые латы! Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее.

Немного погодя вошли они в другую залу, просторную, но невысокую, так что Алёша мог достать рукою до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые.

Тут Чернушка оставила Алёшу.

— Побудь здесь немного, — сказала она ему, — я скоро приду назад. Сегодня был ты умён, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куклам. Если б ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы. — После сего Чернушка вышла из залы.

Оставшись один, Алёша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из мрамора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зелёным

балдахин, на возвышенном месте, стояли кресла из золота. Алёша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что всё было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол.

Между тем как он с любопытством всё рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им не замеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с пол-аршина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен: иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы наподобие испанских. Они не замечали Алёши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили, но он не мог понять, что они говорили.

Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы... Все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы.

В одно мгновение комната сделалась ещё светлее, все маленькие свечки ещё ярче загорели, и Алёша увидел двадцать маленьких рыцарей в золотых латах, с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя вошёл в залу человек с величественной осанкой, на голове с венцом, блестящими драгоценными камнями. На нём была светло-зелёная мантия, подбитая мышьям мехом, с длинным шлейфом, который несли двадцать маленьких пажей в пунцовых платьях.

Алёша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который, подойдя к Алёше, объявил ему, чтоб он приблизился к креслам. Алёша повиновался.

— Мне давно было известно, — сказал король, — что ты добрый мальчик; но третьего дня ты оказал великую

услугу моему народу и за то заслуживаешь награду. Мой главный министр донёс мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти.

— Когда? — спросил Алёша с удивлением.

— Третьего дня на дворе, — отвечал король. — Вот тот, который обязан тебе жизнью.

Алёша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в чёрное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного набок, а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алёшу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал.

Сколь для Алёши ни было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:

— Господин король! Я не могу принять на свой счёт того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а чёрную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца...

— Что ты говоришь! — прервал его с гневом король. — Мой министр — не курица, а заслуженный чиновник!

Тут подошёл министр ближе, и Алёша увидел, что в самом деле это была его любезная Чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.

— Скажи мне, чего ты желаешь? — продолжал король. — Если я в силах, то непременно исполню твоё требование.

— Говори смело, Алёша! — шепнул ему на ухо министр.

Алёша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал

бы что-нибудь хорошенькое; но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил ответом.

— Я бы желал, — сказал он, — чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне ни задали.

— Не думал я, что ты такой ленивец, — отвечал король, покачив головою. — Но делать нечего, я должен исполнить своё обещание.

Он махнул рукою, и паж поднёс золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.

— Возьми это семечко, — сказал король. — Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей.

Алёша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алёшу как можно лучше.

Лишь только король удалился, как окружили Алёшу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги: одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец; другие приглашали его на охоту. Алёша не знал, на что решиться. Наконец, министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю.

Сначала повёл он его в сад. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алёше.

— Камни эти, — сказал министр, — у вас называются драгоценными. Это всё брильянты, яхонты, изумруды и аметисты.

— Ах, когда бы у нас этими камнями усыпаны были дорожки! — вскричал Алёша.

— Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь, — отвечал министр.

Деревья также показались Алёше отменно красивыми, хотя притом очень странными. Они были разного цвета: красные, зелёные, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королём за большие деньги из дальних стран и из самой глубины земного шара.

Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова.

Возвратившись в комнаты после прогулки, Алёша в большой зале нашёл накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных брильянтов, яхонтов и изумрудов.

— Кушай что угодно, — сказал министр, — с собою же брать ничего не позволяется.

Алёша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.

— Вы обещались взять меня с собою на охоту, — сказал он.

— Очень хорошо, — отвечал министр. — Я думаю, что лошади уже осёдланы.

Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых набалдашники были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большою ловкостью вскочил на свою лошадь. Алёше подвели палку, гораздо более других.

— Берегись, — сказал министр, — чтоб лошадь тебя не сбросила: она не из самых смиренных.

Алёша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был небесполезен. Палка начала под ним увёртываться, как настоящая лошадь, и он насилу мог усидеть.

Между тем затрубили в рога, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алёша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою...

Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алёша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. Восемь крыс легли на месте, три обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненную, министр велел вылечить и отвести в зверинец.

По окончании охоты Алёша так устал, что глазки его невольно закрывались... при всём том ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкою, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился.

Большою рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесённые им стулья.

— Скажи, пожалуйста, — начал Алёша, — зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?

— Если б мы их не истребляли, — сказал министр, — то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мыши и крысы меха у нас в высокой цене по причине их лёгкости и мягкости. Одним знатным особам дозволено их у нас употреблять.

— Да расскажи мне, пожалуйста, кто вы таковы? — продолжал Алёша.

— Неужели ты никогда не слыхал, что под землёю живёт народ наш? — отвечал министр. — Правда, не многим удаётся нас видеть, однако бывали примеры, особенно в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить местопребывание наше и идти далеко-далеко, в другие страны. Ты легко себе можешь представить, что королю нашему невесело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И потому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее. В противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особенно меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда; но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край...

— Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем об вас говорить, — прервал его Алёша. — Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землёю. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец, как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого.

— Быть может, что это правда, — отвечал министр.

— Но, — сказал ему Алёша, — объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы и какую связь имеете вы со старушками голландками?

Чернушка, желая удовлетворить его любопытство, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале её рассказа глаза Алёшины закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели.

Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать. Чернушка и министр, король и рыцари, голландки и крысы — всё это смешалось в его голове, и он насилу мысленно привёл в порядок всё, виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король ему подарил конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашёл в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко. «Увидим, — подумал он, — сдержит ли слово своё король! Завтра начнутся классы, а я ещё не успел выучить всех своих уроков».

Исторический урок особенно его беспокоил: ему задано было выучить наизусть несколько страниц из всемирной истории, а он не знал ещё ни одного слова!

Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались уроки. От десяти часов до двенадцати преподавал историю сам содержатель пансиона.

У Алёши сильно билось сердце... Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным семечком... Наконец его вызвали. С трепетом подошёл он к учителю, открыл рот, сам ещё не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил; однако Алёша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда.

В продолжение нескольких недель учителя не могли нахвалиться Алёшею. Все уроки без исключения знал он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайным его успехам. Алёша внутренне стыдился этих похвал: ему совестно было, что ставили его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал.

В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на то что Алёша, особливо в первые недели после получения конопляного зёрнышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы её не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслию, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал.

Между тем слух о необыкновенных его способностях разнёсся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алёшею. Учитель носил его на руках, ибо чрез него пансион вошёл в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтоб он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут учёные, как Алёша.

Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учительшею начали помышлять о том, чтоб нанять дом гораздо просторнее того, в котором они жили.

Алёша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать, и наконец самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснея, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил себе, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алёшин от этого совсем испортился: из доброго милого и скромного мальчика он

сделался гордым и непослушным. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил: «Алёша, не гордись! Не приписывай самому себе того, что не тебе принадлежит; благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей учёности, будешь самое несчастное дитя!»

Иногда он и принимал намерение исправиться; но, к несчастью, самолюбие так в нём было сильно, что заглушало голос совести, и он день ото дня становился хуже и день ото дня товарищи менее его любили.

Притом Алёша сделался страшным шалуном. Не имея нужды твердить уроки, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность ещё больше портила его нрав.

Наконец он так надоел всем дурным своим нравом, что учитель серьёзно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика и для того задавал ему уроки вдвое и втрое большие, нежели другим; но и это нисколько не помогало. Алёша вовсе не учился, а всё-таки знал урок с начала до конца, без малейшей ошибки.

Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц двадцать к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смиреннее.

Куда! Наш Алёша и не думал об уроке! В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алёша внутренне смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное семечко поможет ему непременно.

На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алёше, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети

с любопытством обратили на Алёшу внимание, и сам учитель не знал, что подумать, когда Алёша, несмотря на то что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошёл к нему. Алёша нимало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность; он раскрыл рот... И не мог выговорить ни слова!

— Что ж вы молчите? — сказал ему учитель. — Говорите урок.

Алёша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, слёзы у него от страха навернулись на глазах... всё тщетно! Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.

— Что это значит, Алёша? — закричал учитель. — Почему вы не хотите говорить?

Алёша сам не знал, чему приписать такую странность, всунул руку в карман, чтоб ощупать семечко... Но как описать его отчаяние, когда он его не нашёл! Слёзы градом полились из глаз его... он горько плакал и всё-таки не мог сказать ни слова.

Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алёша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозможным, чтоб он не знал по крайней мере начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.

— Подите в спальню, — сказал он, — и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок.

Алёшу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом.

Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное зёрнышко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню — всё напрасно! Нигде не было и следов любезного зёрнышка! Он старался вспомнить, где он

мог его потерять, и наконец уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе.

Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если б и позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на коноплю, и зёрнышко его, верно, которая-нибудь из них успела склевать! Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.

— Милая Чернушка! — говорил он. — Любезный министр! пожалуйста, явись мне и дай другое зёрнышко! Я, право, вперёд буду осторожнее...

Но никто не отвечал на его просьбы, и он наконец сел на стул и опять принялся горько плакать.

Между тем настала пора обедать; дверь отворилась, и вошёл учитель.

— Знаете ли вы теперь урок? — спросил он у Алёши.

Алёша, громко всхлипывая, принуждён был сказать, что не знает.

— Ну так оставайтесь здесь, пока выучите! — сказал учитель, велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного.

Алёша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить двадцать печатных страниц! Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но, когда настал вечер, он не знал более двух или трёх страниц, да и то плохо.

Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришёл опять учитель.

— Алёша! Знаете ли вы урок? — спросил он. И бедный Алёша сквозь слёзы отвечал:

— Знаю только две страницы.

— Так, видно, и завтра придётся вам просидеть здесь на хлебе и на воде, — сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился.

Алёша остался с товарищами. Тогда, когда он был добрым и скромным, все его любили, и если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нём жалели, и это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания: все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова.

Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отворотился, не отвечая. Алёша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алёша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лёг он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог. «И Чернушка меня оставила», — подумал Алёша, и слёзы вновь полились у него из глаз.

Вдруг... простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась чёрная курица.

Сердце в нём стало биться сильнее... он желал, чтоб Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится.

— Чернушка, Чернушка! — сказал он наконец вполголоса.

Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела чёрная курица.

— Ах, Чернушка! — сказал Алёша вне себя от радости. — Я не смел надеяться, что с тобою увижусь! Ты меня не забыла?

— Нет, — отвечала она, — я не могу забыть оказанной тобою услуги, хотя тот Алёша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили, а теперь... Я не узнаю тебя!

Алёша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:

— Теперь я должна тебя оставить, Алёша! Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его навсегда. Король наш слишком великодушен, чтобы лишить тебя этого дара за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне всё, что тебе о нас известно... Алёша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь ещё худшего — неблагодарности!

Алёша с восхищением взял любезное своё семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтоб исправиться.

— Ты увидишь, милая Чернушка, — сказал он, — что я сегодня же совсем другой буду.

— Не полагай, — отвечала Чернушка, — что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щёлочку, и потому если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться!

Алёша, оставшись один, начал рассматривать своё зёрнышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчёт урока, и вчерашнее горе не оставило в нём никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит двадцать страниц, и мысль, что он опять возьмёт верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться! — мыслил он. — Стоит только захотеть,

и все опять меня любить будут». Увы, бедный Алёша не знал, что для исправления самого себя необходимо начать тем, чтоб откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность.

Когда поутру собрались дети в классы, Алёшу позвали наверх. Он вошёл с весёлым и торжествующим видом.

— Знаете ли вы урок ваш? — спросил учитель, взглянув на него строго.

— Знаю, — отвечал Алёша смело.

Он начал говорить и проговорил все двадцать страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель был вне себя от удивления, а Алёша гордо посматривал на своих товарищей.

От глаз учителя не скрылся гордый вид Алёшин.

— Вы знаете урок свой, — сказал он ему, — это правда, но зачем вы вчера не хотели его сказать?

— Вчера я не знал его, — отвечал Алёша.

— Быть не может! — прервал его учитель. — Вчера ввечеру вы мне сказали, что знаете только две страницы, да и то плохо, а теперь без ошибки проговорили все двадцать! Когда же вы его выучили?

Алёша замолчал. Наконец дрожащим голосом сказал он:

— Я выучил его сегодня поутру!

Но тут вдруг все дети, огорчённые его надменностью, закричали в один голос:

— Он неправду говорит, он и книги в руки не брал сегодня поутру!

Алёша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.

— Отвечайте же! — продолжал учитель. — Когда выучили вы урок?

Но Алёша не прерывал молчания: он так поражён был этим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться.

Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел отвечать урока из упрямства, счёл за нужное строго наказать его.

— Чем более вы от природы имеете способностей и дарований, — сказал он Алёше, — тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того дан вам ум, чтоб вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы ещё увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа! — продолжал учитель, обратясь к пансионерам. — Запрещаю вам говорить с Алёшей до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги.

Принесли розги... Алёша был в отчаянии! В первый ещё раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами, и кого же — Алёшу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех! Какой стыд!..

Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться.

— Надобно было думать об этом прежде, — был ему ответ.

Слёзы и раскаяние Алёши тронули товарищей, и они начали просить за него. А Алёша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, ещё горше стал плакать.

Наконец учитель сжалился.

— Хорошо! — сказал он. — Я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы пред всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок.

Алёша совершенно потерял голову... он забыл обещание, данное подземному королю и его министру, и начал рассказывать о чёрной курице, о рыцарях, о маленьких людях...

Учитель не дал ему договорить.

— Как! — вскричал он с гневом. — Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня ещё вздумали дурачить, рассказывая сказку о чёрной курице?.. Это-

го слишком уж много. Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать!

И бедного Алёшу высекли.

С поникшею головою, с растерзанным сердцем Алёша пошёл в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый... Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда чрез несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман... конопляного зёрнышка в нём не было. Алёша горько заплакал, чувствуя, что потерял его навсегда.

Вечеру, когда другие дети пришли спать, он тоже лёг в постель, но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своём! Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зёрнышко вернуть невозможно.

Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати... Алёша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза: он боялся увидеть Чернушку! Совесть его мучила. Он вспомнил, что ещё вчера он так уверительно говорил Чернушке, что непременно исправится, — и вместо того... Что он ей теперь скажет?

Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни... Кто-то подошёл к его кровати, и голос, знакомый голос, назвал его по имени:

— Алёша, Алёша!

Но он стыдился открыть глаза, а между тем слёзы из них катились и текли по его щекам...

Вдруг кто-то дёрнул за одеяло. Алёша невольно взглянул: перед ним стояла Чернушка — не в виде курицы, а в чёрном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно, как он видел её в подземной зале.

— Алёша! — сказал министр. — Я вижу, что ты не спишь... Прощай! Я пришёл с тобой проститься, более мы не увидимся!

Алёша громко зарыдал.

— Прощай! — воскликнул он. — Прощай! И, если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват перед тобою, но я жестоко за то наказан!

— Алёша! — сказал сквозь слёзы министр. — Я тебя прощаю; не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и всё тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным; может быть, навеки!.. Прощай! Мне позволено видаться с тобой на самое короткое время. Ещё в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест! Все в отчаянии, все проливают слёзы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно!..

Алёша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух.

— Что это такое? — спросил он с изумлением.

Министр поднял обе руки кверху, и Алёша увидел, что они были скованы золотой цепью. Он ужаснулся.

— Твоя нескромность причиною, что я осуждён носить эти цепи, — сказал министр с глубоким вздохом, — но не плачь, Алёша! Твои слёзы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моём несчастии: старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз!

Министр пожал Алёше руку и скрылся под соседнюю кровать.

— Чернушка, Чернушка! — кричал ему вслед Алёша, но Чернушка не отвечала.

Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колёс и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим

слышен был также плач женщин и детей и голос министра-Чернушки, который кричал ему:

— Прощай, Алёша! Прощай навеки!..

На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алёшу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка.

Недель через шесть Алёша выздоровел, и всё происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжёлым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова ни о чёрной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алёша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть двадцать печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.



ПУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1799—1837)

Сказка о золотом петушке

Негде, в тридевятиом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
С молоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело;
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел

И покой себе устроить.
 Тут соседи беспокоить
 Стали старого царя,
 Страшный вред ему творя.
 Чтоб концы своих владений
 Охранять от нападений,
 Должен был он содержать
 Многочисленную рать¹.

Воеводы не дремали,
 Но никак не успевали:
 Ждут, бывало, с юга, глядь, —
 Ан с востока лезет рать.
 Справят здесь, — лихие гости
 Идут от моря. Со злости
 Инда плакал царь Дадон,
 Инда забывал и сон.
 Что и жизнь в такой тревоге!
 Вот он с просьбой о помощи
 Обратился к мудрецу,
 Звездочёту и скопцу.
 Шлёт за ним гонца с поклоном.

Вот мудрец перед Дадонем
 Стал и вынул из мешка
 Золотого петушка.
 «Посади ты эту птицу, —
 Молвил он царю, — на спицу;
 Петушок мой золотой
 Будет верный сторож твой:
 Коль кругом всё будет мирно,
 Так сидеть он будет смирно;
 Но лишь чуть со стороны
 Ожидать тебе войны,

¹ Рать — (устар.) войско.

Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незваной,

Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенётся
И в то место обернётся».
Царь скопца благодарит,
Горы золота сулит.
«За такое одолжение, —
Говорит он в восхищенье, —
Волю первую твою
Я исполню, как мою».

Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы.
Чуть опасность где видна,
Верный сторож как со сна
Шевельнётся, встрепенётся,
К той сторонке обернётся
И кричит: «Кири-ку-ку.
Царствуй, лёжа на боку!»
И соседи присмирели,
Воевать уже не смели:
Таковой им царь Дадон
Дал отпор со всех сторон!

Год, другой проходит мирно;
Петушок сидит всё смирно.
Вот однажды царь Дадон
Страшным шумом пробуждён:
«Царь ты наш! отец народа! —
Возглашает воевода, —
Государь! проснись! беда!»
— Что такое, господа? —

Говорит Дадон, зевая: —
А?.. Кто там?.. беда какая? —
Воевода говорит:
«Петушок опять кричит;
Страх и шум во всей столице».
Царь к окошку, — ан на спице,
Видит, бьётся петушок,
Обратившись на восток.
Медлить нечего: «Скорее!
Люди, на конь! Эй, живее!»
Царь к востоку войско шлёт,
Старший сын его ведёт.
Петушок угомонился,
Шум утих, и царь забылся.

Вот проходит восемь дней,
А от войска нет вестей;
Было ль, не было ль сраженья, —
Нет Дадону донесенья.
Петушок кричит опять.
Кличет царь другую рать;
Сына он теперь меньшого
Шлёт на выручку большого;
Петушок опять утих.
Снова вести нет от них!
Снова восемь дней проходят;
Люди в страхе дни проводят;

Петушок кричит опять,
Царь скликает третью рать
И ведёт её к востоку, —
Сам не зная, быть ли проку.

Войска идут день и ночь;
Им становится невмочь.
Ни побоища, ни стана,
Ни надгробного кургана

Не встречает царь Дадон.
 «Что за чудо?» — мыслит он.
 Вот осьмой уж день проходит,
 Войско в горы царь приводит
 И промеж высоких гор
 Видит шёлковый шатёр.
 Всё в безмолвии чудесном
 Вкруг шатра; в ущелье тесном
 Рать побитая лежит.
 Царь Дадон к шатру спешит...
 Что за страшная картина!
 Перед ним его два сына
 Без шоломов и без лат
 Оба мёртвые лежат,
 Меч вонзивши друг во друга.
 Бродят кони их средь луга,
 По притоптанной траве,
 По кровавой мураве...

Царь завыл: «Ох дети, дети!
 Горе мне! попались в сети
 Оба наши сокола!
 Горе! смерть моя пришла».
 Все завыли за Дадонем,
 Застонала тяжким стоном
 Глубь долин, и сердце гор
 Потряслося. Вдруг шатёр
 Распахнулся... и девица,
 Шамаханская царица,
 Вся сияя как заря,
 Тихо встретила царя.
 Как пред солнцем птица ночи,
 Царь умолк, ей глядя в очи,
 И забыл он перед ней
 Смерть обоих сыновей.

И она перед Дадонем
 Улыбнулась — и с поклоном
 Его за руку взяла
 И в шатёр свой увела.
 Там за стол его сажала,
 Всяким яством угощала;
 Уложила отдыхать
 На парчовую кровать.
 И потом, неделю ровно,
 Покорясь ей безусловно,
 Околдован, восхищён,
 Пировал у ней Дадон.

Наконец и в путь обратный
 Со своею силой ратной
 И с девицей молодой
 Царь отправился домой.
 Перед ним молва бежала,
 Быль и небыль разглашала.
 Под столицей, близ ворот,
 С шумом встретил их народ, —
 Все бегут за колесницей,
 За Дадонем и царицей;
 Всех приветствует Дадон...
 Вдруг в толпе увидел он,
 В сарачинской шапке белой,
 Весь как лебедь поседелый,
 Старый друг его, скопец.
 «А, здорово, мой отец, —
 Молвил царь ему, — что скажешь?
 Подь поближе! Что прикажешь?»
 — Царь! — отвечает мудрец, —
 Разочтёмся наконец.
 Помнишь? за мою услугу
 Обещался мне, как другу,

Волю первую мою
 Ты исполнить, как свою.
 Подари ж ты мне девицу,
 Шамаханскую царицу. —
 Крайне царь был изумлён.
 «Что ты? — старцу молвил он, —
 Или бес в тебя ввернулся,
 Или ты с ума рехнулся?
 Что ты в голову забрал?
 Я, конечно, обещал,
 Но всему же есть граница.
 И зачем тебе девица?
 Полно, знаешь ли, кто я?
 Попроси ты от меня
 Хоть казну, хоть чин боярской,
 Хоть коня с конюшни царской,
 Хоть полцарства моего».
 — Не хочу я ничего!
 Подари ты мне девицу,
 Шамаханскую царицу, —
 Говорит мудрец в ответ.
 Плюнул царь: «Так лих же: нет!
 Ничего ты не получишь.
 Сам себя ты, грешник, мучишь;
 Убирайся, цел пока;
 Оттащите старика!»
 Старичок хотел заспорить,
 Но с иным накладно вздорить;
 Царь хватил его жезлом
 По лбу; тот упал ничком,
 Да и дух вон. — Вся столица
 Содрогнулась, а девица —
 Хи-хи-хи! да ха-ха-ха!
 Не боится, зная, греха.
 Царь, хоть был встревожен сильно,
 Усмехнулся ей умильно.

Вот — въезжает в город он...
 Вдруг раздался лёгкий звон,
 И в глазах у всей столицы
 Петушок спорхнул со спицы,
 К колеснице полетел
 И царю на темя сел,
 Встрепенулся, клюнул в темя
 И взвился... и в то же время
 С колесницы пал Дадон —
 Охнул раз, — и умер он.
 А царица вдруг пропала,
 Будто вовсе не бывало.
 Сказка ложь, да в ней намёк!
 Добрым молодцам урок.



Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди

Три девицы под окном
 Пряли поздно вечерком.
 «Кабы я была царица, —
 Говорит одна девица, —
 То на весь крещёный мир
 Приготовила б я пир».
 «Кабы я была царица, —
 Говорит её сестрица, —
 То на весь бы мир одна
 Наткала я полотна».

«Кабы я была царица, —
 Третья молвила сестрица, —
 Я б для батюшки-царя
 Родила богатыря».

Только вымолвить успела,
 Дверь тихонько заскрыпела,
 И в светлицу входит царь,
 Стороны той государь.

Во всё время разговора
 Он стоял позадь забора;
 Речь последней по всему
 Полюбилася ему.

«Здравствуй, красная девица, —
 Говорит он, — будь царица
 И роди богатыря
 Мне к исходу сентября.

Вы ж, голубушки-сестрицы,
 Выбирайтесь из светлицы,
 Поезжайте вслед за мной,
 Вслед за мной и за сестрой:
 Будь одна из вас ткачиха,
 А другая повариха».

В сени вышел царь-отец.
 Все пустились во дворец.
 Царь недолго собирался:
 В тот же вечер обвенчался.

Царь Салтан за пир честной
 Сел с царицей молодой;
 А потом честные гости
 На кровать слоновой кости
 Положили молодых
 И оставили одних.

В кухне злится повариха,
 Плачет у станка ткачиха,
 И завидуют оне
 Государевой жене.

А царица молодая,
Дела вдаль не отлагая,
С первой ночи понесла.
В те поры война была.
Царь Салтан, с женой простясь,
На добра-коня сядясь,
Ей наказывал себя
Побережь, его любя.
Между тем, как он далёко
Бьётся долго и жестоко,
Наступает срок родин;
Сына бог им дал в аршин,
И царица над ребёнком
Как орлица над орлёнком;
Шлёт с письмом она гонца,
Чтоб обрадовать отца.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Извести её хотят,
Перенять гонца велят;
Сами шлют гонца другого
Вот с чем от слова до слова:
«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку».
Как услышал царь-отец,
Что донёс ему гонец,
В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз,
Дал гонцу такой приказ:
«Ждать царёва возвращенья
Для законного решенья».

Едет с грамотой гонец,
 И приехал наконец.
 А ткачиха с поварихой,
 С сватьей бабой Бабарихой,
 Обождать его велят;
 Допьяна гонца поят
 И в суму его пустую
 Суют грамоту другую —
 И привёз гонец хмельной
 В тот же день приказ такой:
 «Царь велит своим боярам,
 Времени не тратя даром,
 И царицу и приплод
 Тайно бросить в бездну вод».
 Делать нечего: бояре,
 Потужив о государе
 И царице молодой,
 В спальню к ней пришли толпой.
 Объявили царску волю —
 Ей и сыну злую долю,
 Прочитали вслух указ,
 И царицу в тот же час
 В бочку с сыном посадили,
 Засмолили, покатали
 И пустили в Окиян —
 Так велел-де царь Салтан.
 В синем небе звёзды блещут,
 В синем море волны хлещут;
 Туча по небу идёт,
 Бочка по морю плывёт.
 Словно горькая вдовица,
 Плачет, бьётся в ней царица;
 И растёт ребёнок там
 Не по дням, а по часам.

День прошёл, царица вопит...
А дитя волну торопит:
«Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли —
Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!»
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена;
Землю чувствует она.
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» — молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.
Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле,
Море синее кругом,
Дуб зелёный над холмом.
Сын подумал: добрый ужин
Был бы нам, однако, нужен.
Ломит он у дуба сук
И в тугой сгибает лук,
Со креста снурок шелковый
Натянул на лук дубовый,
Тонку тросточку сломил,

Стрелкой лёгкой заострил
 И пошёл на край долины
 У моря искать дичины.
 К морю лишь подходит он,
 Вот и слышит будто стон...
 Видно, на море не тихо;
 Смотрит — видит дело лихо:
 Бьётся лебедь средь зыбей,
 Коршун носится над ней;
 Та бедняжка так и плещет,
 Воду вокруг мутит и хлещет...
 Тот уж когти распустил,
 Клёв кровавый наострил...
 Но как раз стрела запела,
 В шею коршуна задела —
 Коршун в море кровь пролил,
 Лук царевич опустил;
 Смотрит: коршун в море тонет
 И не птичьим криком стонет,
 Лебедь около плывёт,
 Злого коршуна клюёт,
 Гибель близкую торопит,
 Бьёт крылом и в море топит —
 И царевичу потом
 Молвит русским языком:
 «Ты, царевич, мой спаситель,
 Мой могучий избавитель,
 Не тужи, что за меня
 Есть не будешь ты три дня,
 Что стрела пропала в море;
 Это горе — всё не горе.
 Отплачу тебе добром,
 Сослужу тебе потом:
 Ты не лебедь ведь избавил,
 Девицу в живых оставил;

Ты не коршуна убил,
Чародея подстрелил.
Ввек тебя я не забуду:
Ты найдёшь меня повсюду,
А теперь ты воротись,
Не горюй и спать ложись».
Улетела лебедь-птица,
А царевич и царица,
Целый день проведши так,
Лечь решились натошак.
Вот открыл царевич очи;
Отрясая грёзы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.
Он скорей царицу будит;
Та как ахнет!.. «То ли будет? —
Говорит он, — вижу я:
Лебедь тешится моя».
Мать и сын идут ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон:
К ним народ навстречу валит,
Хор церковный бога хвалит;
В колымагах золотых
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают
И царевича венчают
Княжей шапкой, и главой
Возглашают над собой;
И среди своей столицы,

С разрешения царицы,
 В тот же день стал княжить он
 И нарёкся: князь Гвидон.
 Ветер на море гуляет
 И кораблик подгоняет;
 Он бежит себе в волнах
 На раздутых парусах.
 Корабельщики дивятся,
 На кораблике толпятся,
 На знакомом острове
 Чудо видят наяву:
 Город новый златоглавый,
 Пристань с крепкою заставой;
 Пушки с пристани палят,
 Кораблю пристать велят.
 Пристают к заставе гости;
 Князь Гвидон зовёт их в гости,
 Их он кормит, и поит,
 И ответ держать велит:
 «Чем вы, гости, торг ведёте
 И куда теперь плывёте?»
 Корабельщики в ответ:
 «Мы объехали весь свет,
 Торговали соболями,
 Чернобурыми лисами;
 А теперь нам вышел срок,
 Едем прямо на восток,
 Мимо острова Буяна,
 В царство славного Салтана...»
 Князь им вымолвил тогда:
 «Добрый путь вам, господа,
 По морю по Окияну
 К славному царю Салтану;
 От меня ему поклон».
 Гости в путь, а князь Гвидон

С берега душой печальной
Провожает бег их дальный;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывёт.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь печально отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца:
Видеть я б хотел отца».
Лебедь князю: «Вот в чём горе!
Ну, послушай: хочешь в море
Полететь за кораблём?
Будь же, князь, ты комаром».
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала
И обрызгала его
С головы до ног всего.
Тут он в точку уменьшился,
Комаром оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корабль — и в щель забился.
Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовёт их в гости,
И за ними во дворец

Полетел наш удалец.
 Видит: весь сияя в злате,
 Царь Салтан сидит в палате
 На престоле и в венце
 С грустной думой на лице;
 А ткачиха с поварихой,
 С сватьей бабой Бабарихой
 Около царя сидят
 И в глаза ему глядят.
 Царь Салтан гостей сажает
 За свой стол и вопрошает:
 «Ой вы, гости-господа,
 Долго ль ездили? куда?
 Ладно ль за морем иль худо?
 И какое в свете чудо?»
 Корабельщики в ответ:
 «Мы объехали весь свет;
 За морем житьё не худо,
 В свете ж вот какое чудо:
 В море остров был крутой,
 Не привальный, не жилой;
 Он лежал пустой равниной;
 Рос на нём дубок единый;
 А теперь стоит на нём
 Новый город со дворцом,
 С златоглавыми церквами,
 С теремами и садами,
 А сидит в нём князь Гвидон;
 Он прислал тебе поклон».
 Царь Салтан дивится чуду;
 Молвит он: «Коль жив я буду,
 Чудный остров навещу,
 У Гвидона погощу».
 А ткачиха с поварихой,
 С сватьей бабой Бабарихой

Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
«Уж диковинка, ну право, —
Подмигнув другим лукаво,
Повариха говорит, —
Город у моря стоит!
Знайте, вот что не безделка:
Ель в лесу, под елью белка,
Белка песенки поёт
И орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Вот что чудом-то зовут».
Чуду царь Салтан дивится,
А комар-то злится, злится —
И впился комар как раз
Тётке прямо в правый глаз.
Повариха побледнела,
Обмерла и окривела.
Слуги, сватья и сестра
С криком ловят комара.
«Распроклятая ты мошка!
Мы тебя!..» А он в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.
Снова князь у моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывёт.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:

«Грусть-тоска меня съедает;
 Чудо чудное завести
 Мне б хотелось. Где-то есть
 Ель в лесу, под елью белка;
 Диво, право, не безделка —
 Белка песенки поёт,
 Да орешки всё грызёт,
 А орешки не простые,
 Всё скорлупки золотые,
 Ядра — чистый изумруд;
 Но, быть может, люди врут».
 Князю лебедь отвечает:
 «Свет о белке правду бает;
 Это чудо знаю я;
 Полно, князь, душа моя,
 Не печалься; рада службу
 Оказать тебе я в дружбу».
 С ободрённою душой
 Князь пошёл себе домой;
 Лишь ступил на двор широкий —
 Что ж? под ёлкою высокой,
 Видит, белочка при всех
 Золотой грызёт орех,
 Изумрудец вынимает,
 А скорлупку собирает,
 Кучки равные кладёт
 И с присвисточкой поёт
 При честном при всём народе:
 Во саду ли, в огороде.
 Изумился князь Гвидон.
 «Ну, спасибо, — молвил он, —
 Ай да лебедь — дай ей боже,
 Что и мне, веселье то же».
 Князь для белочки потом
 Выстроил хрустальный дом,

Караул к нему приставил
И притом дьяка заставил
Строгий счёт орехам весть.
Князю прибыль, белке честь.
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого:
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовёт их в гости,
Их и кормит, и поит,
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведёте
И куда теперь плывёте?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы конями,
Всё донскими жеребцами,
А теперь нам вышел срок —
И лежит нам путь далёк:
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана...»
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да скажите: князь Гвидон
Шлёт царю-де свой поклон».
Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь — а лебедь там

Уж гуляет по волнам.
 Молит князь: душа-де просит,
 Так и тянет и уносит...
 Вот опять она его
 Вмиг обрызгала всего:
 В муху князь оборотился,
 Полетел и опустился
 Между моря и небес
 На корабль — и в щель залез.
 Ветер весело шумит,
 Судно весело бежит
 Мимо острова Буяна,
 В царство славного Салтана —
 И желанная страна
 Вот уж издали видна;
 Вот на берег вышли гости;
 Царь Салтан зовёт их в гости,
 И за ними во дворец
 Полетел наш удалец.
 Видит: весь сияя в злате,
 Царь Салтан сидит в палате
 На престоле и в венце,
 С грустной думой на лице.
 А ткачиха с Бабарихой
 Да с кривою поварихой
 Около царя сидят,
 Злыми жабами глядят.
 Царь Салтан гостей сажает
 За свой стол и вопрошает:
 «Ой вы, гости-господа,
 Долго ль ездили? куда?
 Ладно ль за морем иль худо,
 И какое в свете чудо?»
 Корабельщики в ответ:
 «Мы объехали весь свет;

За морем житьё не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами;
Ель растёт перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живёт ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поёт,
Да орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной —
И приставлен дьяк приказный
Строгий счёт орехам весть;
Отдаёт ей войско честь;
Из скорлупок льют монету,
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да под спуд;
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты;
А сидит в нём князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду.
«Если только жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Не хотят его пустить

Чудный остров навестить.
 Усмехнувшись исподтиха,
 Говорит царю ткачиха:
 «Что тут дивного? ну, вот!
 Белка камушки грызёт,
 Мечет золото и в груды
 Загребаёт изумруды;
 Этим нас не удивишь,
 Правду ль, нет ли говоришь.
 В свете есть иное диво:
 Море вздуется бурливо,
 Закипит, подымет вой,
 Хлынет на берег пустой,
 Разольётся в шумном беге,
 И очутятся на бреге,
 В чешуе, как жар горя,
 Тридцать три богатыря,
 Все красавцы удалые,
 Великаны молодые,
 Все равны, как на подбор,
 С ними дядька Черномор.
 Это диво, так уж диво,
 Можно молвить справедливо!»
 Гости умные молчат,
 Спорить с нею не хотят.
 Диву царь Салтан дивится,
 А Гвидон-то злится, злится...
 Зажужжал он и как раз
 Тётке сел на левый глаз,
 И ткачиха побледнела:
 «Ай!» — и тут же окривела;
 Все кричат: «Лови, лови,
 Да дави её, дави...
 Вот ужо! постой немножко,
 Погоди...» А князь в окошко,

Да спокойно в свой удел
Через море прилетел.
Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывёт.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает —
Диво б дивное хотел
Перенести я в мой удел».
«А какое ж это диво?» —
«Где-то вздуется бурливо
Окиян, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснётся в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор».
Князю лебедь отвечает:
«Вот что, князь, тебя смущает?
Не тужи, душа моя,
Это чудо знаю я.
Эти витязи морские
Мне ведь братья все родные.
Не печалься же, ступай,
В гости братцев поджидай».

Князь пошёл, забывши горе,
 Сел на башню, и на море
 Стал глядеть он; море вдруг
 Всколыхалось вокруг,
 Расплескалось в шумном беге
 И оставило на бреге
 Тридцать три богатыря;
 В чешуе, как жар горя,
 Идут витязи четами,
 И, блистая сединами,
 Дядька впереди идёт
 И ко граду их ведёт.
 С башни князь Гвидон сбегает,
 Дорогих гостей встречает;
 Второпях народ бежит;
 Дядька князю говорит:
 «Лебедь нас к тебе послала
 И наказом наказала
 Славный город твой хранить
 И дозором обходить.
 Мы отныне ежедневно
 Вместе будем непременно
 У высоких стен твоих
 Выходить из вод морских,
 Так увидимся мы вскоре,
 А теперь пора нам в море;
 Тяжек воздух нам земли».
 Все потом домой ушли.
 Ветер по морю гуляет
 И кораблик подгоняет;
 Он бежит себе в волнах
 На поднятых парусах
 Мимо острова крутого,
 Мимо города большого;

Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовёт их в гости,
Их и кормит, и поит,
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведёте?
И куда теперь плывёте?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
Торговали мы булатом,
Чистым серебром и златом,
И теперь нам вышел срок;
А лежит нам путь далёк,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану.
Да скажите ж: князь Гвидон
Шлёт-де свой царю поклон».
Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь, а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Князь опять: душа-де просит...
Так и тянет и уносит...
И опять она его
Вмиг обрызгала всего.
Тут он очень уменьшился,
Шмелем князь оборотился,
Полетел и зажужжал;
Судно на море догнал,

Потихоньку опустился
 На корму — и в щель забился.
 Ветер весело шумит,
 Судно весело бежит
 Мимо острова Буяна,
 В царство славного Салтана,
 И желанная страна
 Вот уж издали видна.
 Вот на берег вышли гости.
 Царь Салтан зовёт их в гости,
 И за ними во дворец
 Полетел наш удалец.
 Видит, весь сияя в злате,
 Царь Салтан сидит в палате
 На престоле и в венце,
 С грустной думой на лице.
 А ткачиха с поварихой,
 С сватьей бабой Бабарихой
 Около царя сидят —
 Четырьмя все три глядят.
 Царь Салтан гостей сажает
 За свой стол и вопрошает:
 «Ой вы, гости-господа,
 Долго ль ездили? куда?
 Ладно ль за морем иль худо?
 И какое в свете чудо?»
 Корабельщики в ответ:
 «Мы объехали весь свет;
 За морем житьё не худо;
 В свете ж вот какое чудо:
 Остров на море лежит,
 Град на острове стоит,
 Каждый день идёт там диво:
 Море вздуется бурливо,

Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснётся в скором беге -
И останутся на бреге
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними из моря выходит
И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить —
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А сидит там князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду.
«Коли жив я только буду,
Чудный остров навещу
И у князя погощу».
Повариха и ткачиха
Ни гугу — но Бабариха
Усмехнувшись говорит:
«Кто нас этим удивит?
Люди из моря выходят
И себе дозором бродят!
Правду ль бают или лгут,
Дива я не вижу тут.
В свете есть такие ль дива?
Вот идёт молва правдива:
За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвести:
Днём свет божий затмевает,

Ночью землю освещает,
 Месяц под косой блестит,
 А во лбу звезда горит.
 А сама-то величава,
 Выплывает, будто пава;
 А как речь-то говорит,
 Словно реченька журчит.
 Молвить можно справедливо,
 Это диво, так уж диво».

Гости умные молчат:
 Спорить с бабой не хотят.
 Чуду царь Салтан дивится —
 А царевич хоть и злится,
 Но жалеет он очей
 Старой бабушки своей:
 Он над ней жужжит, кружится —
 Прямо на нос к ней садится,
 Нос ужалил богатырь:
 На носу вскочил волдырь.
 И опять пошла тревога:
 «Помогите, ради бога!
 Караул! лови, лови,
 Да дави его, дави...
 Вот ужо! пожди немножко,
 Погоди!..» А шмель в окошко,
 Да спокойно в свой удел
 Через море полетел.
 Князь у синя моря ходит,
 С синя моря глаз не сводит;
 Глядь — поверх текучих вод
 Лебедь белая плывёт.
 «Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
 Что ж ты тих, как день ненастный?
 Опечалился чему?» —
 Говорит она ему.

Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,
Неженат лишь я хожу».
— А кого же на примете
Ты имеешь? — «Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвести.
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает—
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль это?»
Князь со страхом ждёт ответа.
Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:
«Да! такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнёшь,
Да за пояс не заткнёшь.
Услужу тебе советом —
Слушай: обо всём об этом
Пораздумай ты путём,
Не раскаяться б потом».
Князь пред нею стал божиться,
Что пора ему жениться,
Что об этом обо всём
Передумал он путём;
Что готов душою страстной
За царевною прекрасной
Он пешком идти отсель

Хоть за тридевять земель.
 Лебедь тут, вздохнув глубоко,
 Молвила: «Зачем далёко?
 Знай, близка судьба твоя,
 Ведь царевна эта — я».
 Тут она, взмахнув крылами,
 Полетела над волнами
 И на берег с высоты
 Опустилась в кусты,
 Встрепенулась, отряхнулась
 И царевной обернулась:
 Месяц под косой блестит,
 А во лбу звезда горит;
 А сама-то величава,
 Выступает, будто пава;
 А как речь-то говорит,
 Словно реченька журчит.
 Князь царевну обнимает,
 К белой груди прижимает
 И ведёт её скорей
 К милой матушке своей.
 Князь ей в ноги, умоляя:
 «Государыня-родная!
 Выбрал я жену себе,
 Дочь послушную тебе,
 Просим оба разрешенья,
 Твоего благословенья:
 Ты детей благослови
 Жить в совете и любви».
 Над главою их покорной
 Мать с иконой чудотворной
 Слёзы льёт и говорит:
 «Бог вас, дети, наградит».
 Князь недолго собирался,
 На царевне обвенчался;

Стали жить да поживать,
Да приплода поджидать.
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовёт их в гости,
Он их кормит, и поит,
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведёте
И куда теперь плывёте?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы недаром
Неуказанным товаром;
А лежит нам путь далёк:
Восвояси на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да напомните ему,
Государю своему:
К нам он в гости обещался,
А доселе не собрался —
Шлю ему я свой поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон

Дома на сей раз остался
 И с женою не расстался.
 Ветер весело шумит,
 Судно весело бежит
 Мимо острова Буяна
 К царству славного Салтана,
 И знакомая страна
 Вот уж издали видна.
 Вот на берег вышли гости.
 Царь Салтан зовёт их в гости.
 Гости видят: во дворце
 Царь сидит в своём венце,
 А ткачиха с поварихой,
 С сватьей бабой Бабарихой
 Около царя сидят,
 Четырьмя все три глядят.
 Царь Салтан гостей сажает
 За свой стол и вопрошает:
 «Ой вы, гости-господа,
 Долго ль ездили? куда?
 Ладно ль за морем иль худо?
 И какое в свете чудо?»
 Корабельщики в ответ:
 «Мы объехали весь свет;
 За морем житьё не худо,
 В свете ж вот какое чудо:
 Остров на море лежит,
 Град на острове стоит,
 С златоглавыми церквами,
 С теремами и садами;
 Ель растёт перед дворцом,
 А под ней хрустальный дом;
 Белка в нём живёт ручная,
 Да чудесница какая!

Белка песенки поёт
Да орешки всё грызёт;
А орешки не простые,
Скорлупы-то золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Белку холят, берегут.
Там ещё другое диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснётся в скором беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор —
С ними дядька Черномор.
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А у князя жёнка есть,
Что не можно глаз отвести:
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает;
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
Князь Гвидон тот город правит,
Всяк его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеняет он:
К нам-де в гости обещался,
А доселе не собрался».
Тут уж царь не утерпел,
Снарядить он флот велел.
А ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой
 Не хотят царя пустить
 Чудный остров навестить.
 Но Салтан им не внимает
 И как раз их унимает:
 «Что я? царь или дитя? —
 Говорит он не шутя: —
 Нынче ж еду!» — Тут он топнул,
 Вышел вон и дверью хлопнул.
 Под окном Гвидон сидит,
 Молча на море глядит:
 Не шумит оно, не хлещет,
 Лишь едва, едва трепещет,
 И в лазоревой дали
 Показались корабли:
 По равнинам Окияна
 Едет флот царя Салтана.
 Князь Гвидон тогда вскочил,
 Громогласно возопил:
 «Матушка моя родная!
 Ты, княгиня молодая!
 Посмотрите вы туда:
 Едет батюшка сюда».
 Флот уж к острову подходит.
 Князь Гвидон трубу наводит:
 Царь на палубе стоит
 И в трубу на них глядит;
 С ним ткачиха с поварихой,
 С сватьей бабой Бабарихой;
 Удивляются оне
 Незнакомой стороне.
 Разом пушки запалили;
 В колокольнях зазвонили;
 К морю сам идёт Гвидон;
 Там царя встречает он

С поварихой и ткачихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
В город он повёл царя,
Ничего не говоря.
Все теперь идут в палаты:
У ворот блистают латы,
И стоят в глазах царя
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Царь ступил на двор широкой:
Там под ёлкою высокой
Белка песенку поёт,
Золотой орех грызёт,
Изумрудец вынимает
И в мешочек опускает;
И засеян двор большой
Золотою скорлупой.
Гости дале — торопливо
Смотрят — что ж? княгиня — диво:
Под косою луна блеснит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава,
И свекровь свою ведёт.
Царь глядит — и узнаёт...
В нём взыграло ретивое!
«Что я вижу? что такое?
Как!» — и дух в нём занялся...
Царь слезами залился,
Обнимает он царицу,
И сына, и молодицу,
И садятся все за стол;
И весёлый пир пошёл.

А ткачиха с поварихой,
 С сватьей бабой Бабарихой
 Разбежались по углам;
 Их нашли насилу там.
 Тут во всём они признались,
 Повинились, разрыдались;
 Царь для радости такой
 Отпустил всех трёх домой.
 День прошёл — царя Салтана
 Уложили спать вполпьяна.
 Я там был; мёд, пиво пил —
 И усы лишь обмочил.



ШВАРЦ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ (1896—1958)

Сказка о потерянном времени

Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в третьем классе четырнадцатой школы и всё время отставал, и по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению.

— Успею! — говорил он в конце первой четверти. — Во второй вас всех догоню.

А приходила вторая — он надеялся на третью. Так он опаздывал да отставал, отставал да опаздывал и не тужил. Всё «успею» да «успею».

И вот однажды пришёл Петя Зубов в школу, как всегда с опозданием. Вбежал в раздевалку. Шлёпнул портфелем по загородке и крикнул:

— Тётя Наташа! Возьмите моё пальтишко!

А тётя Наташа спрашивает откуда-то из-за вешалок:

— Кто меня зовёт?

— Это я. Петя Зубов, — отвечает мальчик.

— А почему у тебя сегодня голос такой хриплый? — спрашивает тётя Наташа.

— А я и сам удивляюсь, — отвечает Петя. — Вдруг охрип ни с того ни с сего.

Вышла тётя Наташа из-за вешалок, взглянула на Петю, да как вскрикнет:

— Ой!

Петя Зубов тоже испугался и спрашивает:

— Тётя Наташа, что с вами?

— Как что? — отвечает тётя Наташа. — Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на самом деле вы, должно быть, его дедушка.

— Какой же я дедушка? — спрашивает мальчик. — Я — Петя, ученик третьего класса.

— Да вы посмотрите в зеркало! — говорит тётя Наташа.

Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. Выросла у него седая окладистая борода, усы. Морщины покрыли сеткою лицо.

Смотрел на себя Петя, смотрел, и затряслась его седая борода.

Крикнул он басом:

— Мама! — и выбежал прочь из школы.

Бежит он и думает: «Ну уж если и мама меня не узнает, тогда всё пропало».

Прибежал Петя домой и позвонил три раза.

Мама открыла ему дверь.

Смотрит она на Петю и молчит. И Петя молчит тоже. Стоит, выставив свою седую бороду, и чуть не плачет.

— Вам кого, дедушка? — спросила мама наконец.

— Ты меня не узнаёшь? — прошептал Петя.

— Простите — нет, — ответила мама.

Отвернулся бедный Петя и пошёл куда глаза глядят.

Идёт он и думает:

— Какой я одинокий, несчастный старик. Ни мамы, ни детей, ни внуков, ни друзей... И главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики — те или доктора, или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен, когда я всего только ученик третьего класса? Мне даже и пенсии не дадут — ведь я всего только три года работал. Да и как работал — на двойки да на тройки.

Что же со мною будет? Бедный я старик! Несчастный я мальчик! Чем же всё это кончится?

Так Петя думал и шагал, шагал и думал, и сам не заметил, как вышел за город и попал в лес. И шёл он по лесу, пока не стемнело.

«Хорошо бы отдохнуть», — подумал Петя и вдруг увидел, что в стороне, за ёлками, белеет какой-то домик. Вошёл Петя в домик — хозяев нет. Стоит посреди комнаты стол. Над ним висит керосиновая лампа. Вокруг стола — четыре табуретки. Ходики тикают на стене. А в углу горою навалено сено.

Лёг Петя в сено, зарылся в него поглубже, согрелся, поплакал тихонько, утёр слёзы бородой и уснул.

Просыпается Петя — в комнате светло, керосиновая лампа горит под стеклом. А вокруг стола сидят ребята — два мальчика и две девочки. Большие окованные медью счёты лежат перед ними. Ребята считают и бормочут.

— Два года, да ещё пять, да ещё семь, да ещё три... Это вам, Сергей Владимирович, а это ваши, Ольга Капитоновна, а это вам, Марфа Васильевна, а это ваши, Пантелей Захарович.

Что это за ребята? Почему они такие хмурые? Почему кряхтят они, и охают, и вздыхают, как настоящие старики? Почему называют друг друга по имени-отчеству? Зачем собрались они ночью здесь, в одинокой лесной избушке?

Замер Петя Зубов, не дышит, ловит каждое слово. И страшно ему стало от того, что услышал он.

Не мальчики и девочки, а злые волшебники и злые волшебницы сидели за столом! Вот ведь как, оказывается, устроено на свете: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые волшебники разведали об этом и давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова, и ещё одного мальчика, и ещё двух девочек и превратили их в стариков. Состарились бедные дети, и сами того не заметили — ведь человек, напрасно теряющий время, не замечает, как стареет. А время, потерянное ребятами, забрали волшебники себе. И стали волшебники малыми ребятами, а ребята — старыми стариками.

Как быть?

Что делать?

Да неужели же не вернуть ребятам потерянной молодости?

Подсчитали волшебники время, хотели уже спрятать счёты в стол, но Сергей Владимирович, главный из них, — не позволил. Взял он счёты и подошёл к ходикам. Покрутил стрелки, подёргал гири, послушал, как тикает маятник, и опять защёлкал на счётах. Считал, считал он, шептал, шептал, пока не показали ходики полночь. Тогда смешал Сергей Владимирович костяшки и ещё раз проверил, сколько получилось у него.

Потом подозвал он волшебников к себе и заговорил негромко:

— Господа волшебники! Знайте — ребята, которых мы превратили сегодня в стариков, ещё могут помолодеть.

— Как? — воскликнули волшебники.

— Сейчас скажу, — ответил Сергей Владимирович.

Он вышел на цыпочках из домика, обошёл его кругом, вернулся, запер дверь на задвижку и поворошил сено палкой.

Петя Зубов замер, как мышка.

Но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не увидел Пети.

Подозвал он остальных волшебников к себе поближе и заговорил негромко:

— К сожалению, так устроено на свете: от любого несчастья может спастись человек. Если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в двенадцать часов ночи сюда к нам и повернут стрелку ходиков на семьдесят семь кругов обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем.

Помолчали волшебники. Потом Ольга Капитоновна сказала:

— Откуда им всё это узнать?

А Пантелей Захарович проворчал:

— Не придут они сюда к двенадцати часам ночи. Хоть на минуту, да опоздают.

А Марфа Васильевна пробормотала:

— Да куда им! Да где им! Эти лентяи до семидесяти семи и сосчитать не сумеют, сразу собыются.

— Так-то оно так, — ответил Сергей Владимирович. — А всё-таки пока что держите ухо востро. Если доберутся ребята до ходиков, тронут стрелки — нам тогда и с места не сдвинуться. Ну, а пока нечего время терять, — идём на работу.

И волшебники, спрятав счёты в стол, побежали, как дети, но при этом кряхтели, охали и вздыхали, как настоящие старики.

Дождлся Петя Зубов, пока затихли в лесу шаги. Выбрался из домика. И, не теряя напрасно времени, прячась за деревьями и кустами, побежал, помчался в город искать стариков-школьников.

Город ещё не проснулся. Темно было в окнах, пусто на улицах, только милиционеры стояли на постах. Но вот забрезжил рассвет. Зазвенели первые трамваи. И увидел на-

конец Петя Зубов — идёт не спеша по улице старушка с большой корзинкой.

Подбежал к ней Петя Зубов и спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, бабушка, — вы не школьница?

— Что, что? — спросила старушка сурово.

— Вы не третьеклассница? — прошептал Петя робко.

А старушка как застучит на Петю ногами да как замахнётся на Петю корзинкой. Еле Петя ноги унёс. Отдышался он немного — дальше пошёл. А город уже совсем проснулся. Летят трамваи, спешат на работу люди. Грохочут грузовики — скорее, скорее надо сдать грузы в магазины, на заводы, на железную дорогу. Дворники счищают снег, посыпают панель песком, чтобы пешеходы не скользили, не падали, не теряли времени даром. Сколько раз видел всё это Петя Зубов и только теперь понял, почему так боятся люди не успеть, опоздать, отстать.

Оглядывается Петя, ищет стариков, но ни одного подходящего не находит.

Бегут по улицам старики, но сразу видно — настоящие, не третьеклассники.

Вот старик с портфелем. Наверное, учитель. Вот старик с ведром и кистью — это маляр. Вот мчится красная пожарная машина, а в машине старик — начальник пожарной охраны города. Этот, конечно, никогда в жизни не терял времени понапрасну.

Ходит Петя, бродит, а молодых стариков, старых детей, — нет как нет.

Жизнь кругом так и кипит. Один он, Петя, отстал, опоздал, не успел, ни на что не годен, никому не нужен.

Ровно в полдень зашёл Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть.

И вдруг вскочил.

Увидел он — сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плачет.

Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел.

— Подожду! — сказал он сам себе. — Посмотрю, что она дальше делать будет.

А старушка перестала вдруг плакать, сидит, ногами болтает. Потом достала из одного кармана газету, а из другого кусок ситного¹ с изюмом.

Развернула старушка газету, — Петя ахнул от радости: «Пионерская правда»! — и принялась старушка читать и есть. Изюм выковыривает, а самый ситный не трогает.

Кончила старушка читать, спрятала газету и ситный и вдруг что-то увидела в снегу. Наклонилась она и схватила мячик. Наверное, кто-нибудь из детей, игравших в сквере, потерял этот мячик в снегу.

Оглядела старушка мячик со всех сторон, обтёрла его старательно платочком, встала, подошла не спеша к дереву и давай играть в трёшки.

Бросился к ней Петя через снег, через кусты. Бежит и кричит:

— Бабушка! Честное слово, вы школьница!

Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки и отвечает:

— Верно, верно! Я ученица третьего класса Маруся Поспелова. А вы кто такой?

Рассказал Петя Марусе, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей. Искали час, другой, третий. Наконец зашли во второй двор огромного дома. И видят: за дровяным сараем прыгает старушка.

Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке, гоняет камешек.

Бросились Петя и Маруся к ней.

— Бабушка! Вы школьница?

— Школьница, — отвечает старушка. — Ученица третьего класса, Наденька Соколова. А вы кто такие?

¹ Ситный — ситный хлеб.

Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища.

Но он как сквозь землю провалился. Куда только ни заходили старики — и во дворы, и в сады, и в детские кино, и в Дом Занимательной Науки — пропал мальчик, да и только.

А время идёт. Уже стало темнеть. Уже в нижних этажах домов зажёгся свет. Кончается день. Что делать? Неужели всё пропало?

Вдруг Маруся закричала:

— Смотрите! Смотрите!

Посмотрели Петя и Наденька и вот что увидели: летит трамвай, девятый номер. А на «колбасе» висит старичок. Шапка лихо надвинута на ухо, борода развевается по ветру. Едет старик и посвистывает. Товарищи его ищут, с ног сбились, а он катается себе по всему городу и в ус не дует!

Бросились ребята за трамваем вдогонку. На их счастье, зажёгся на перекрёстке красный огонь, остановился трамвай.

Схватили ребята «колбасника» за полы, оторвали от «колбасы».

— Ты школьник? — спрашивают.

— А как же? — отвечает он. — Ученик второго класса, Зайцев Вася. А вам чего?

Рассказали ему ребята, кто они такие.

Чтобы не терять времени даром, сели они все четверо в трамвай и поехали за город к лесу.

Какие-то школьники ехали в том же трамвае. Встали они, уступают нашим старикам место.

— Садитесь, пожалуйста, дедушки, бабушки.

Смутились старики, покраснели и отказались.

А школьники, как нарочно, попались вежливые, воспитанные, просят стариков, уговаривают:

— Да садитесь же! Вы за свою долгую жизнь наработались, устали. Сидите теперь, отдыхайте.

Тут, к счастью, подошёл трамвай к лесу, соскочили наши старики — и в чащу бегом.

Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу.

Наступила ночь, тёмная, тёмная. Бродят старики по лесу, падают, спотыкаются, а дороги не находят.

— Ах, время, время! — говорит Петя. — Бежит оно, бежит. Я вчера не заметил дороги обратно к домику — боялся время потерять. А теперь вижу, что иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сбересть.

Совсем выбились из сил старички. Но, на их счастье, подул ветер, очистилось небо от туч и засияла на небе полная луна.

Влез Петя Зубов на берёзу и увидел — вон он, домик, в двух шагах белеют его стены, светятся окна среди густых ёлок.

Спустился Петя вниз и шепнул товарищам:

— Тише! Ни слова! За мной!

Поползли ребята по снегу к домику. Заглянули осторожно в окно.

Ходики показывают без пяти минут двенадцать. Волшебники лежат на сене, берегут украденное время.

— Они спят! — сказала Маруся.

— Тише! — прошептал Петя.

Тихо-тихо открыли ребята дверь и поползли к ходикам. Без одной минуты двенадцать встали они у часов. Ровно в полночь протянул Петя руку к стрелкам и — раз, два, три — закрутил их обратно, справа налево.

С криком вскочили волшебники, но не могли сдвинуться с места. Стоят и растут, растут. Вот превратились они во взрослых людей, вот седые волосы заблестели у них на висках, покрылись морщинами щёки.

— Поднимите меня, — закричал Петя. — Я делаюсь маленьким, я не достаю до стрелок! Тридцать один, тридцать два, тридцать три!

Подняли товарищи Петю на руки. На сороковом обороте стрелок волшебники стали дряхлыми, сгорбленными старичками. Всё ближе пригибало их к земле, всё ниже становились они. И вот на семьдесят седьмом и последнем обороте стрелок вскрикнули злые волшебники и пропали, как будто их не было на свете.

Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. Они снова стали детьми. С бою взяли, чудом вернули они потерянное напрасно время.

Они-то спаслись, но ты помни: человек, который напрасну теряет время, сам не замечает, как стареет.



АНДЕРСЕН ГАНС ХРИСТИАН (1805—1875)

Самое невероятное

Тот, кто сделает самое невероятное, возьмёт за себя принцессу, а за ней в приданое полкоролевства!» Как только объявили это, все молодые люди, да и старики за ними, принялись ломать себе головы, напрягать мозги, жилы и мускулы. Двое объелись, двое опились до смерти — в надежде совершить самое невероятное на свой лад, да не так взялись за дело! Уличные мальчишки вылезали из кожи, чтобы плюнуть самим себе в спину, — невероятнее этого они ничего и представить себе не могли.

Назначен был день для представления на суд всего того, что каждый считал самым невероятным. В число судей попали люди всех возрастов, от трёхлетних детей до девяностолетних старцев. Взорам судей представилась целая выставка невероятных вещей, но скоро все единогласно решили, что самой невероятной из них были большие столовые часы удивительного внутреннего и внешнего устройства. Каждый раз, как часы били, появлялись живые картины, показывавшие, который час. Таких картин было двенадцать, каждая с движущимися фигурами, пением и разговорами.

— Это самое невероятное! — говорили все.

Бил час, и показывался Моисей на горе и чертил на скрижали первую заповедь.

Било два — взорам представлялся райский сад, жилище Адама и Евы, двух счастливых, утопавших в блаженстве, хоть у них и не было ничего — даже шкафа для платья; ну, да они в нём и не нуждались!

В три часа появлялись трое царей, шедших с востока на поклонение Иисусу; один из них был чёрен, как голенщик, но не по своей вине — это солнце так наваксило его! Все трое держали в руках драгоценные дары и благовонные курения.

В четыре показывались четыре времени года: весна с только что распутившеюся буковой ветвью, на которой сидела кукушка; лето с колосом спелой ржи, к которому прицепился кузнечик; осень с пустым гнездом аиста, означавшим, что все птицы улетели, и зима со старой вороной-сказочницей, умевшей рассказывать в уголке за печкой старые предания.

Часы били пять — выходили пять чувств: зрение — в образе оптика, слух — медника, обоняние — продавщицы фиалок и дикого яминника, вкус — повара, а осязание или чувствительность — распорядителя похоронной процессии, в траурной мантии, спускавшейся до самых пят.

Било шесть — выскакивал игрок, подбрасывал кость кверху, она падала и показывала высшее очко — шесть.

Затем следовали семь дней недели или семь смертных грехов; насчёт этого шла разногласица, да и впрямь трудно было различить их.

После этого выходил хор монахов — восемь человек — и пел заутреню.

С последним ударом девяти являлись девять муз; одна занималась астрономией, другая служила в историческом архиве, а остальные посвятили себя театру.

Било десять, и опять выступал Моисей с двумя скрижалями, на которых были начертаны все десять заповедей.

Било одиннадцать, и выскакивали одиннадцать мальчиков и девочек и начинали играть в игру под названием «пробил одиннадцатый час»!

Наконец, било двенадцать, и являлся ночной сторож, в шлеме, с «утренней звездой» в руках, и пел старинную песенку ночных сторожей:

Полночь настала, Спаситель родился!

А в то время как он пел, вокруг расцветали розы и затем превращались в головки ангелочков, парящих на радужных крылышках.

Было тут что послушать, на что посмотреть! Вообще часы являлись настоящим чудом, «самым невероятным», по общему мнению.

Художник, творец часов, был человек ещё молодой, сердечный, с детски весёлой душой, добрый товарищ и примерный сын, заботившийся о своих бедных родителях. Он вполне заслуживал и руки принцессы, и полкоролевства.

День присуждения награды наступил; весь город убрался по-праздничному; сама принцесса сидела на троне; подушки его набили новым волосом, но сам он от этого не стал ни удобнее, ни покойнее. Судьи лукаво поглядывали на юношу, который должен был получить награду, а он стоял такой весёлый, бодрый, уверенный в своём счастье, — он ведь сделал самое невероятное.

— Нет, это вот я сейчас сделаю! — закричал высокий мускулистый парень. — Я совершу самое невероятное!

И он занёс над чудесными часами тяжёлый топор.

Трах! — и всё было разбито вдребезги! Колёса и пружины разлетелись по полу, всё было разрушено!

— Вот вам я! — сказал силач. — Один удар, и — я поразил и его творение, и вас всех! Я сделал самое невероятное!

— Разрушить такое чудо искусства! — толковали судьи. — Да, это самое невероятное!

Весь город повторил то же, и вот принцесса, а с нею и полкоролевства должны были достаться силачу — закон остаётся законом, как бы он ни был невероятен.

С вала, со всех башен города было оповещено о свадьбе. Сама принцесса вовсе не радовалась такому обороту дела, но была чудно хороша в подвенечном наряде. Церковь была залита огнями; венчание назначено было поздно вечером — эффектнее выходит. Знатнейшие девушки города с пением повели невесту; рыцари тоже с пением окружили жениха, а он так задира л голову, словно и знать не знал, что такое споткнуться.

Пение умолкло, настала такая тишина, что слышно было бы падение иголки на землю, и вдруг церковные двери с шумом и треском растворились, а там... Бум! Бум!.. В двери торжественно вошли чудесные часы и стали между женихом и невестой. Умершие люди не могут восстать из могилы, это мы все хорошо знаем, но произведение искусства может возродиться, и оно возродилось — вдребезги была разбита лишь внешность, форма, но идея, одухотворявшая произведение, не погибла.

Произведение искусства вновь стояло целым и невредимым, как будто рука разрушителя и не касалась его. Часы начали бить, сначала пробили час, потом два, и т. д. до двенадцати, и картина являлась за картиной. Прежде всех явился Моисей; от чела его исходил пламень; он уронил тяжёлые скрижали прямо на ноги жениха и пригвоздил его к месту.

— Поднять их снова я не могу! — сказал Моисей. — Ты обрубил мне руки. Стой же, где стоишь!

Затем явились Адам и Ева, восточные цари и четыре времени года; каждое лицо обратилось к нему со справедливым укором:

«Стыдись!»

Но он и не думал стыдиться.

Остальные фигуры и группы продолжали выступать из часов по порядку и вырастали в грозные по величине образы; казалось, что скоро в церкви не останется места для настоящих людей. Когда же, наконец, пробило двенадцать и выступил ночной сторож в шлеме и с «утренней звездой», в церкви произошло смятение: сторож прямо направился к жениху и хватил его своим жезлом по лбу.

— Лежи! — сказал он. — Мера за меру! Теперь и мы отомщены, и художник! Исчезнем!

И произведение искусства исчезло, но свечи в церкви превратились в большие светящиеся цветы; золотые звёзды, рассыпанные по потолку, засияли; орган заиграл сам собою. И все сказали, что вот это-то и есть «самое невероятное»!

— Так не угодно ли вызвать сюда настоящего виновника всего этого! — молвила принцесса. — Моим мужем и господином будет художник, творец чуда!

И он явился в церковь в сопровождении всего народа. Все радовались его счастью, не нашлось ни одного завистника! Да, вот это-то и было «самое невероятное»!



Дюймовочка

Жила-была женщина; очень ей хотелось иметь ребёнка, да где его взять? И вот она отправилась к одной старой колдунье и сказала ей:

— Мне так хочется иметь ребёночка; не скажешь ли ты, где мне его достать?

— Отчего же! — сказала колдунья. — Вот тебе ячменное зерно; это не простое зерно, не из тех, что крестьяне сеют в поле или бросают курам; посади-ка его в цветочный горшок — увидишь, что будет!

— Спасибо! — сказала женщина и дала колдунье двенадцать скиллингов¹; потом пошла домой, посадила ячменное зерно в цветочный горшок, и вдруг из него вырос большой чудесный цветок вроде тюльпана, но лепестки его были ещё плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.

— Какой славный цветок! — сказала женщина и поцеловала красивые пёстрые лепестки.

Что-то щёлкнуло, и цветок распустился. Это был точь-в-точь тюльпан, но в самой чашечке на зелёном стульчике сидела крошечная девочка. Она была такая нежная, маленькая, всего с дюйм ростом, её и прозвали Дюймовочкой.

Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была её колыбелью, голубые фиалки — матрацем, а лепесток розы — одеяльцем; в эту колыбельку её укладывали на ночь, а днём она играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водою, а на края тарелки положила венок из цветов; длинные стебли цветов купались в воде, у самого же края плавал большой лепесток тюльпана. На нём Дюймовочка могла переправляться с одной стороны тарелки на другую; вместо вёсел у неё были два белых конских волоса. Всё это было прелесть как мило! Дюймовочка умела и петь, и такого нежного, красивого голоса никто ещё не слыхивал!

Раз ночью, когда она лежала в своей колыбельке, через разбитое оконное стекло пролезла большущая жаба, мокрая, безобразная! Она вспрыгнула прямо на стол, где спала под розовым лепестком Дюймовочка.

— Вот и жена моему сынку! — сказала жаба, взяла ореховую скорлупу с девочкой и выпрыгнула через окно в сад.

Там протекала большая, широкая река; у самого берега было топко и вязко; здесь-то, в тине, и жила жаба с сы-

¹ Скиллинг — денежная единица, ходившая в Дании, Швеции, Норвегии и Исландии.

ном. У! Какой он был тоже гадкий, противный! Точь-в-точь мамаша.

— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — только и мог он сказать, когда увидел прелестную крошку в ореховой скорлупке.

— Тише ты! Она ещё проснётся, пожалуй, да убежит от нас, — сказала старуха жаба. — Она ведь легче лебедино-го пуха! Высадим-ка её посередине реки на широкий лист кувшинки — это ведь целый остров для такой крошки, от-туда она не сбежит, а мы пока приберём там, внизу, наше гнёздышко. Вам ведь в нём жить да поживать.

В реке росло множество кувшинок; их широкие зелёные листья плавали по поверхности воды. Самый большой лист был дальше всего от берега; к этому-то листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу с девочкой.

Бедная крошка проснулась рано утром, увидала, куда она попала, и горько заплакала: со всех сторон была вода, и ей никак нельзя было перебраться на сушу!

А старая жаба сидела внизу, в тине, и убирала своё жилище тростником и жёлтыми кувшинками — надо же было приукрасить всё для молодой невестки! Потом она поплыла со своим безобразным сынком к листу, где сидела Дюймовочка, чтобы взять прежде всего её хорошенькую кроватку и поставить в спальне невесты. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала:

— Вот мой сынок, твой будущий муж! Вы славно заживёте с ним у нас в тине.

— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — только и мог сказать сынок.

Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней, а девочка осталась одна-одинёшенька на зелёном листе и горько-горько плакала, — ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выйти замуж за её противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, верно, видели жабу с сынком и слышали, что она говорила, потому

что все повысунули из воды головки, чтобы поглядеть на крошку невесту. А как они увидели её, им стало ужасно жалко, что такой миленькой девочке приходится идти жить к старой жабе в тину. Не бывать же этому! Рыбки столпились внизу, у стебля, на котором держался лист, и живо перегрызли его своими зубами; листок с девочкой поплыл по течению, дальше, дальше... Теперь уж жабе ни за что было не догнать крошку!

Дюймовочка плыла мимо разных прелестных местечек, и маленькие птички, которые сидели в кустах, увидав её, пели:

— Какая хорошенькая девочка!

А листок всё плыл да плыл, и вот Дюймовочка попала за границу.

Красивый белый мотылёк всё время порхал вокруг неё и наконец уселся на листок — уж очень ему понравилась Дюймовочка! А она ужасно радовалась: гадкая жаба не могла теперь догнать её, а вокруг всё было так красиво! Солнце так и горело золотом на воде! Дюймовочка сняла с себя пояс, одним концом обвязала мотылька, а другой привязала к своему листку, и листок поплыл ещё быстрее.

Мимо летел майский жук, увидал девочку, обхватил её за тонкую талию лапкой и унёс на дерево, а зелёный листок поплыл дальше, и с ним мотылёк — он ведь был привязан и не мог освободиться.

Ах, как перепугалась бедняжка, когда жук схватил её и полетел с ней на дерево! Особенно ей жаль было хорошенького мотылёчка, которого она привязала к листку: ему придётся теперь умереть с голоду, если не удастся освободиться. Но майскому жуку и горя было мало.

Он уселся с крошкой на самый большой зелёный лист, покормил её сладким цветочным соком и сказал, что она прелесть какая хорошенькая, хоть и совсем непохожа на майского жука.

Потом к ним пришли с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они оглядывали девочку с головы до ног, и жучки-барышни шевелили усиками и говорили:

— У неё только две ножки! Жалко смотреть!

— Какая у неё тонкая талия! Фи! Она совсем как человек! Как некрасиво! — сказали в один голос все жуки женского пола.

Дюймовочка была премиленькая! Майскому жуку, который принёс её, она тоже очень понравилась сначала, а тут вдруг и он нашёл, что она безобразна, и не захотел больше держать её у себя — пусть идёт куда хочет. Он слетел с неё с дерева и посадил её на ромашку. Тут девочка принялась плакать о том, что она такая безобразная: даже майские жуки не захотели держать её у себя! А на самом деле она была прелестнейшим созданием: нежная, ясная, точно лепесток розы.

Целое лето прожила Дюймовочка одна-одинёшенька в лесу. Она сплела себе колыбельку и подвесила её под большой лопушиный лист — там дождик не мог достать её. Ела крошка сладкую цветочную пыльцу, а пила росу, которую каждое утро находила на листочках. Так прошли лето и осень; но вот дело пошло к зиме, длинной и холодной. Все певуны птички разлетелись, кусты и цветы увяли, большой лопушиный лист, под которым жила Дюймовочка, пожелтел, весь засох и свернулся в трубочку. Сама крошка мёрзла от холода: платьице её всё разорвалось, а она была такая маленькая, нежная — замерзай, да и всё тут! Пошёл снег, и каждая снежинка была для неё то же, что для нас целая лопата снега; мы ведь большие, а она была всего-то с дюйм! Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и бедняжка сама дрожала как лист.

Возле леса, куда она попала, лежало большое поле; хлеб давно был убран, одни голые, сухие стебельки торчали из мёрзлой земли; для Дюймовочки это был целый лес.

Ух! Как она дрожала от холода! И вот пришла бедняжка к дверям полевой мыши; дверью была маленькая дырочка, прикрытая сухими стебельками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве: все амбары были битком набиты хлебными зёрнами; кухня и кладовая ломились от припасов! Дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек ячменного зерна — она два дня ничего не ела!

— Ах ты бедняжка! — сказала полевая мышь: она была, в сущности, добрая старуха. — Ступай сюда, погрейся да поешь со мною!

Девочка понравилась мыши, и мышь сказала:

— Ты можешь жить у меня всю зиму, только убирай хорошенько мои комнаты да рассказывай мне сказки — я до них большая охотница.

И Дюймовочка стала делать всё, что приказывала ей мышь, и зажила отлично.

— Скоро, пожалуй, у нас будут гости, — сказала как-то полевая мышь. — Мой сосед обычно навещает меня раз в неделю. Он живёт ещё куда лучше меня: у него огромные залы, а ходит он в чудесной бархатной шубке. Вот если бы тебе удалось выйти за него замуж! Ты бы зажила на славу! Беда только, что он слеп и не может видеть тебя; но ты расскажи ему самые лучшие сказки, какие только знаешь.

Но девочке мало было дела до всего этого: ей вовсе не хотелось выйти замуж за соседа — ведь это был крот. Он в самом деле скоро пришёл в гости к полевой мыши. Правда, он носил чёрную бархатную шубку, был очень богат и учён; по словам полевой мыши, помещение у него было раз в двадцать просторнее, чем у неё, но он совсем не любил ни солнца, ни прекрасных цветов и отзывался о них очень дурно — он ведь никогда не видел их. Девочке пришлось петь, и она спела две песенки: «Майский жук, лети, лети» и «Бродит по лугам монах», да так мило, что

крот прямо-таки в неё влюбился. Но он не сказал ни слова — он был такой степенный и солидный господин.

Крот недавно прорыл под землёй длинную галерею от своего жилья к дверям полевой мыши и позволил мыши и девочке гулять по этой галерее сколько угодно. Крот просил только не пугаться мёртвой птицы, которая лежала там. Это была настоящая птица, с перьями, с клювом; она, должно быть, умерла недавно, в начале зимы, и была зарыта в землю как раз там, где крот прорыл свою галерею.

Крот взял в рот гнилушку — в темноте это ведь всё равно, что свечка, — и пошёл вперёд, освещая длинную тёмную галерею. Когда они дошли до места, где лежала мёртвая птица, крот проткнул своим широким носом в земляном потолке дыру, и в галерею пробился дневной свет. В самой середине галереи лежала мёртвая ласточка; хорошенькие крылья были крепко прижаты к телу, лапки и головка спрятаны в пёрышки; бедная птичка, верно, умерла от холода. Девочке стало ужасно жаль её, она очень любила этих милых птичек, которые целое лето так чудесно пели ей песенки, но крот толкнул птичку своей короткой лапой и сказал:

— Небось не свистит больше! Вот горькая участь родиться пичужкой! Слава богу, что моим детям нечего бояться этого! Этакая птичка только и умеет чирикать — поневоле замёрзнешь зимой!

— Да, да, правда ваша, умные слова приятно слышать, — сказала полевая мышь. — Какой прок от этого чириканья? Что оно приносит птице? Холод и голод зимой? Много, нечего сказать!

Дюймовочка не сказала ничего, но когда крот с мышью повернулись к птице спиной, нагнулась к ней, раздвинула пёрышки и поцеловала её прямо в закрытые глазки. «Может быть, это та самая, которая так чудесно распевала летом! — подумала девочка. — Сколько радости доставила ты мне, милая, хорошая птичка!»

Крот опять заткнул дыру в потолке и проводил дам обратно. Но девочке не спалось ночью. Она встала с постели, сплела из сухих былинки большой славный ковёр, снесла его в галерею и завернула в него мёртвую птичку; потом отыскала у полевой мыши пуху и обложила им всю ласточку, чтобы ей было потеплее лежать на холодной земле.

— Прощай, миленькая птичка, — сказала Дюймовочка. — Прощай! Спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда все деревья были такие зелёные, а солнышко так славно грело!

И она склонила голову на грудь птички, но вдруг испугалась — внутри что-то застучало. Это забилося сердечко птицы: она не умерла, а только окоченела от холода, теперь же согрелась и ожила.

Осенью ласточки улетают в тёплые края, а если которая запоздает, то от холода окоченеет, упадёт замертво на землю, и её засыплет холодным снегом.

Девочка вся задрожала от испуга — птица ведь была в сравнении с крошкой просто великаном, — но всё-таки собралась с духом, ещё больше закутала ласточку, потом сбегала принесла листок мяты, которым закрывалась вместо одеяла сама, и покрыла им голову птички.

На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птичка совсем уже ожила, только была ещё очень слаба и еле-еле открывала глаза, чтобы посмотреть на девочку, которая стояла перед нею с кусочком гнилушки в руках, — другого фонаря у неё не было.

— Благодарю тебя, милая крошка! — сказала больная ласточка. — Я так славно согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко.

— Ах, — сказала девочка, — теперь так холодно, идёт снег! Останься лучше в своей тёплой постельке, я буду ухаживать за тобой.

И Дюймовочка принесла птичке воды в цветочном лепестке. Ласточка попила и рассказала девочке, как поранила себе крыло о терновый куст и поэтому не смогла улететь вместе с другими ласточками в тёплые края. Как упала на землю и... да больше она уж ничего не помнила и как попала сюда — не знала.

Всю зиму прожила тут ласточка, и Дюймовочка ухаживала за ней. Ни крот, ни полевая мышь ничего не знали об этом — они ведь совсем не любили птичек.

Когда настала весна и пригрело солнышко, ласточка распрощалась с девочкой, и Дюймовочка ототкнула дыру, которую проделал крот.

Солнце так славно грело, и ласточка спросила, не хочет ли девочка отправиться вместе с ней, — пускай сядет к ней на спину, и они полетят в зелёный лес! Но Дюймовочка не захотела бросить полевую мышь — она ведь знала, что старуха очень огорчится.

— Нет, нельзя! — сказала девочка ласточке.

— Прощай, прощай, милая добрая крошка! — сказала ласточка и вылетела на солнышко.

Дюймовочка посмотрела ей вслед, и у неё даже слёзы навернулись на глазах, — уж очень полюбила её бедная птичка.

— Кви-вить, кви-вить! — прощобетала птичка и скрылась в зелёном лесу.

Девочке было очень грустно. Ей совсем не позволяли выходить на солнышко, а хлебное поле так всё заросло высокими толстыми колосьями, что стало для бедной крошки дремучим лесом.

— Летом тебе придётся готовить себе приданое! — сказала ей полевая мышь. Оказалось, что скучный сосед в бархатной шубе посватался за девочку.

— Надо, чтобы у тебя всего было вдоволь, а там выйдешь замуж за крота и подавно ни в чём нуждаться не будешь!

И девочке пришлось прясть по целым дням, а старуха мышь наняла четырёх пауков для тканья, и они работали день и ночь.

Каждый вечер крот приходил к полевой мыши в гости и всё только и болтал о том, что вот скоро лету будет конец, солнце перестанет так палить землю, — а то она совсем уж как камень стала, — и тогда они сыграют свадьбу. Но девочка была совсем не рада: ей не нравился скучный крот. Каждое утро на восходе солнышка и каждый вечер на закате Дюймовочка выходила на порог мышиной норки; иногда ветер раздвигал верхушки колосьев, и ей удавалось увидеть кусочек голубого неба. «Как светло, как хорошо там, на воле!» — думала девочка и вспоминала о ласточке; ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточки нигде не было видно: должно быть, она летала там, далеко-далеко, в зелёном лесу!

К осени Дюймовочка приготовила всё своё приданое.

— Через месяц твоя свадьба! — сказала девочке полевая мышь.

Но крошка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота.

— Пустяки! — сказала старуха мышь. — Только не капризничай, а то я укушу тебя — видишь, какой у меня белый зуб? У тебя будет чудеснейший муж. У самой королевы нет такой бархатной шубки, как у него! Да и в кухне и в погребе у него не пусто! Благодарите бога за такого мужа!

Наступил день свадьбы. Крот пришёл за девочкой. Теперь ей приходилось идти за ним в его нору, жить там, глубоко-глубоко под землёй, и никогда не выходить на солнце — крот ведь терпеть его не мог! А бедной крошке было так тяжело навсегда распрощаться с красным солнышком! У полевой мыши она всё-таки могла хоть изредка любоваться на него.

И Дюймовочка вышла взглянуть на солнце в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и из земли опять торча-

ли одни голые, засохшие стебли. Девочка отошла от дверей подальше и протянула к солнцу руки:

— Прощай, ясное солнышко, прощай!

Потом она обняла ручонками маленький красный цветок, который рос тут, и сказала ему:

— Кланяйся от меня милой ласточке, если увидишь её!

— Кви-вить, кви-вить! — вдруг раздалось над её головой.

Дюймовочка подняла глаза и увидела ласточку, которая пролетала мимо. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась, а девочка заплакала и рассказала ласточке, как ей не хочется выходить замуж за противного крота и жить с ним глубоко под землёй, куда никогда не заглянет солнышко.

— Скоро придёт холодная зима, — сказала ласточка, — и я улетаю далеко-далеко, в тёплые края. Хочешь лететь со мной? Ты можешь сесть ко мне на спину — только привяжи себя покрепче поясом, — и мы улетим с тобой далеко от гадкого крота, далеко за синие моря, в тёплые края, где солнышко светит ярче, где всегда лето и цветут чудные цветы! Полетим со мной, милая крошка! Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в тёмной, холодной яме.

— Да, да, я полечу с тобой! — сказала Дюймовочка, села птичке на спину, упёрлась ножками в её распростёртые крылья и крепко привязала себя поясом к самому большому перу.

Ласточка взвилась стрелой и полетела над тёмными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было страсть как холодно; Дюймовочка вся зарылась в тёплые перья ласточки и только головку высунула, чтобы любоваться всеми прелестями, которые встречались в пути.

Но вот и тёплые края! Тут солнце сияло уже гораздо ярче, а около канав и изгородей рос зелёный и чёрный виноград. В лесах зрели лимоны и апельсины, пахло миртами и душистой мятой, а по дорожкам бегали прелестные

ребятишки и ловили больших пёстрых бабочек. Но ласточка летела всё дальше и дальше, и чем дальше, тем было всё лучше. На берегу красивого голубого озера, посреди зелёных кудрявых деревьев, стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились ласточкины гнёзда. В одном из них и жила ласточка, что принесла Дюймовочку.

— Вот мой дом! — сказала ласточка. — А ты выбери себе внизу какой-нибудь красивый цветок, я тебя посажу в него, и ты чудесно заживёшь!

— Вот было бы хорошо! — сказала крошка и захлопала в ладоши.

Внизу лежали большие куски мрамора — это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три куска, между ними росли крупные белые цветы. Ласточка спустилась и посадила девочку на один из широких лепестков. Но вот диво! В самой чашечке цветка сидел маленький человечек, беленький и прозрачный, точно хрустальный. На голове у него сияла прелестная золотая корона, за плечами развевались блестящие крылышки, а сам он был не больше Дюймовочки.

Это был эльф. В каждом цветке живёт эльф, мальчик или девочка, а тот, который сидел рядом с Дюймовочкой, был сам король эльфов.

— Ах, как он хорош! — шепнула Дюймовочка ласточке.

Маленький король совсем перепугался при виде ласточки. Он был такой крошечный, нежный, и она показалась ему просто чудовищем. Зато он очень обрадовался, увидав нашу крошку, — он никогда ещё не видывал такой хорошенькой девочки! И он снял свою золотую корону, надел её Дюймовочке на голову и спросил, как её зовут и хочет ли она быть его женой, королевой эльфов и царицей цветов? Вот это так муж! Не то что сын жабы или крот в бархатной шубе! И девочка согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльфы — мальчики и девочки — такие хо-

рошенькие, что просто прелесть! Все они поднесли Дюймовочке подарки. Самым лучшим была пара прозрачных стрекозиных крылышек. Их прикрепили к спинке девочки, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок! Вот-то была радость! А ласточка сидела наверху, в своём гнёздышке, и пела им, как только умела. Но самой ей было очень грустно: она крепко полюбила девочку и хотела бы век не расставаться с ней.

— Тебя больше не будут звать Дюймовочкой! — сказал эльф. — Это некрасивое имя. А ты такая хорошенькая! Мы будем звать тебя Майей!

— Прощай, прощай! — прощбетала ласточка и опять полетела из тёплых краёв далеко, далеко — в Данию. Там у неё было маленькое гнездо, как раз над окном человека, большого мастера рассказывать сказки. Ему-то она и спела своё «кви-вить», а потом и мы узнали эту историю.



Стойкий оловянный солдатик

Было когда-то двадцать пять оловянных солдатиков, родных братьев по матери — старой оловянной ложке, ружьё на плече, голова прямо, красный с синим мундир — ну, прелесть что за солдаты! Первые слова, которые они услышали, когда открыли их домик-коробку, были: «Ах, оловянные солдатики!» Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. И он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который был с одной ногой. Его отливали последним, и олова немножко не хватило, но он стоял на своей ноге так же твёрдо, как другие на двух; и он-то как раз и оказался самым замечательным из всех.

На столе, где очутились солдатики, было много разных игрушек, но больше всего бросался в глаза дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было видеть дворцовые покои; перед самым дворцом, вокруг маленького зеркальца, которое изображало озеро, стояли деревца, а по озеру плавали и любовались своим отражением восковые лебеди. Всё это было чудо как мило, но милее всего была барышня, стоявшая на самом пороге дворца. Она тоже была вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста; через плечо у неё шла узенькая голубая ленточка в виде шарфа, а на груди сверкала розетка величиною с лицо самой барышни. Барышня стояла на одной ножке, вытянув руки, — она была танцовщицей, — а другую ногу подняла так высоко, что наш солдатик её и не увидел, и подумал, что красавица тоже одноногая, как он.

«Вот бы мне такую жену! — подумал он. — Только она, как видно, из знатных, живёт во дворце, а у меня только и есть, что коробка, да и то в ней нас набито двадцать пять штук, ей там не место! Но познакомиться всё же не мешает».

И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе; отсюда ему отлично было видно прелестную танцовщицу, которая всё стояла на одной ноге, не теряя равновесия.

Поздно вечером всех других оловянных солдатиков уложили в коробку, и все люди в доме легли спать. Теперь игрушки сами стали играть в гости, в войну и в бал. Оловянные солдатики принялись стучать в стенки коробки — они тоже хотели играть, да не могли приподнять крышки. Щелкунчик кувыркался, грифель писал по доске; поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да ещё стихами! Не трогались с места только танцовщица и оловянный солдатик: она по-прежнему держалась на вытянутом носке, простирая руки вперёд, он бодро стоял и не сводил с неё глаз.

Пробило двенадцать. Щёлк! — табакерка раскрылась.

Там не было табаку, а сидел маленький чёрный тролль; табакерка-то была с фокусом!

— Оловянный солдатик, — сказал тролль, — нечего тебе заглядываться!

Оловянный солдатик будто и не слышал.

— Ну постой же! — сказал тролль.

Утром дети встали, и оловянного солдатика поставили на окно.

Вдруг — по милости ли тролля или от сквозняка — окно распахнулось, и наш солдатик полетел головой вниз с третьего этажа, — только в ушах засвистело! Минута — и он уже стоял на мостовой кверху ногой: голова его в каске и ружьё застряли между камнями мостовой.

Мальчик и служанка сейчас же выбежали на поиски, но сколько ни старались, найти солдатика не могли; они чуть не наступали на него ногами и всё-таки не замечали его. Закричи он им: «Я тут!» — они, конечно, сейчас же нашли бы его, но он считал неприличным кричать на улице, он ведь носил мундир!

Начал накрапывать дождик; сильнее, сильнее, наконец хлынул ливень. Когда опять прояснилось, пришли двое уличных мальчишек.

— Гляди! — сказал один. — Вон оловянный солдатик! Отправим его в плавание!

И они сделали из газетной бумаги лодочку, посадили туда оловянного солдатика и пустили в канавку. Сами мальчишки бежали рядом и хлопали в ладошки. Ну и ну! Вот так волны ходили по канавке! Течение так и несло, — немудрено после такого ливня!

Лодочку бросало и вертело во все стороны, так что оловянный солдатик весь дрожал, но он держался стойко: ружьё на плече, голова прямо, грудь вперёд!

Лодку понесло под длинные мостки: стало так темно, точно солдатик опять попал в коробку.

«Куда меня несёт? — думал он. — Да, это всё шутки гадкого тролля! Ах, если бы со мною в лодке сидела та красавица — по мне, будь хоть вдвое темнее!»

В эту минуту из-под мостков выскочила большая крыса. — Паспорт есть? — спросила она. — Давай паспорт!

Но оловянный солдатик молчал и ещё крепче сжимал ружьё. Лодку несло, а крыса плыла за ней вдогонку. У! Как она скрежетала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:

— Держи, держи его! Он не внёс пошлины, не показал паспорта!

Но течение несло лодку всё быстрее и быстрее, и оловянный солдатик уже увидел впереди свет, как вдруг услышал такой страшный шум, что струсил бы любой храбрец. Представьте себе, у конца мостика вода из канавки устремилась в большой канал! Это было для солдатика так же страшно, как для нас нестись на лодке к большому водопаду.

Но солдатика несло всё дальше, остановиться было нельзя. Лодка с солдатиком скользнула вниз; бедняга держался по-прежнему стойко и даже глазом не моргнул. Лодка завертелась... Раз, два — наполнилась водой до краёв и стала тонуть. Оловянный солдатик очутился по горло в воде; дальше больше... вода покрыла его с головой! Тут он подумал о своей красавице: не видать ему больше. В ушах у него звучало:

Вперёд стремись, о воин,
И смерть спокойно встретить!

Бумага разорвалась, и оловянный солдатик пошёл было ко дну, но в ту же минуту его проглотила рыба. Какая темнота! Хуже, чем под мостками, да ещё страх как тесно! Но оловянный солдатик держался стойко и лежал, вытянувшись во всю длину, крепко прижимая к себе ружьё.

Рыба металась туда и сюда, выделявала самые удивительные скачки, но вдруг замерла, точно в неё ударила молния. Блеснул свет и кто-то закричал: «Оловянный солдатик!» Дело в том, что рыбу поймали, свезли на рынок, потом она попала на кухню, и кухарка распоролла ей брюхо большим ножом. Кухарка взяла оловянного солдатика двумя пальцами за талию и понесла в комнату, куда сбежались посмотреть на замечательного путешественника все домашние. Но оловянный солдатик ничуть не загордился. Его поставили на стол, и — чего-чего не бывает на свете! — он оказался в той же комнате, увидел тех же детей, те же игрушки и чудесный дворец с прелестной маленькой танцовщицей. Она по-прежнему стояла на одной ножке, высоко подняв другую. Вот так стойкость! Оловянный солдатик был тронут и чуть не заплакал оловом, но это было бы неприлично, и он удержался. Он смотрел на неё, она на него, но они не обмолвились ни словом.

Вдруг один из мальчиков схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверно, это всё тролль подстроил! Оловянный солдатик стоял охваченный пламенем: ему было ужасно жарко, от огня или любви — он и сам не знал. Краски с него совсем слезли, он весь полинял; кто знает от чего — от дороги или от горя? Он смотрел на танцовщицу, она на него, и он чувствовал, что тает, но ещё держался стойко, с ружьём на плече. Вдруг дверь в комнате распахнулась, ветер подхватил танцовщицу, и она, как сильфида¹, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику, вспыхнула разом и — конец! А оловянный солдатик растаял и сплавился в комочек. На другой день горничная выгребала из печки золу и нашла маленькое оловянное сердечко; от танцовщицы же осталась одна розетка, да и та вся обгорела и почернела, как уголь.

¹ Сильфида — в средневековых поверьях дух воздуха.

Пятеро из одного стручка

В стручке сидело пять горошин; сами они были зелёные, стручок тоже зелёный, ну, они и думали, что и весь мир зелёный; так и должно было быть!

Стручок рос, росли и горошины; они приноравливались к помещению и сидели все в ряд. Солнышко освещало и пригревало стручок, дождик поливал его, и он делался всё чище, прозрачнее; горошинам было хорошо и уютно, светло днём и темно ночью, как и следует. Они всё росли да росли и всё больше и больше думали, сидя в стручке, — что-нибудь да надо же было делать!

— Век, что ли, сидеть нам тут? — говорили они. — Как бы нам не зачерстветь от такого сидения!.. А сдаётся нам, есть что-то и за нашим стручком! Уж такое у нас предчувствие!

Прошло несколько недель; горошины пожелтели, стручок тоже пожелтел.

— Весь мир желтеет! — сказали они, и кто ж бы им помешал говорить так?

Вдруг они почувствовали сильный толчок: стручок был сорван человеческой рукой и сунут в карман, к другим стручкам.

— Ну, вот теперь скоро нас выпустят на волю! — сказали горошины и стали ждать.

— А хотелось бы мне знать, кто из нас пойдёт дальше всех! — сказала самая маленькая. — Впрочем, скоро увидим!

— Будь что будет! — сказала самая большая.

— Крак! — стручок лопнул, и все пять горошин выкатились на яркое солнце.

Они лежали на детской ладони; маленький мальчик разглядывал их и говорил, что они как раз пригодятся ему для стрельбы из бузинной трубочки. И вот одна горошина уже очутилась в трубочке, мальчик дунул, и она вылетела.

— Лечу, лечу, куда хочу! Лови, кто может! — закричала она, и след её простыл.

— А я полечу прямо на солнце; вот настоящий-то стручок! Как раз по мне! — сказала другая. Простыл и её след.

— А мы куда придём, там и заснём! — сказали две следующие. — Но мы-таки до чего-нибудь докатимся! — Они и правда прокатились по полу, прежде чем попасть в бузинную трубочку, но всё-таки попали в неё. — Мы дальше всех пойдём!

— Будь что будет! — сказала последняя, взлетела кверху, попала на старую деревянную крышу и закатилась в щель как раз под окошком чердачной каморки.

В щели был мох и рыхлая земля, мох укрыл горошину; так она и осталась там, скрытая, но не забытая господом богом.

— Будь что будет! — говорила она.

А в каморке жила бедная женщина. Она ходила на подённую работу: чистила печи, пилила дрова — словом, исполняла всякую тяжёлую работу; сил у неё было довольно, охоты работать тоже не занимать стать, но из нужды она всё-таки не выбивалась!

Дома оставалась у неё её единственная дочка, подросток. Она была такая худенькая, тщедушная; целый год уж лежала в постели: не жила и не умирала.

— Она уйдёт к сестрёнке, — говорила мать. — У меня ведь их две было. Тяжеленько было мне кормить двоих; ну, вот господь бог и поделил со мною заботу, взял одну к себе! Другую-то мне хотелось бы сохранить, да он, видно, не хочет разлучать сестёр!

Но больная девочка всё не умирала; терпеливо, смиренно лежала она день-деньской в постели, пока мать была на работе.

Дело было весной, рано утром, перед самым уходом матери на работу. Солнышко светило через маленькое окошечко прямо на пол, и больная девочка посмотрела в оконце.

— Что это там зеленеет за окном? Так и колыхается от ветра!

Мать подошла к окну и приотворила его.

— Ишь ты! — сказала она. — Да это горошинка пусти-ла ростки! И как она пошла сюда в щель? Ну, вот у тебя теперь будет свой садик!

Придвинув кроватку поближе к окну, чтобы девочка могла полюбоваться зелёным ростком, мать ушла на работу.

— Мама, я думаю, что поправлюсь! — сказала девочка вечером. — Солнышко сегодня так пригрело меня. Горошинка, видишь, как славно растёт на солнышке? Я тоже поправлюсь, начну вставать и выйду на солнышко.

— Дай-то бог! — сказала мать, но не верила, что это сбудется.

Однако она подпёрла зелёный росток, подбодривший девочку, небольшою палочкой, чтобы он не сломался от ветра; потом взяла тоненькую верёвочку и один конец её прикрепила к крыше, а другой привязала к верхнему краю оконной рамы. За эту верёвочку побеги горошины могли цепляться, когда станут подрастать. Так и вышло: побеги заметно росли и ползли вверх по верёвочке.

— Смотри-ка, да она скоро зацветёт! — сказала женщина однажды утром и с этой минуты тоже стала надеяться и верить, что больная девочка её поправится.

Ей припомнилось, что девочка в последнее время говорила как будто живее, по утрам сама приподнималась на постели и долго сидела, любуясь своим садиком, где ро-

сла одна-единственная горошина, а как блестели при этом её глазки! Через неделю больная в первый раз встала с постели на целый час. Как счастлива она была посидеть на солнышке! Окошко было отворено, а за окном покачивался распутившийся бело-розовый цветок. Девочка высунулась в окошко и нежно поцеловала тонкие лепестки. День этот был для неё настоящим праздником.

— Господь сам посадил и взрастил цветочек, чтобы ободрить и порадовать тебя, милое дитяtko, да и меня тоже! — сказала счастливая мать и улыбнулась цветочку, как ангелу небесному.

Ну, а другие-то горошины? Та, что летела, куда хотела, — лови, дескать, кто может, — попала в водосточный жёлоб, а оттуда в голубиный зоб и лежала там, как Иона во чреве кита. Две ленивицы ушли не дальше — их тоже проглотили голуби, значит, и они принесли немалую пользу. А четвёртая, что собиралась залететь на солнце, упала в канаву и пролежала несколько недель в затхлой воде, пока не разбухла.

— Как я славно раздобрела! — говорила горошина. — Право, я скоро лопну, а уж большего, я думаю, не сумела достичь ни одна горошина. Я самая замечательная из всех пяти!

Канавка была с нею вполне согласна.

А у окна, выходящего на крышу, стояла девочка с сияющими глазами, румяная и здоровая; она сложила руки и благодарила бога за цветочек гороха.

— А я всё-таки стою за мою горошину! — сказала канавка.



Штопальная игла

Жила-была штопальная игла; она считала себя такой тонкой, что воображала, будто она швейная иголка.

— Смотрите, смотрите, что вы держите! — сказала она пальцам, когда они вынимали её. — Не уроните меня! Упаду на пол — чего доброго, затеряюсь: я слишком тонка!

— Будто уж! — ответили пальцы и крепко обхватили её за талию.

— Вот видите, я иду с целой свитой! — сказала штопальная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка.

— Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю, — кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру.

— Фу, какая чёрная работа! — сказала штопальная игла. — Я не выдержу! Я сломаюсь!

И вправду сломалась.

— Ну вот, я же говорила, — сказала она. — Я слишком тонка!

«Теперь она никуда не годится», — подумали пальцы, но им всё-таки пришлось крепко держать её: кухарка нажала на сломанный конец иглы сургуч и потом заколола ею косынку.

— Вот теперь я — брошка! — сказала штопальная игла. — Я знала, что буду в чести: в ком есть толк, из того всегда выйдет что-нибудь путное.

И она засмеялась про себя, — ведь никто не видал, чтобы штопальные иглы смеялись громко, — она сидела в косынке, словно в карете, и поглядывала по сторонам.

— Позвольте спросить, вы из золота? — обратилась она к соседке-булавке. — Вы очень милы, и у вас собственная головка... Только маленькая! Постарайтесь её отрастить, — не всякому ведь достаётся сургучная головка!

При этом штопальная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в раковину, куда кухарка как раз выливала помои.

— Отправляюсь в плавание! — сказала штопальная игла. — Только бы мне не затеряться!

Но она затерялась.

— Я слишком тонка, я не создана для этого мира! — сказала она, лёжа в уличной канаве. — Но я знаю себе цену, а это всегда приятно.

И штопальная игла тянулась в струнку, не теряя хорошего расположения духа.

Над ней проплывала всякая всячина: щепки, соломинки, клочки газетной бумаги...

— Ишь, как плывут! — говорила штопальная игла. — Они понятия не имеют о том, кто скрывается тут под ними. — Это я тут скрываюсь! Я тут сижу! Вон плывёт щепка: у неё только и мыслей, что о щепках. Ну, щепкой она век и останется! Вот соломинка несётся... Вертится-то, вертится-то как! Не задирай так носа! Смотри, как бы не наткнуться на камни! А вон газетный обрывок плывёт. Давно уж забыть успели, что на нём напечатано, а он, гляди, как развернулся!.. Я лежу тихо, смирно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут!

Раз возле неё что-то заблестело, и штопальная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопальная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его:

— Вы, должно быть, бриллиант?

— Да, нечто в этом роде.

И оба думали друг про друга и про самих себя, что они настоящие драгоценности, и говорили между собой о невежественности и надменности света.

— Да, я жила в коробке у одной девицы, — рассказывала штопальная игла. — Девица эта была кухаркой. У неё на каждой руке было по пяти пальцев, и вы представить

себе не можете, до чего доходило их чванство! А ведь занятие у них было только одно — вынимать меня и класть обратно в коробку!

— А они блестели? — спросил бутылочный осколок.

— Блестели? — отвечала штопальная игла. — Нет, блеску в них не было, зато сколько высокомерия!.. Их было пять братьев, все — урождённые «пальцы»; они всегда стояли в ряд, хоть и были различной величины. Крайний — Толстяк, — впрочем, отстоял от других, он был толстый коротышка, и спина у него гнулась только в одном месте, так что он мог кланяться только раз; зато он говорил, что если его отрубят, то человек не годится больше для военной службы. Второй — Лакомка — тыкал нос всюду: и в сладкое, и в кислое, тыкал и в солнце, и в луну; он же нажимал перо, когда надо было писать. Следующий — Долговязый — смотрел на всех свысока. Четвёртый — Златоперст — носил вокруг пояса золотое кольцо, и, наконец, самый маленький — Пер — музыкант — ничего не делает и очень этим гордился. Да, они только и знали, что хвастаться, и вот — я бросилась в раковину.

— А теперь мы сидим и блестим! — сказал бутылочный осколок.

В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок.

— Он продвинулся! — вздохнула штопальная игла. — А я осталась лежать! Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость!

И она лежала, вытянувшись в струнку, и передумала много дум.

— Я просто готова думать, что родилась от солнечного луча, — так я тонка! Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой! Ах, я так тонка, что даже отец мой солнце не может меня найти! Не лопни тогда мой глазок, я бы, кажется, заплакала! Впрочем, нет, плакать неприлично!

Однажды пришли уличные мальчишки и стали копать-ся в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища. Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие!

— Ай! — закричал вдруг один из них; он укололся о штопальную иглу. — Смотри, какая штука!

— Чёрное на белом фоне очень красиво! — сказала штопальная игла. — Теперь меня хорошо видно! Только бы не поддаться морской болезни, этого я не выдержу: я такая хрупкая!

Но она не поддалась морской болезни — выдержала.

— Я не штука, а барышня! — заявила штопальная игла, но её никто не расслышал. Сургуч с неё сошёл, и она вся почернела, но в чёрном всегда выглядишь стройнее, и игла воображала, что стала ещё тоньше прежнего.

— Вон плывёт яичная скорлупа! — закричали мальчишки, взяли штопальную иглу и воткнули в скорлупу.

— Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок, и всегда помнить, что ты не то что простые смертные! Теперь я совсем оправилась. Чем ты благороднее, тем больше можешь перенести!

— Крак! — сказала яичная скорлупа: её переехала ломовая телега.

— Ух, как давит! — завопила штопальная игла. — Сейчас меня стошнит! Не выдержу! Сломаюсь!

Но она выдержала, хотя её и переехала ломовая телега; она лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину, — ну и пусть себе лежит!



Свинопас

Жил-был бедный принц. Королевство у него было маленькое-премаленькое, но жениться всё-таки было можно, а жениться-то принцу хотелось.

Разумеется, с его стороны было несколько смело спросить дочь императора: «Пойдёшь за меня?» Впрочем, он носил славное имя и знал, что сотни принцесс с благодарностью ответили бы на его предложение согласием. Да вот, ждите-ка этого от императорской дочки! Послушаем же, как было дело.

На могиле у отца принца вырос розовый куст несказанной красоты; цвёл он только раз в пять лет, и распускалась на нём всего одна-единственная роза. Зато она разливала такой сладкий аромат, что, впивая его, можно было забыть все свои горести и заботы.

Ещё был у принца соловей, который пел так дивно, словно у него в горлышке были собраны все чудеснейшие мелодии, какие только есть на свете. И роза и соловей предназначены были в дар принцессе; их положили в большие серебряные ларцы и отослали к ней.

Император велел принести ларцы прямо в большую залу, где принцесса играла со своими фрейлинами в гости; других занятий у неё не было. Увидав большие ларцы с подарками, принцесса захлопала от радости в ладоши.

— Ах, если бы тут была маленькая киска! — сказала она.

Но появилась прелестная роза.

— Ах, как это мило сделано! — сказали все фрейлины.

— Больше чем мило! — сказал император. — Это прямо недурно!

Но принцесса потрогала розу и чуть не заплакала.

— Фи, папа! — сказала она. — Она не искусственная, а настоящая!

— Фи! — повторили все придворные. — Настоящая!

— Погодим сердиться! Посмотрим сначала, что в другом ларце! — возразил император.

И вот из ларца появился соловей и запел так чудесно, что нельзя было сейчас же найти какого-нибудь недостатка.

— *Superbe! Charmant!*¹ — сказали фрейлины; все они болтали по-французски, одна хуже другой.

— Как эта птичка напоминает мне органчик покойной императрицы! — сказал один старый придворный. — Да, тот же тон, та же манера давать звук!

— Да! — сказал император и заплакал, как ребёнок.

— Надеюсь, что птица не настоящая? — спросила принцесса.

— Настоящая! — ответили ей доставившие подарки послы.

— Так пусть она летит! — сказала принцесса и так и не позволила принцу явиться к ней самому.

Но принц не унывал, вымазал себе всё лицо чёрной и бурой краской, нахлобучил шапку и постучался.

— Здравствуйте, император! — сказал он. — Не найдётся ли у вас для меня во дворце какого-нибудь местечка?

— Много вас тут ходит да ищет! — ответил император. — Впрочем, стой, мне нужен свинопас! У нас пропасть свиней!

И вот принца утвердили придворным свинопасом и отвели ему жалкую, крошечную каморку рядом со свинными закутками. Весь день просидел он за работой и к вечеру смастерил чудесный горшочек. Горшочек был весь увешан бубенчиками, и когда в нём что-нибудь варили, бубенчики названивали старую песенку:

Ах, мой милый Августин,
Всё прошло, прошло, прошло!

¹ *Superbe! Charmant!* (фр.) — Бесподобно! Прелестно!

Занимательнее же всего было то, что, держа над подымавшимся из горшочка паром руку, можно было узнать, какое у кого в городе готовилось кушанье. Да уж, горшочек был не чета какой-нибудь розе!

Вот принцесса отправилась со своими фрейлинами на прогулку и вдруг услышала мелодичный звон бубенчиков. Она сразу же остановилась и вся просияла: она тоже умела наигрывать на фортепиано «Ах, мой милый Августин». Только одну эту мелодию она и наигрывала, зато одним пальцем.

— Ах, ведь и я это играю! — сказала она. — Так свинопас-то у нас образованный! Слушайте, пусть кто-нибудь из вас пойдёт и спросит у него, что стоит этот инструмент.

Одной из фрейлин пришлось надеть деревянные башмаки и пойти на задний двор.

— Что возьмёшь за горшочек? — спросила она.

— Десять принцессиных поцелуев! — отвечал свинопас.

— Как можно! — сказала фрейлина.

— А дешевле нельзя! — отвечал свинопас.

— Ну, что он сказал? — спросила принцесса.

— Право, и передать нельзя! — отвечала фрейлина. — Это ужасно!

— Так шепни мне на ухо!

И фрейлина шепнула принцессе.

— Вот невежа! — сказала принцесса и пошла было, но... бубенчики зазвенели так мило:

Ах, мой милый Августин,
Всё прошло, прошло, прошло!

— Послушай! — сказала принцесса фрейлине. — Пойди спроси, не возьмёт ли он десять поцелуев моих фрейлин?

— Нет, спасибо! — ответил свинопас. — Десять поцелуев принцессы, или горшочек останется у меня.

— Как это скучно! — сказала принцесса. — Ну, придётся вам стать вокруг, чтобы никто нас не увидал!

Фрейлины обступили её и растопырили свои юбки; свинопас получил десять принцессиных поцелуев, а принцесса — горшочек.

Вот была радость! Целый вечер и весь следующий день горшочек не сходил с очага, и в городе не осталось ни одной кухни, от камергерской до сапожниковой, о которой бы они не знали, что в ней стряпалось. Фрейлины прыгали и хлопали в ладоши.

— Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики! Мы знаем, у кого каша и свиные котлеты! Как интересно!

— Ещё бы! — подтвердила обер-гофмейстерина.

— Да, но держите язык за зубами, я ведь императорская дочка!

— Помилуйте! — сказали все.

А свинопас (то есть принц, но для них-то он был ведь свинопасом) даром времени не терял и смастерил трещотку; когда ею начинали вертеть по воздуху, раздавались звуки всех вальсов и полек, какие только есть на белом свете.

— Но это superbe! — сказала принцесса, проходя мимо. — Вот так попури! Лучше этого я ничего не слышала! Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент. Но целоваться я больше не стану!

— Он требует сто принцессиных поцелуев! — доложила фрейлина, побывав у свинопаса.

— Да что он, в уме? — сказала принцесса и пошла своею дорогой, но сделала два шага и остановилась.

— Надо поощрять искусство! — сказала она. — Я ведь императорская дочь! Скажите ему, что я дам ему по-вчерашнему десять поцелуев, а остальные пусть дополучит с моих фрейлин!

— Ну, нам это вовсе не по вкусу! — сказали фрейлины.

— Пустяки! — сказала принцесса. — Уж если я могу целовать его, то вы и подавно! Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалованье!

И фрейлине пришлось ещё раз отправиться к свинопасу.

— Сто принцессиных поцелуев! — повторил он. — А нет — каждый останется при своём.

— Становитесь вокруг! — скомандовала принцесса, и фрейлины обступили её, а свинопас принялся её целовать.

— Что это за сборище у свинных закуток? — спросил, выйдя на балкон, император, протёр глаза и надел очки. — Э, да это фрейлины опять что-то затеяли! Надо пойти посмотреть.

И он расправил задники своих домашних туфель. Туфлями служили ему стоптанные башмаки. Эх ты, ну, как он быстро зашлёпал в них!

Придя на задний двор, он потихоньку подкрался к фрейлинам, а те все были ужасно заняты счётом поцелуев, — надо же было следить за тем, чтобы расплата была честной и свинопас не получил ни больше, ни меньше, чем ему следовало. Никто поэтому не заметил императора, а он привстал на цыпочки.

— Это ещё что за штуки! — сказал он, увидав целующихся, и швырнул в них туфлей как раз в ту минуту, когда свинопас получал от принцессы восемьдесят шестой поцелуй. — Вон! — закричал рассерженный император и выгнал из своего государства и принцессу и свинопаса.

Принцесса стояла и плакала, свинопас бранился, а дождик так и лил на них.

— Ах, я несчастная! — плакала принцесса. — Что бы мне выйти за прекрасного принца! Ах, какая я несчастная!

А свинопас зашёл за дерево, стёр с лица чёрную и бурю краску, сбросил грязную одежду и явился перед ней во всём своём королевском величии и красе, и так он был хорош собой, что принцесса сделала реверанс.

— Теперь я только презираю тебя! — сказал он. — Ты не захотела выйти за честного принца! Ты не поняла толку в соловье и розе, а свинопаса целовала за игрушки! Поделом же тебе!

И он ушёл к себе в королевство, крепко захлопнув за собой дверь. А ей оставалось стоять да петь:

Ах, мой милый Августин,
Всё прошло, прошло, прошло!



**Братя
ЯКОБ ГРИММ
(1785—1863)
И ВИЛЬГЕЛЬМ ГРИММ
(1786—1859)**

**Бременские
уличные музыканты**

У одного хозяина был осёл, который уж много лет сряду таскал да таскал кули на мельницу, да наконец-таки обессилел и начал становиться к работе непригодным. Хозяин стал соображать, как бы его с корму долой сбыть; но осёл вовремя заметил, что дело не к добру клонится, убежал от хозяина и направился по дороге в Бремен: там, мол, буду я городским музыкантом.

Прошёл он сколько-то по дороге и наткнулся на легавую собаку, которая лежала на дороге и тяжело дышала: видно было, что бежала издалека. «Ну, что ты так запы-

халась, Хватайка?» — спросил осёл. «Ах, постарела ведь я да ослабла и к охоте негодна становлюсь, — отвечала собака, — так хозяин-то мой убить меня собирался! Ну, я и удрала из дому! Да вот только не знаю, чем мне будет теперь хлеб заработать?» — «А знаешь ли, что я придумал? — сказал осёл. — Иду в Бремен и собираюсь там быть уличным музыкантом. Пойдём вместе, поступай тоже в музыканты. Я стану на лютне играть, а ты в медные тарелки бить». Собака согласилась с удовольствием, и пошли они далее.

Немного прошли, повстречали на дороге кота; сидит хмурый такой, пасмурный. «Ну, тебе что не по нутру пришлось, Усатый?» — спросил осёл. «Небось не очень разве селишься, когда до твоей шкуры добираться станут! — отвечал кот. — Из-за того, что я стар становлюсь и зубы у меня притупились и что я охотнее сижу за печкой да мурлычу, чем мышей ловлю, хозяйка-то моя вздумала меня утопить. Я, конечно, от неё-таки улизнул и вот теперь и не знаю: куда голову приклонить?» — «Пойдём с нами в Бремен. Ведь ты ночью вон какую музыку разводишь — значит, и в уличные музыканты пригодишься». Коту совет показался дельным, и он пошёл с ними по дороге. Пришлось затем нашим трём беглецам проходить мимо одного двора, и видят они — сидит на воротах петух и орёт что есть мочи. «Чего ты это орёшь во всю глотку так, что за ушами трещит?» — спросил его осёл. «Да вот я предсказал на завтра хорошую погоду, — сказал петух, — потому что завтра Богородицын день; но из-за того, что завтра, в воскресенье, к нам гости будут, хозяйка всё же без жалости велела меня заколоть на суп, и мне сегодня вечером, наверно, свернут шею. Ну, и кричу я во всё горло, пока могу». — «Ишь ведь, что выдумал, красная головушка! — сказал осёл. — Да тебе же лучше с нами уйти! Идём мы в Бремен. Всё это лучше смерти будет! Да и голос у тебя такой славный: а если мы

все вместе заведём музыку, так это будет очень и очень недурно».

Понравилось петуху это предложение, и вот они все четверо направились далее.

Однако же в один день им не удалось добраться до Бремена. Вечером пришли они к лесу, где и задумали заночевать. Осёл и собака легли у корня большого дерева, кошка и петух забрались в ветви его, а петух взлетел даже на самую вершину дерева, где ему казалось всего безопаснее.

Прежде чем глаза сомкнуть, он ещё раз огляделся во все стороны, и показалось ему, что вдали что-то светится: вот он и крикнул товарищам, что где-нибудь неподалёку есть жильё, потому огонёк мерцает.

Осёл и сказал: «Ну, так надо с места сниматься и ещё-таки вперёд брести, потому что тут приют у нас неважный». Собака при этом подумала, что пара косточек да мясца кусочек ей были бы и очень кстати.

Вот и пошли они на огонёк, и огонёк светил всё светлее, становился больше и больше — и наконец вышли они к ярко освещённому дому, который был разбойничьим притоном.

Осёл был выше всех, подошёл к окошку да и стал смотреть. «Ты что там видишь, Серый?» — спросил петух. «Что вижу? Накрытый стол, а на нём и яства, и питьё, и разбойники за столом сидят и угощаются». — «Это бы и для нас не вредно было!» — сказал петух. «Да, да, хорошо бы и нам быть там!» — сказал осёл.

Тогда стали они между собою совещаться, как бы им ухитриться и разбойников из дома выгнать...

Наконец-таки нашли способ. Осёл должен был упереться передними ногами в подоконник, собака вспрыгнуть ему на спину, кошка взобраться на спину собаки, а петух должен был взлететь и сесть кошке на голову. Как установились, так по данному знаку разом и принялись за свою музыку:

осёл заревел, собака залаяла, кот замаяукал, а петух стал кукарекать. А потом и вломились в дом через окно, так что оконницы задребезжали.

Разбойники, заслышав этот неистовый рёв, повскакали со своих мест; им показалось, что в окно лезет какое-то страшное привидение, и они в ужасе разбежались по лесу.

Тут уселись наши четверо приятелей за стол, принялись за остатки ужина и так наелись, как будто им предстояло голодать недели с три.

Покончив с ужином, все четверо музыкантов загасили огни в доме и стали себе искать постели, каждый по своему вкусу и удобству.

Осёл улёгся на навозе, собака прикорнула за дверью, кошка растянулась на очаге около тёплой золы, а петух взлетел на шесток; и так как они все были утомлены своим долгим странствованием, то и заснули очень скоро.

Когда минула полночь и разбойники издали увидели, что огни в их доме погашены и всё, по-видимому, спокойно, тогда их атаман сказал им: «Чего мы это сдуру так пометались!» — и велел одному из шайки пойти к дому и поразнюхать.

Посланный видит, что всё тихо, и вошёл в кухню, чтобы вздуть огонь; подошёл к очагу, и покажись ему кошачьи глаза за горящие уголья. Он и ткнул в них серной спичкой, чтобы огня добыть. Но кот шутить не любил: как вскочит, как фыркнет ему в лицо да как цапнет!

Разбойник с перепугу бросился к чёрному ходу, но и тут собака сорвалась со своего места да как укусит его в ногу!

Он пустился напрямик через двор мимо навозной кучи, а осёл-то как даст ему заднею ногою!

В довершение всего петух на своём шестке от этого шума проснулся, встрепенулся и заорал во всю глотку: «Ку-каре-ку!»

Побежал разбойник со всех ног к атаману и доложил: «В доме там поселилась страшная ведьма! Она мне в лицо дохнула и своими длинными пальцами поцарапала! А у дверей стоит человек с ножом — мне им в ногу пырнул! А на дворе дрыхнет какое-то чёрное чудище, которое на меня с дубиной накинулось. А на самом-то верху сидит судья да как крикнет: «Давай его, плута, сюда!» Едва-едва я оттуда и ноги уволок!»

С той поры разбойники не дерзали уж и носа сунуть в дом, а четверым бременским музыкантам так в нём полюбилось, что их оттуда ничем было не выманить.

Кто их там видал, тот мне о них рассказывал, а я ему удружил — эту сказку сложил.



Госпожа Метелица

У одной вдовицы были две дочери-девицы; одна-то была и красива, и прилежна; а другая и лицом некрасивая, и ленивая. Но эта некрасивая да ленивая была вдове дочь родимая, а к тому же она её и любила, а на другую всю чёрную работу валила, и была у ней та в доме замарашкой. Бедняжка должна была каждый день выходить на большую дорогу, садиться у колодца и пряхь до того много, что кровь выступала у неё из-под ногтей.

Вот и случилось однажды, что веретено у ней было всё перепачкано кровью; девушка наклонилась к воде и хотела веретено обмыть, а веретено-то у неё из рук выскользнуло и упало в колодец. Бедняжка заплакала, бросилась к мачехе и рассказала ей о своей невзгоде. Та её так стала бранить и такую выказала себя безжалостною, что сказала: «Умела веретено туда уронить, сумей и достать его оттуда!»

Пришла девушка обратно к колодцу и не знала, что ей делать, да с перепугу-то прыгнула она в колодец — задумала сама оттуда веретено добыть. Она тотчас потеряла сознание, и когда очнулась и снова пришла в себя, то увидела, что лежит на прекрасной лужайке, что на неё и солнышко весело светит, и цветов кругом многое множество.

Пошла девушка по этой лужайке и пришла к печке, которая была полнёшенька хлебами насажена. Хлебы ей крикнули: «Вынь ты нас, вынь скорее, не то сгорим: мы давно уже испеклись и готовы». Она подошла и лопатой повынимала их из печи.

Затем пошла она дальше и пришла к яблоне, и стояла та яблоня полнёшенька яблок, и крикнула девушке: «Обтряси ты меня, обтряси, яблоки на мне давно уж созрели». Стала она трясти яблоню, так что яблоки с неё дождём посыпались, и трясла до тех пор, пока на ней ни одного яблочка не осталось; сложила их в кучку и пошла дальше.

Наконец подошла она к избушке и увидела в окошке старуху; а у старухи зубы большие-пребольшие, и напал на девушку страх, и задумала она бежать. Но старуха крикнула ей вслед: «Чего испугалась, красавица-девица? Оставайся у меня, и если всю работу в доме хорошо справлять станешь, то и тебе хорошо будет. Смотри только, постель мне хорошенько стели да перину мою взбивай постарательнее, так, чтобы перья во все стороны летели: когда от неё перья летят, тогда на белом свете снег идёт. Ведь я не кто иная, как сама госпожа Метелица».

Речь старухи поуспокоила девушку и придала ей настолько мужества, что она согласилась поступить к ней в услужение. Она старалась угодить старухе во всём и перину ей взбивала так, что перья, словно снежные хлопья, летели во все стороны; зато и жилось ей у старухи хорошо,

и бранного слова она от неё не слышала, и за столом у ней было всего вдоволь.

Прожив некоторое время у госпожи Метелицы, девушка вдруг загрустила и сначала сама не знала, чего ей недостаёт, наконец догадалась, что просто истосковалась по дому; как ей тут ни было хорошо, а всё же домой её тянуло и позывало.

Наконец она созналась старухе: «Я по дому соскучилась, и как мне ни хорошо здесь у тебя под землёю, а всё же не хотелось бы мне долее здесь оставаться и тянет меня вернуться туда — со своими повидаться».

Госпожа Метелица сказала: «Мне это любо, что тебе опять к себе домой захотелось, а так как ты мне служила хорошо и верно, то я сама тебе укажу дорогу на землю».

Тут взяла она её за руку и подвела к большим воротам. Ворота распахнулись, и когда девица очутилась под сводом их, просыпалось на неё дождём из-под свода золото да так облепило её, что она вся была золотом сплошь покрыта. «Вот это тебе награда за твоё старание», — сказала госпожа Метелица да, кстати, вернула ей и веретено, упавшее в колодец.

Затем ворота захлопнулись, и красная девица очутилась опять на белом свете, невдалеке от мачехино дома; и когда она вступила во двор его, петушок сидел на колодце и распевал:

Ку-ка-ре-ку! Вот чудеса!

Наша-то девица в золоте вся!

Тогда вошла она к мачехе в дом, и так как на ней было очень много золота, то и мачеха, и сестра приняли её весьма ласково.

Рассказала им девица всё, что с нею приключилось, и когда мачеха услышала, как она добыла себе такое бо-

гатство, то задумала и другой своей дочке, злой и некрасивой, добыть такое же счастье.

Она свою дочку усадила прясть у того же колодца; а чтобы на веретене у дочки кровь была, та должна была уколоть себе палец и расцарапать руку в колючем терновнике. Затем та бросила веретено в колодец и сама за ним туда же спрыгнула.

И очутилась она точно так же, как прежде сестра её, на прекрасной лужайке, и пошла той же тропинкой далее.

Пришла к печке, и закричали ей хлебы: «Вынь ты нас, вынь скорее, не то сгорим: мы давно уж совсем испеклись». А лентяйка им отвечала: «Вот ещё! Стану ли я из-за вас пачкаться!» — и пошла далее.

Вскоре пришла она и к яблоне, которая крикнула ей: «Обтряси ты меня, обтряси поскорее! Яблоки на мне давно уж созрели!» Но лентяйка отвечала: «Очень мне надо! Пожалуй, ещё которое-нибудь яблоко мне на голову грохнется», — и пошла своей дорогою.

Придя к дому госпожи Метелицы, она её не испугалась, потому уж слыхала от сестры о её больших зубах, и тотчас поступила к ней на службу.

В первый-то день она ещё кое-как старалась переломить свою лень и выказала некоторое рвение, и слушалась указаний своей госпожи, потому что у ней из головы не выходило то золото, которое ей предстояло получить в награду; на другой день она уже стала разлениваться, на третий — ещё того более; а там уж и вовсе не хотела поутру вставать с постели.

И постель госпожи Метелицы она постилала не как следовало, и не вытряхивала её так, чтобы перья летели во все стороны.

Вот она вскоре и прискучила своей хозяйке, и та отказала ей от места. Ленивица обрадовалась этому, думала: вот сейчас на неё золотой дождь просыплется!

Госпожа Метелица подвела её к тем же воротам, но когда ленивица под ворота стала, на неё просыпалось не золото, а опрокинулся целый котёл, полнёшенек смолы. «Это тебе награда за твою службу», — сказала госпожа Метелица и захлопнула за нею ворота.

Пришла ленивица домой, с ног до головы смолою облеплена, и петушок на колодце, увидав её, стал распевать:

Ку-ка-ре-ку — вот чудеса!
Залита девица смолою вся!

И эта смола так крепко к ней пристала, что во всю жизнь не сошла, не отстала.



Король лягушонок, или Железный Генрих

В старые годы, когда стоило лишь пожелать чего-нибудь и желание исполнялось, жил-был на свете король; все дочери его были одна краше другой, а уж младшая королева была так прекрасна, что даже само солнышко, так много выдавшее всяких чудес, и то дивилось, озаряя её личико.

Близ королевского замка был большой тёмный лес, а в том лесу под старой липой вырыт был колодец. В жаркие дни заходила королева в тёмный лес и садилась у прохладного колодца; а когда ей скучно становилось, брала она золотой мячик, подбрасывала его и ловила: это была её любимая забава.

Но вот случилось однажды, что подброшенный королевной золотой мяч попал не в протянутые ручки её, а пролетел мимо, ударился оземь и покатился прямо в воду.

Королевна следила за ним глазами, но, увы, мячик исчез в колодце. А колодец был так глубок, так глубок, что и дна не было видно.

Стала тут королевна плакать, плакала-рыдала всё громче да горестней и никак не могла утешиться.

Плачет она, заливается, как вдруг слышит чей-то голос: «Да что с тобой, королевна? От твоего плача и в камне жалость явится». Оглянулась она, чтобы узнать, откуда голос ей звучит, и увидела лягушонка, который высунул свою толстую уродливую голову из воды. «Ах, так это ты, старый водошлёп! — сказала девушка. — Плачу я о своём золотом мячике, который в колодец упал». — «Успокойся, не плачь, — отвечал лягушонок, — я могу горю твоему помочь; но что дашь ты мне, если я тебе игрушку достану?» — «Да всё, что хочешь, милый лягушонок, — отвечала королевна, — мои платья, жемчуг мой, каменья самоцветные, а ещё в придачу и корону золотую, которую ношу».

И отвечал лягушонок: «Не нужно мне ни платьев твоих, ни жемчуга, ни камней самоцветных, ни твоей короны золотой; а вот если бы ты меня полюбила и стал бы я везде тебе сопутствовать, разделять твои игры, за твоим столиком сидеть с тобой рядом, кушать из твоей золотой тарелочки, пить из твоей стопочки, спать в твоей постельке: если ты мне всё это обещаешь, я готов спуститься в колодец и достать тебе оттуда золотой мячик». — «Да, да, — отвечала королевна, — обещаю тебе всё, чего хочешь, лишь бы ты мне только мячик мой воротил».

А сама подумала: «Пустое городит глупый лягушонок! Сидеть ему в воде с подобными себе да квакать, где уж ему быть человеку товарищем».

Заручившись обещанием, лягушонок исчез в воде, опустился на дно, а через несколько мгновений опять выплыл, держа во рту мячик, и бросил его на траву. Затрепетала от радости королевна, увидев снова свою прелестную игрушку, подняла её и убежала вприпрыжку. «Постой, постой! — за-

кричал лягушонок. — Возьми ж меня с собой. Я не могу так бегать, как ты».

Куда там! Напрасно ей вслед во всю глотку квакал лягушонок: не слушала беглянка, поспешила домой и скоро забыла о бедном лягушонке, которому пришлось несолоно хлебавши опять лезть в свой колодец.

На следующий день, когда королева с королём и всеми придворными села за стол и стала кушать со своего золотого блюда, вдруг — шлёп, шлёп, шлёп, шлёп! — кто-то зашлёпал по мраморным ступеням лестницы и, добравшись доверху, стал стучаться в дверь: «Королева, младшая королева, отвори мне!»

Она вскочила посмотреть, кто бы там такой мог стучаться, и, отворив дверь, увидела лягушонка. Быстро хлопнула дверью королева, опять села за стол, и страшно-страшно ей стало.

Увидел король, что сердечко её шибко бьётся, и сказал: «Дитячко моё, чего ты боишься? Уж не великан ли какой стоит за дверью и хочет похитить тебя?» — «Ах, нет! — отвечала она. — Не великан, а мерзкий лягушонок!» — «Чего же ему нужно от тебя?» — «Ах, дорогой отец! Когда я в лесу вчера сидела у колодца и играла; упал мой золотой мячик в воду; а так как я очень горько плакала, лягушонок мне достал его оттуда; и когда он стал настойчиво требовать, чтобы нам быть отныне неразлучными, я обещала; но ведь никогда я не думала, что он может из воды выйти. А вот он теперь тут за дверью и хочет войти сюда».

Лягушонок постучал вторично и голос подал:

Королева, королева!
 Что же ты не отворяешь?!
 Иль забыла обещанья
 У прохладных вод колодца?
 Королева, королева,
 Что же ты не отворяешь?

Тогда сказал король: «Что ты обещала, то и должна исполнить; ступай и отвори!»

Она пошла и отворила дверь.

Лягушонок вскочил в комнату и, следуя по пятам за королевной, доскакал до самого её стула, сел подле и крикнул: «Подними меня!» Королевна всё медлила, пока наконец король не приказал ей это исполнить. Едва лягушонка на стул посадили, он уж на стол запросился; посадили на стол, а ему всё мало: «Придвинь-ка, — говорит, — своё блюдце золотое поближе ко мне, чтоб мы вместе покушали!»

Что делать?! И это исполнила королевна, хотя и с явной неохотой. Лягушонок уплетал кушанья за обе щеки, а молодой хозяйке кусок в горло не лез.

Наконец гость сказал: «Накушался я, да и притомился. Отнеси ж меня в свою комнатку да приготовь свою постельку пуховую, и ляжем-ка мы с тобою спать». Расплакалась королевна, и страшно ей стало холодного лягушонка: и дотронуться-то до него боязно, а тут он ещё на королевниной мягкой, чистой постельке почивать будет!

Но король разгневался и сказал: «Кто тебе в беде помог, того тебе потом презирать не годится».

Взяла она лягушонка двумя пальцами, понесла к себе наверх и ткнула в угол.

Но когда она улеглась в постельке, подполз лягушонок и говорит: «Я устал, я хочу спать точно так же, как и ты: подними меня к себе или я отцу твоему пожалуюсь!» Ну, уж тут королевна рассердилась до чрезвычайности, схватила его и бросила, что было мочи, об стену. «Чай теперь уж ты успокоишься, мерзкая лягушка!»

Упавши наземь, обернулся лягушонок статным королевичем с прекрасными ласковыми глазами. И стал он по воле короля милым товарищем и супругом королевны. Тут рассказал он ей, что злая ведьма чарами оборотила его в лягушку, что никто на свете, кроме королевны, не в силах

был его из колодца выволить и что завтра же они вместе поедут в его королевство.

Тут они заснули, а на другое утро, когда их солнце пробудило, подъехала к крыльцу карета восьмериком: лошади белые, с белыми страусовыми перьями на головах, сбруя вся из золотых цепей, а на запятках стоял слуга молодого короля, его верный Генрих.

Когда повелитель его был превращён в лягушонка, верный Генрих так опечалился, что велел сделать три железных обруча и заковал в них своё сердце, чтобы оно не разорвалось на части от боли да кручины.

Карета должна была отвезти молодого короля в родное королевство; верный Генрих посадил в неё молодых, стал опять на запятки и был рад-радёшенек избавлению своего господина от чар.

Проехали они часть дороги, как вдруг слышит королевич позади себя какой-то треск, словно что-нибудь обломилось. Обернулся он и закричал:

— Что там хрустнуло, Генрих? Неужто карета?

— Нет! Цела она, мой повелитель... А это

Лопнул обруч железный на сердце моём:
Исстрадалось оно, повелитель, о том,
Что в колодце холодном ты был заключён
И лягушкой остаться навек обречён.

И ещё, и ещё раз хрустнуло что-то во время пути, и королевич в эти оба раза тоже думал, что ломается карета; но то лопались обручи на сердце верного Генриха, потому что господин его был теперь освобождён от чар и счастлив.



Три брата

Давным-давно жил да был человек, у которого было три сына, а всего достатка было немного: только тот дом, в котором он сам жил. Каждый из сыновей желал бы тот дом получить в наследство после его смерти, но отцу они были все одинаково милы; вот и не знал он, как ему быть, чтобы никого не обидеть.

Продать бы дом да вырученные деньги между ними поделить, так продавать-то ему не хотелось, потому что дом был им унаследован от его прадедов...

Наконец пришла ему в голову хорошая мысль, и он сказал своим детям: «Ступайте-ка вы в люди да поиспытайте себя, и каждый пусть изберёт себе какое-нибудь ремесло для изучения; по возвращении вашем домой тот из вас, который выкажет себя искуснее других в своём деле, получит от меня дом в наследство».

Сыновья были довольны решением отца и избрали себе ремёсла по вкусу: старший задумал быть кузнецом, второй — парикмахером, а третий — учителем фехтования.

Затем они назначили время, в которое они должны были снова сойтись в доме отца, и разошлись в разные стороны.

Случилось так, что каждый из них в своём деле нашёл себе отличного учителя, у которого мог надлежащим образом выучиться своему мастерству.

Кузнецу поручено было подковывать королевских лошадей, и он подумал: «Ну, теперь, кажется, без ошибки можно сказать, что дом именно мне достанется».

Парикмахеру пришлось брить только знатных господ, и он тоже подумал, что дом никому другому, кроме него, не достанется.

Фехтовальщику пришлось получить не один удар, и он всё же скрепя сердце думал про себя: «Нечего этих уда-

чтобы странствовать им было безопаснее, они решили идти с оружием и заказали себе хоть и на семерых одно, но зато очень крепкое и длинное копьё.

За это копьё они ухватились всемером, и впереди-то всех пошёл самый смелый из них и самый мужественный, а таковым был Шульц! За ним уж следовали все по очереди, и Вайтли был между ними последним.

Случилось однажды в самый разгар сенокоса, когда они уже прошли порядочный конец пути, но ещё было далеко от деревни, в которой хотели переночевать, уж в сумерки близ наших швабов пролетел вечерний жук или шершень. И жужжание его очень грозно прозвучало где-то за стогом сена.

Тут храбрый Шульц так перепугался, что чуть не выронил копьё из рук, и холодный пот сразу прошиб его по всему телу. «Слышите? Слышите ли? — крикнул он своим товарищам. — Ах, Боже мой! Да это барабан!»

Яхли, который вслед за ним держался за копьё и которому Бог весть почему почуялся какой-то запах, сейчас добавил: «Да, что-то неладно! Я чую запах пороха и горелого фитиля!»

При этих словах Шульц пустился бежать и мигом перескочил через забор; но так как он зацепил ногами за зубья грабеля, забытых там во время сенокоса, то грабли ударили его в лицо, и очень сильно. «Ай-ай, ай-ай! — закричал Шульц. — Бери меня в плен, сдаюсь! Сдаюсь!»

И остальные шестеро туда же друг за другом перепрыгнули и стали кричать: «Коли ты сдаёшься, то и мы все тоже сдаёмся!»

Наконец, не увидев неприятеля, который хотел бы их связать и забрать в плен, они поняли, что испугались напрасно; а чтобы не пошли об этом слухи между людьми да не вздумал бы кто-нибудь их из-за этого осмеивать и дурачить, то было между ними решено об этом приключе-

нии хранить молчанье, пока кто-нибудь из них случайно не проболтается.

Затем они двинулись далее. Но следующая опасность, которую пришлось им пережить, не может и сравниться с первой.

Несколько дней спустя путь их лежал через пашню, на которой заяц, присев на солнышке, грелся и дремал: уши его торчали вверх, а большие, словно стеклянные, глаза застыли неподвижно.

Вот и перепугались наши швабы не на шутку при виде этого страшного и дикого зверя, перепугались все и стали между собою совещаться о том, что менее всего опасно было бы предпринять в данном случае. Так как они собирались бежать, то можно было опасаться, что чудовище помчится вслед за ними и поглотит их всех с кожей и волосами.

Вот и стали они говорить: «Мы должны выдержать большую и опасную битву! Чем смелее вступим в неё, тем больше можем надеяться на победу!» И разом ухватились за копья: Шульц впереди всех, а Вайтли позади.

Господин Шульц хотел было попридержать копья, но Вайтли позади всех расхрабрился, задумал ударить по врагу и воскликнул:

Валяй во имя швабов всех!
Надейся смело на успех!

Но Ганс подсмеялся над ним и сказал:

Да! Хорошо тебе болтать —
А сам глядишь — куда б удрать?

Михаль воскликнул:

Нельзя не опасаться нам:
Никак ведь это дьявол сам?

А за ним и Ергли сказал в свою очередь:

Коли не сам — верней всего,
Что это брат родной его!

Догадливый Марли добавил к этому:

Ступай-ка, Вайтли, сам вперёд,
Так нас и страх не заберёт!..

Но Вайтли его не послушал, и Яхли сказал:

Нет, нужно Шульцу первым быть:
Честь эту можем уступить!..

Выслушав это, господин Шульц ободрился и произнёс с великою важностью:

Так двинемся в кровавый бой!
Вперёд, ребята, все гурьбой!..

И ударили все разом против дракона. Господин Шульц всё крестился и Бога призывал на помощь; но так как всё это не помогало и он подходил к врагу всё ближе и ближе, то наконец уж он со страху стал кричать: «Ату его! Ату! Ату-ту-ту!»

Заяц от всех этих криков наконец проснулся и поспешно бежал.

Когда господин Шульц увидал, как он улепётывает, то радостно воскликнул:

Ох, Вайтли, как я заблуждался:
Дракон-то зайцем оказался!

Но наши швабы не унялись и после этого; стали искать новых приключений и пришли к широкой и глубокой реке, на которой мостов было мало и во многих местах приходилось переправляться на судах.

Так как швабы этого не знали, то и стали кричать человеку, работавшему по ту сторону реки, расспрашивая его, как бы к нему перебраться.

Человек из-за дальности расстояния не расслышал вопроса и отвечал по-своему: «Что, как?» Господину Шульцу и покажись, что он говорит: «Шагай так!»

И он, как шёл впереди, так и вступил в реку. Сделав несколько шагов, он увяз ногами в илистом дне, и его покрыло волнами, а шапку его перенесло ветром на ту сторону... Села на неё лягушка и заквакала: «Квак, квак!»

Остальные шестеро швабов услышали это и сказали: «Наш товарищ, господин Шульц, нас зовёт; и коли уж он через реку перебрался, так почему бы и нам не пойти за ним следом?»

И все поспешно попрыгали в воду и утонули...

Хоть и храбрые были богатыри, а из-за лягушки погибли лютою смертью, и никто из них домой не вернулся.



ХАРРИС ДЖОЭЛЬ ЧАНДЛЕР (1848—1908)

Братец Кролик и Братец Лис

Как-то вечером мама долго искала своего сынишку. Джоэля не было ни в доме, ни во дворе. Она услышала голоса в старой хижине дядюшки Римуса, заглянула в окно и увидела, что мальчик сидит рядом со стариком.

Мальчик прислонил голову к плечу дядюшки Римуса, во все глаза глядя в морщинистое ласковое лицо.

И вот что услышала мама.

...Гонялся-гонялся Братец Лис за Братцем Кроликом, и так и этак ловчился, чтобы его поймать. А Кролик и так и этак ловчился, чтобы Лис его не поймал.

— Ну его совсем, — сказал Лис.

И только вылетели эти слова у него изо рта, глядь, вот он скачет по дороге — гладкий, толстый и жирный Кролик!

— Эй там, погоди. Братец Кролик! — сказал Лис.

— Некогда мне, Братец Лис.

— Мне с тобой поболтать охота, Братец Кролик.

— Ладно, Братец Лис. Только ты оттуда кричи, где стоишь, не подходи ко мне близко: блох у меня сегодня, блох! — так сказал Кролик.

— Я видал вчера Братца Медведя, — сказал Лис. — Он такую мне трёпку задал за то, что мы с тобой всё не ладим. «Вы, — говорит, — соседи, должны жить дружно». Я обещал ему, что потолкую с тобой.

Тут Кролик поскрёб лапкой за ухом — вроде как от радости, — встал и говорит:

— Отлично, Братец Лис. Приходи ко мне завтра, пообедаем вместе. Ничего такого нет у нас дома, да жёнушка с ребятами пошарят, уж найдут, чем тебя угостить.

— Я с удовольствием, — сказал Лис.

— Ну я буду ждать, — сказал Кролик.

Домой пришёл Братец Кролик грустный-грустный.

— Что с тобой, муженёк? — спрашивает Матушка Крольчиха.

— Завтра в гости обещался прийти Братец Лис, — говорит Кролик. — Нужно нам держать ухо востро, чтобы он не застал нас врасплох.

На другой день Братец Кролик и Матушка Крольчиха встали ранёхонько, до света, и пошли в огород; набрали капусты, моркови и спаржи, состряпали знатный ужин.

Вдруг один из крольчат, который играл во дворе, кричит:

— Ой, мама! Ма! Братец Лис идёт!

Тогда Кролик живо детишек за уши и усадил их, а сам с Матушкой Крольчихой — у дверей ждут Братца Лиса.

Ждут они, ждут — не идёт Лис.

Вот немного погода выглянул Братец Кролик за дверь потихоньку. Смотрит — из-за угла торчит самый кончик хвоста Лиса. Тогда закрыл Кролик дверь, сел, лапки положил за уши и запел:

Если миску уронить —

Разобьётся миска.

Если близко лисий хвост —

Значит, близко Лиска.

Вот пообедали Братец Кролик, и Матушка Крольчиха, и все ребятки, и никто им не мешал. А потом приходит Братец Ёж и говорит:

— Братец Лис просит прощения: он захворал, никак не мог прийти. Он просит, чтобы Братец Кролик завтра пришёл к нему на обед.

Солнышко поднялось совсем высоко; тогда Кролик вскочил и побежал к дому Лиса. Прибегает, слышит — стонет кто-то. В дверь заглянул и видит: сидит Лис в кресле, весь закутанный в байковое одеяло, а вид у него слабый-слабый.

Глянул Кролик по сторонам — нигде не видно обеда. Миска стоит на столе, а рядом острый ножик.

— Никак, на обед у тебя курочка, Братец Лис? — говорит Кролик.

— Да, Братец Кролик, а какая молоденькая да свеженькая! — говорит Лис.

Тут Кролик разгладил усы и сказал:

— Ты, никак, сготовил без укропа, Братец Лис? Что-то мне в горло не лезет курятина без укропа.

Выскочил Кролик из дверей и стрельнул в кусты, присел и ждёт Лиса.

Долго ждать не пришлось, потому что Лис сразу скинул байковое одеяло — и за ним вдогонку. А Кролик кричит ему:

— Эй, Братец Лис! Вот я тут положил на пенёк укроп. Бери скорей, пока не увял!

Так он крикнул и поскакал дальше. И Лис его не поймал.



Сказка про лошадь Братца Кролика

Раз после ужина мальчик прибежал к старому негру, чтобы послушать ещё про Братца Кролика и его друзей.

Дядюшка Римус был очень весел в этот день.

Только Джоэль сунул голову в дверь, он услышал песенку...

И мальчик тотчас вспомнил, как гнался за Кроликом Старый Лис.

— Дядюшка Римус, — спросил Джоэль, — а Кролик совсем удрал, когда отлепился от Чучелка?

— Что ты, дружок! Зачем ему было совсем удирать? Такой человек, как Братец Кролик, да вдруг удирать! Конечно, он посидел дома, пока не выскреб из шерсти смолу; день, другой посидел и опять за своё: скачет то здесь, то там как ни в чём не бывало.

Все соседи посмеивались над Кроликом:

— Ну-ка, ну-ка, Братец Кролик, расскажи, что случилось у тебя со Смоляным Чучелком?

Уж так-то ему это надоело. Вот зашёл он раз навесить свою соседку, Матушку Мидоус с дочками, а девчонки

ну потешаться над ним, ну хохотать. Братец Кролик сидел спокойно, будто оглох.

— А кто это — Матушка Мидоус? — спросил мальчик.

— Не перебивай, дружок. Ну просто так говорится в сказке: Матушка Мидоус с дочками, а больше я ничего не знаю.

Слушал, слушал Кролик, как они потешались над ним, потом положил ногу на ногу, подмигнул девочкам и говорит:

— Милые вы мои, да ведь Братец Лис у моего папаши тридцать лет был верховой лошастью: может, и больше, но тридцать — это наверное.

Так он сказал, и встал, и откланялся, и пошёл прочь медленным, важным шагом.

На другой день заглянул к Матушке Мидоус Братец Лис.

Только стал он вспоминать про Чучелко, Матушка Мидоус и скажи, что говорил тут Кролик.

— Вот как! — сказал Старый Лис. — Ну ладно. Я заставлю Братца Кролика разжевать и выплюнуть эти слова тут же, на этом самом месте.

С тем и ушёл.

Выбрался на большую дорогу, отряхнул росу с хвоста и пустился прямёхонько к дому Кролика. Но Кролик ждал его, и дверь была на запоре. Старый Лис постучался.

Никто не отзывается. Опять постучался. Опять никого. Тогда он постучался покрепче: блям! блям!

Тут Кролик откликнулся слабеньким голосом:

— Это ты, Братец Лис? Будь добр, сбегай за доктором. Поел я утром фасоли, уж так мне от неё стало худо! Пожалуйста, Братец Лис, беги быстрее!

— А я за тобой, Братец Кролик, — говорит Лис. — Нынче у Матушки Мидоус праздник будет, я обещал тебя привести.

— Куда мне! — говорит Кролик. — Я и встать не могу.

— Ну, далеко ли тут идти? — говорит Братец Лис.

- Да я слаб, не дойду.
 - Ну, я понесу тебя.
 - Как, Братец Лис?
 - Ну, на руках, Братец Кролик.
 - А если я свалюсь?
 - Не свалишься.
 - Ну ладно, так и быть, только ты на спине меня повези, Братец Лис.
 - Хорошо, Братец Кролик.
 - А седла-то нет у меня, Братец Лис.
 - Ну, я достану седло, Братец Кролик.
 - Как же я буду сидеть в седле без уздечки?
 - Ну, я достану уздечку.
 - Только тебе ещё нужны наглазники, Братец Лис, а то, чего доброго, испугаешься по дороге — я и вылечу из седла.
 - Ладно, и наглазники будут, Братец Кролик.
 - Ну, тогда хорошо, Братец Лис.
- Старый Лис сказал, что довезёт Кролика почти до самого дома Матушки Мидоус, а там ему придётся слезть и дойти пешком. Кролик согласился, и Лис побежал за седлом и уздечкой.
- Конечно, Кролик знал, что Лису верить нельзя, вот он и решил перехитрить его.
- Только успел Кролик шерсть причесать и усы закрутить, глядь — воротился Лис с седлом и уздечкой, смирный с виду, как пони в цирке. Подбежал к дверям, остановился, лапой землю скребёт, грызёт уздечку, совсем как лошадь.
- Кролик сел в седло, и они поскакали. Старому Лису в наглазниках не видно, что делается сзади, но вдруг он чувствует — Кролик поднял ногу.
- Что ты там делаешь, Братец Кролик?
 - Штаны поправляю, Братец Лис.
- А всё это время Кролик привязывал шпоры. Как подъехали они близко к дому Матушки Мидоус, где Кролику

надо было слезать, стал Лис останавливаться. Тут Кролик как всадит ему шпоры в бока и пошёл, и пошёл!..

Подъехали они к дому. Матушка Мидоус со всеми дочками сидела у порога. Братец Кролик проскакал мимо, прямо к коновязи, и привязал Лиса. А потом входит в дом, пожимает ручки девочкам, <...> а сам говорит:

— Разве я не рассказывал вам, что Братец Лис ещё моего папашу катал? Он потерял немножко резвость, но я натаскаю его снова за месяц-другой.

Тут Братец Кролик усмехнулся, а девочки — хохотать, а Матушка Мидоус знай похваливает лошадку Братца Лиса.

— И это всё, дядюшка Римус? — спросил мальчик.

— Всё не всё, да хватит. А то будет слишком много холста на пару штанов, — ответил поговоркою старый негр.



Как повстречались Братец Лис и Братец Черепаха

Дядюшка Римус точил свой сапожный нож и рассказывал:

— Как-то шёл Братец Лис. Вдруг видит — на самой середине дороги лежит Братец Черепаха. Братец Черепаха тотчас подумал, что надо держать ухо востро, а один глазок — открытым. Но Старый Лис прикинулся ласковым — ну болтать: дескать, он страшно рад встрече, целых сто лет не видал он Братца Черепаху.

— Здравствуй, Братец Черепаха! Что это тебя не видать давно?

— Всё брожу где придётся, Братец Лис. Всё брожу.

— Что-то вид у тебя нездоровый, Братец Черепаха, — говорит Лис.

— Всё ползаю да хвораю, — отвечает Черепаха.

— А что с тобой, дружок? Никак, и глазок у тебя красный!

— Ох, где тебе понять, Братец Лис! Попробовал бы ты всё ползать да ползать, хворать да хворать.

— Да у тебя оба глаза красны! Ты совсем разболелся, Братец Черепаха!

— Уж куда хуже, Братец Лис.

— Какая же беда приключилась с тобой, Братец Черепаха?

— Да так. Пошёл прогуляться вчера, встретился мне один человек и бросил меня в огонь.

— Как же ты выбрался из огня, Братец Черепаха?

— Всё сидел и терпел, Братец Лис! Сидел и терпел, а дым разъел мне глаза, и огонь опалил мне спину.

— Никак, хвост у тебя и вовсе сгорел? — сказал Лис.

— Нет, хвост-то вот он, — сказал Братец Черепаха и высунул хвост из-под панциря.

А Лис только того и ждал: схватил Черепаху за хвост и кричит:

— Вот он, вот он, Братец Черепаха! А помнишь, как ты стукнул меня по макушке у Матушки Мидоус? Или забыл? Вы были там вместе с Братцем Кроликом? Ну, теперь ты пропал!

Просил, просил Братец Черепаха отпустить его. Сколько ни упрашивал, всё ни к чему.

— Ну, теперь я тебя утоплю, — сказал Братец Лис.

А Братец Черепаха взмолился:

— Только не топи меня, Братец Лис! Уж лучше брось меня в огонь — я всё-таки немножко привык к огню.

Но Старый Лис и слушать ничего не хотел. Он потащил братца Черепаху к ручью и сунул его в воду.

А Черепаха кричит:

— Брось этот корешок и хватай меня за хвост! Брось этот корешок и хватай меня за хвост!

Лис в ответ:

— Какой корешок? Я твой хвост держу, а не корешок.
Но Братец Черепаха поднял крик:

— Скорей хватай меня, а то я утону! Я тону, тону! Брось этот корешок и хватай меня за хвост!

Ну, тут Лис выпустил его хвост, и Братец Черепаха пошёл ко дну — керблонкети-блинк!

Никакими буквами нельзя изобразить, какие звуки вылетели тут из горла у дядюшки Римуса. Это были такие чудные звуки, что мальчик переспросил:

— Как, как пошёл он ко дну?

— Керблонкети-блинк!

— И утонул, дядюшка Римус?

— Кто? Старый Братец Черепаха? Да разве ты тонешь, когда мама кладёт тебя в кроватку?

— Ну, нет, — задумчиво ответил Джоэль.

— Вот и Братец Черепаха не утонул. Потому что в воде он был дома, дружок.

Керблонкети-блинк!



Смоляное Чучелко

— **Ч**то же, Лис никогда-никогда не поймал Кролика? А, дядюшка Римус? — спросил Джоэль на другой вечер.

— Было и так, дружок, — чуть-чуть не поймал. Помнишь, как Братец Кролик надул его с укропом?

Вот вскоре после этого пошёл Братец Лис гулять, набрал смолы и слепил из неё человечка — Смоляное Чучелко.

Взял он это Чучелко и посадил у большой дороги, а сам спрятался под куст. Только спрятался, глядь — идёт по дороге вприпрыжку Кролик: скок-поскок, скок-поскок.

Старый Лис лежал тихо. А Кролик, как увидел Чучелко, удивился, даже на задние лапки встал. Чучелко сидит и сидит, а Братец Лис — он лежит тихо.

— Доброго утра! — говорит Кролик. — Славная погодка нынче.

Чучелко молчит, а Лис лежит тихо.

— Что ж это ты молчишь? — говорит Кролик.

Старый Лис только глазом мигнул, а Чучелко — оно ничего не сказало.

— Да ты оглох, что ли? — говорит Кролик. — Если оглох, я могу погромче кричать.

Чучелко молчит, а Старый Лис лежит тихо.

— Ты грубиян, я тебя проучу за это! Да, да, проучу! — говорит Кролик.

Лис чуть не подавился со смеху, а Чучелко — оно ничего не сказало.

— Когда тебя спрашивают, надо отвечать, — говорит Кролик. — Сейчас же сними шляпу и поздоровайся, а нет — я с тобой разделаюсь по-свойски!

Чучелко молчит, а Братец Лис — он лежит тихо.

Вот Кролик отскочил назад, размахнулся и как стукнет Чучелко по голове кулаком! Кулак прилип, никак не оторвёшь его: смола держит крепко.

А Чучелко всё молчит, и Старый Лис лежит тихо.

— Отпусти сейчас же, а то ударю! — говорит Кролик.

Ударил Чучелко другой рукой, и эта прилипла.

— Отпусти, не то я тебе все кости переломаю! — так сказал Братец Кролик.

Но Чучелко — оно ничего не сказало. Не пускает, и только.

Тогда Кролик ударил его ногами, и ноги прилипли. А Братец Лис лежит тихо.

Кролик кричит:

— Если не пустишь, я буду бодаться!

Боднул Чучелко — и голова прилипла. Тогда Лис выскочил из-под куста.

— Как поживаешь, Братец Кролик? — говорит Лис. — Да что ж ты не здороваешься со мною?

Повалился Лис на землю и ну смеяться. Уж он хохотал, хохотал, даже в боку закололо.

— Ну, сегодня-то мы пообедаем вместе, Братец Кролик! Нынче я и укроп припас, так что ты у меня не отвертишься, — сказал Лис.

...Тут дядюшка Римус замолчал и стал вынимать из золы картошку.

— Старый Лис съел Братца Кролика? — спросил мальчик дядюшку Римуса.

— А кто их знает, — ответил старик. — Сказка-то кончена. Кто говорит — Братец Медведь пришёл, его выручил, а кто говорит — нет. Слышишь, мама зовёт тебя. Беги, дружок.



Как Братец Кролик перехитрил Братца Лиса

— Дядюшка Римус, — спросил Джоэль вечером, когда старик как будто ничем не был занят, — скажи, когда Лис поймал Кролика Чучелком, он не убил его и не съел?

— Разве ж я не рассказывал тебе об этом, дружок? Ну да, я ведь сонный был, и в голове у меня всё спуталось, и мама как раз позвала тебя. О чём же мы тогда толковали? Помню, помню. Ты, никак, и глазки уже трёшь? Нет, плакать по Братцу Кролику погоди. Даром, что ли, он был такой шустрый? Ты послушай, что дальше будет.

Приклеился, значит, Братец Кролик к Чучелку, а Старый Лис ну кататься по земле, ну хохотать.

А потом говорит:

— Сдаётся мне, Братец Кролик, на этот раз я тебя поймал. Может, я и ошибаюсь, но кажется мне, что поймал. Ты всё тут скакал и потешался надо мной, но теперь конец твоим шуткам. И кто просил тебя лезть не в своё дело? И зачем сдалось тебе это Чучелко? И кто это прилепил тебя к нему? Никто, никто в целом свете! Никто не просил тебя, а просто ты сам взял и вклеился в это Чучелко! И сам ты во всём виноват, Братец Кролик! Так и надо тебе, так и будешь сидеть, пока я не наберу хвосту и не зажгу его, потому что я, конечно, зажарю тебя сегодня, Братец Кролик.

Так сказал Старый Лис.

А Кролик отвечает так смиренно, послушно:

— Делай со мной что хочешь, Братец Лис, только, пожалуйста, не вздумай бросить меня в этот терновый куст. Жарь меня, как хочешь, Братец Лис, только не бросай меня в этот терновый куст.

— Пожалуй, слишком много возни с костром, — говорит Лис. — Пожалуй, я лучше повешу тебя, Братец Кролик.

— Вешай, как хочешь высоко, Братец Лис, — говорит Кролик, — только бы ты не вздумал бросить меня в этот терновый куст.

— Верёвки-то у меня нет, — говорит Лис, — так что, пожалуй, я утоплю тебя.

— Топи меня так глубоко, как хочешь. Братец Лис, — говорит Кролик, — только не бросай меня в этот терновый куст.

Но Братец Лис хотел расправиться с Кроликом покрепче.

— Ну, — говорит, — раз ты боишься, как раз и брошу тебя в терновый куст.

— Где тебе! — говорит Братец Кролик. — С Чучелком-то я слишком тяжёл, не добросишь.

Схватил Лис Кролика за уши да как тряхнёт! Отклеилось, упало Чучелко.

— А вот и доброшу, — говорит Лис.

Как размахнётся, как бросит Кролика в серёдку тернового куста, даже треск пошёл. Встал Лис на задние лапы, смотрит, что будет с Кроликом. Вдруг слышит — кличет его кто-то. Глядь — там, на пригорке, Братец Кролик на брёвнышке, нога на ногу, сидит-посиживает, смолу из шерсти вычёсывает щепкой.

Понял тут Лис, что опять остался в дураках. А Братцу Кролику позлить его охота, он и кричит:

— Терновый куст — мой дом родной, Братец Лис! Терновый куст — мой дом родной!

Вскочил и пропал, как сверчок в золе.



ШАРЛЬ ПЕРРО (1628—1703)

Красная Шапочка

Жила-была маленькая девочка. Была она скромная и добрая, послушная и работающая. Мать не могла нарадоваться, что у неё растёт такая помощница: дочка помогала ей по хозяйству, а когда вся работа была сделана, читала матери что-нибудь вслух.

Всем нравилась эта милая девочка, но больше всех её любила бабушка. Сшила она как-то из красного бархата шапочку и подарила её внучке на именины.

Новая шапочка была девочке очень к лицу, и за то, что с того дня никакую другую она носить не хотела, люди прозвали её Красной Шапочкой.

Однажды мать решила испечь пирог.

Замесила она тесто, а Красная Шапочка нарвала яблок в саду. Пирог вышел на славу! Посмотрела на него мать да и говорит:

— Красная Шапочка, ступай-ка навести бабушку. Положу я тебе в корзинку кусок пирога и бутылку молока, отнесёшь это ей.

Обрадовалась Красная Шапочка, тут же собралась и отправилась к бабушке, которая жила на другом краю леса.

Мать вышла на крыльцо проводить девочку и стала её напутствовать:

— С чужими, дочка, не разговаривай, с дороги не сворачивай.

— Не беспокойся, — ответила Красная Шапочка, попрощалась с матерью и отправилась через лес к дому, где жила бабушка.

Шла Красная Шапочка по дороге, шла, да вдруг остановилась и подумала: «Какие красивые цветы здесь растут, а я и не смотрю вокруг, как звонко птицы поют, а я словно и не слышу! Как же хорошо здесь, в лесу!»

Действительно, сквозь деревья пробивались солнечные лучи, на полянках благоухали прекрасные цветы, над которыми порхали бабочки.

И Красная Шапочка решила:

«Принесу-ка я бабушке вместе с пирогом ещё и букет цветов. Ей, наверно, будет приятно. Ещё ведь рано, я к ней всегда успею».

И она свернула с дороги прямо в лесную чащу и стала собирать цветы. Сорвёт цветок и подумает: «А дальше вон растёт ещё покрасивей», — и к тому побежит; и так уходила она всё глубже и глубже в лес.

Идёт девочка по лесу, собирает цветы, поёт песенку, вдруг навстречу ей злющий волк.

А Красная Шапочка вовсе его и не испугалась.

— Здравствуй, Красная Шапочка! — сказал волк. — Куда это ты собралась так рано?

— К бабушке.

— А что у тебя в корзинке?

— Бутылка молока и пирог, мы с мамой его испекли, чтобы порадовать бабушку. Она больная да слабая, пусть поправляется.

— Красная Шапочка, а где живёт твоя бабушка?

— Чуть подальше в лесу, под тремя большими дубами стоит её домик.

— Счастливого пути тебе, Красная Шапочка, — пробормотал волк, а про себя подумал: «Славная девочка, лакомый был бы для меня кусочек; повкусней, пожалуй, чем старуха; но, чтоб схватить обеих, надо дело повести похитрей».

И он что есть духу помчался самой короткой дорогой к бабушкиному дому.

Идёт Красная Шапочка по лесу, никуда не торопится, а серый волк уже стучится к бабушке в дверь.

— Кто там?

— Это я, Красная Шапочка, принесла тебе пирог и бутылку молока, открой мне, — ответил волк тонким голосом.

— Нажми на щеколду¹, — крикнула бабушка, — я очень слаба, подняться не в силах.

Нажал волк на щеколду, дверь отворилась, и, ни слова не говоря, он подошёл прямо к бабушкиной постели и проглотил старушку.

Затем волк надел её платье, чепец, улёгся в постель и задёрнул полог.

А Красная Шапочка всё цветы собирала, и, когда она уже их набрала так много, что больше нести не могла, вспомнила она о бабушке и отправилась к ней.

¹ Щеколда — род дверного засова — металлическая пластина с рычажком.

Подошла Красная Шапочка к домику бабушки, а дверь открыта. Удивилась она, зашла внутрь и крикнула:

— Доброе утро! — Но ответа не было.

Тогда она подошла к постели, раздвинула полог, видит — лежит бабушка, надвинут чепец у неё на самое лицо, и выглядит она странно.

— Ой, бабушка, отчего у тебя такие большие уши? — спросила Красная Шапочка.

— Чтоб лучше тебя слышать!

— Ой, бабушка, а какие у тебя большие глаза!

— Это чтоб лучше тебя видеть!

— Ой, бабушка, а что это у тебя такие большие руки?

— Чтоб легче тебя обнять.

— Ох, бабушка, какой у тебя, однако, большой рот!

— Это чтоб легче было тебя проглотить!

Сказал это волк, вскочил с постели — и проглотил бедную Красную Шапочку.

Наелся волк и улёгся опять в постель, заснул и стал громко-прегромко храпеть.

Шёл мимо охотник.

Услышал он доносившиеся из домика какие-то странные звуки и насторожился: не может быть, чтобы старушка так громко храпела!

Подкрался он к окошку, заглянул внутрь — а там в кровати волк лежит.

— Вот ты где, серый разбойник! — сказал он. — Я уже давно тебя разыскиваю.

Хотел охотник сначала застрелить волка, да передумал. Вдруг тот съел бабушку, а её можно ещё спасти.

Взял охотник тогда ножницы и вспорол брюхо спящему волку. Выбрались оттуда Красная Шапочка и бабушка — обе живые и невредимые.

И были все трое очень и очень довольны. Охотник снял с волка шкуру и отнёс её домой. Бабушка скушала пирог,

выпила молока, что принесла ей Красная Шапочка, и начала поправляться да сил набираться.

Красная Шапочка же поняла, что всегда нужно слушаться старших и в лесу никогда не сворачивать с дороги...



Кот в сапогах

Один мельник, умирая, оставил своим трём сыновьям наследство: мельницу, осла и Кота. С разделом недолго возились и обошлись без помощи суда, потому что судьи обобрали бы их до нитки.

Старший брат взял себе мельницу.

Второй — осла.

А младшему дали Кота.

Он был неутешен, что досталась ему такая дрянь.

— Братья, — говорил он, — могут честно зарабатывать себе кусок хлеба, а мне, несчастному, когда я съем своего Кота и сошью из его шкуры рукавицы, придётся умирать с голоду.

Только вдруг Кот, который слышал эти речи, но не подавал и виду, что их понял, и говорит спокойным, серьёзным тоном:

— Не горюй, хозяин, а дай ты мне лучше мешок да закажи мне пару сапог, чтобы не больно было ходить по кустам. И увидишь, что ты не так обделён, как думаешь.

Владелец Кота не слишком поверил его обещаниям, но, вспомнив, что Кот мастер на разные хитрости (чтобы ловить мышей, например, он мог подвешиваться за лапы или прикидываться мёртвым), подумал, что, может быть, Кот и в самом деле поможет ему в несчастье.

Когда Кот получил то, что он просил, он храбро надел сапоги, перекинул мешок через плечо, взял в перед-

ние лапки верёвочки, которыми мешок задёргивался, и пошёл в лесок, где водилось много кроликов. В мешок он положил отрубей и травы. Растянувшись, как мёртвый, Кот стал ждать, когда какой-нибудь молодой кролик, ещё не искушённый в житейских проделках, сунется в мешок покушать брошенную туда приманку.

Едва он улёгся, как уже мог праздновать победу. Молоденький глупый кролик вскочил в мешок, и Кот сейчас же и задёрнул верёвочки.

Радуюсь своей добыче, он пошёл к королю и попросил аудиенции.

Кота впустили в покои его величества. Войдя туда, он отвесил королю низкий поклон и сказал:

— Государь, вот кролик. Господин маркиз Карабас (таким именем вздумалось Коту украсить своего хозяина) поручил мне поднести вам этого кролика в подарок.

— Скажи своему барину, — отвечал король, — что я благодарю его и очень доволен.

В другой раз Кот запрятался в пшеницу, опять со своим мешком, и, когда туда зашли две куропатки, задёрнув верёвочки, поймал их.

Потом он отнёс свою добычу королю, так же, как кролика. Король благосклонно принял и куропаток и приказал дать Коту на чай.

Таким образом Кот два или три месяца сряду носил королю дичь от имени своего хозяина. Вот однажды удалось ему узнать, что король собирается прокатиться по берегу реки с дочерью, самой хорошенькой принцессой на свете.

И говорит Кот хозяину:

— Если хочешь, послушайся моего совета и будешь тогда счастлив навеки. Ступай купаться, я укажу, в каком месте, а об остальном не заботься.

Маркиз Карабас послушался Кота, хоть и не понимал, для чего это нужно.

Вот плещется он в воде, а король едет мимо. Вдруг Кот как закричит:

— Помогите, помогите! Господин маркиз Карабас тонет!

Король высунулся из кареты на крик и, узнав Кота, который столько раз ему приносил дичь, приказал своим гвардейцам скорее бежать на помощь господину маркизу Карабасу.

Пока бедного маркиза вытаскивали из реки, Кот подошёл к карете и доложил королю, что в то время, как его барин купался, мошенники унесли его платье, хоть он, Кот, и кричал «караул» изо всей силы. (А плут сам же спрятал платье под большой камень.)

Король сейчас же приказал смотрителям своего гардероба принести господину маркизу Карабасу самый лучший костюм.

Потом король принял маркиза со всеми почестями. Платье, которое ему принесли, подчёркивало его прекрасную фигуру (он был хорош собою и строен), и королевской дочери он очень понравился. Не успел маркиз Карабас бросить ей два-три почтительных взгляда и один немножко нежный, как она уже в него влюбилась.

Король пригласил его сесть в карету и прокатиться вместе.

Кот, радуясь, что намерение его начинает приходить в исполнение, побежал вперёд. Попались ему крестьяне, косившие луг. Кот и говорит им:

— Эй вы, косари! Если вы да не скажете королю, что луг этот принадлежит господину маркизу Карабасу, смотрите у меня! Всех вас в порошок сотру!

Король действительно спросил косарей:

— Чей это луг?

— Господина маркиза Карабаса! — отвечали они во весь голос: угроза Кота их напугала.

— У вас хорошее состояние, — заметил король маркизу Карабасу.

— Да, государь, — ответил маркиз, — этот луг даёт мне весьма порядочный доход.

А Кот всё бежит впереди. Встречаются ему люди на жатве, он и говорит им:

— Эй вы, жнецы! Если вы да не скажете, что все эти хлеба принадлежат господину маркизу Карабасу, смотрите у меня: всех вас в порошок истолку!

Король, проезжая через несколько времени, пожелал знать, чьи это видны хлеба.

— Господина маркиза Карабаса! — отвечали жнецы.

И король порадовался этому вместе с маркизом.

А Кот всё бежал впереди кареты и всем, кого только ни встречал, наказывал одно и то же.

Король был изумлён громадностью состояния господина маркиза Карабаса.

Наконец Кот прибежал в прекрасный замок, принадлежавший Людоеду, который обладал невиданными богатствами, ибо все земли, через которые ехал король, составляли угодья этого замка.

Кот, который заранее узнал о том, кто такой Людоед и какие за ним водятся таланты, попросил позволения представиться ему, говоря, что он не смел пройти мимо замка, не явившись к нему на поклон.

Людоед принял его так вежливо, как только Людоед может, и пригласил садиться.

— Сказывают, — начал беседу Кот, — что вы можете, например, превратиться в льва или слона?

— Это правда, — басом отвечал Людоед, — а чтобы показать тебе моё искусство, вот смотри, я стану львом.

Кот так испугался, видя перед собою льва, что вмиг забежал на крышу — не без труда и не без опасности из-за своих сапог, ведь в сапогах очень неудобно ходить по черепице.

Когда Людоед принял человеческий образ, Кот спустился с крыши и признался, что он был в большом страхе.

— Сказывают ещё, — заговорил опять Кот, — но уж этому я не верю, — будто бы вы умеете обращаться и в самых маленьких зверьков, можете, например, превратиться в крысу или мышь? Откровенно скажу вам, я считаю это несбыточной вещью.

— Несбыточную? — заревел Людоед. — А вот увидишь.

И в ту же минуту он превратился в мышь, которая забегала по полу.

Кот как только её увидел, так сейчас же бросился на неё и съел.

Между тем король, заметив прекрасный замок Людоеда, пожелал в него войти.

Кот услышал стук экипажей по подъёмному мосту, кинулся навстречу и говорит королю:

— Милости просим, ваше величество, в замок господина маркиза Карабаса.

— Как, господин маркиз! — вскричал король. — И замок этот принадлежит вам? Ничего не может быть красивее двора и строений! Посмотрим комнаты, если позволите?

Маркиз подал молодой принцессе руку и последовал за королём, который шёл впереди. В большом зале их ожидала великолепная закуска, приготовленная Людоедом для своих приятелей, которые собирались навестить его в этот самый день, но не посмели войти, узнав, что в замке находится король.

Короля очаровали добрые качества господина маркиза Карабаса. Видя, каким маркиз обладает несметным богатством, король говорит:

— Не хотите ли, господин маркиз, быть моим зятем?

Маркиз не раздумывая согласился на такую большую честь и в тот же самый день обвенчался с принцессою.

Кот зажил большим барином и уж больше не ловил мышей, разве иногда для развлечения.



Подарки феи

Жила когда-то на свете вдова, и были у неё две дочери. Старшая — вылитая мать: то же лицо, тот же характер, смотришь на дочку, а кажется, что видишь перед собой матушку. Обе, и старшая дочь, и мать, были до того грубы, спесивы, заносчивы, злы, что все люди, и знакомые и незнакомые, старались держаться от них подальше.

А младшая дочка была вся в покойного отца — добрая, приветливая, кроткая, да к тому же ещё и красавица, каких мало.

Обычно люди любят тех, кто на них похож. Поэтому-то мать без ума любила старшую дочку и терпеть не могла младшую. Она заставляла её работать с утра до ночи, а кормила на кухне.

Кроме всех прочих дел, младшая дочка должна была по два раза в день ходить к источнику, который был, по крайней мере, в двух часах ходьбы, и приносить оттуда большой, полный доверху кувшин воды.

Как-то раз, когда девушка брала воду, к ней подошла какая-то бедная женщина и попросила напиться.

— Пейте на здоровье, тётушка, — сказала добрая девушка.

Сполоснув поскорее свой кувшин, она зачерпнула воды в самом глубоком и чистом месте и подала женщине, придерживая кувшин так, чтоб удобнее было пить.

Женщина отпила несколько глотков воды и сказала девушке:

— Ты так хороша, так добра и приветлива, что мне хочется подарить тебе что-нибудь на память. (Дело в том, что это была фея, которая нарочно приняла вид простой деревенской женщины, чтобы посмотреть, так ли эта девушка мила и учтива, как про неё рассказывают.) Вот что я подарю тебе: с нынешнего дня каждое слово, которое ты

промолвишь, упадёт с твоих губ либо цветком, либо драгоценным камнем. Прощай!

Когда девушка пришла домой, мать стала бранить её за то, что она замешкалась у источника.

— Простите, матушка, — сказала бедная девушка. — Я нынче и вправду запоздала.

Но едва только она проронила эти слова, как с губ её упали несколько роз, две жемчужины и два крупных алмаза.

— Смотрите-ка! — сказала мать, широко раскрыв глаза от удивления. — Мне кажется, вместо слов она роняет алмазы и жемчуга... Что это с тобой приключилось, дочка? (Первый раз в жизни она назвала свою меньшую тоже дочкой.)

Девушка попросту, не таясь и не хвалясь, рассказала матери обо всём, что с ней случилось у источника. А цветы и алмазы так и сыпались при этом с её уст.

— Ну, если так, — сказала мать, — надо мне послать к источнику и старшую дочку...

А ну-ка, Фаншон, посмотри, что сыплется с губ твоей сестры, чуть только она заговорит! Неужели тебе не хочется получить такой же удивительный дар? И ведь нужно для этого всего-навсего сходить к источнику и, когда бедная женщина попросит у тебя воды, вежливо подать ей напиться.

— Ну вот ещё! Охота мне тащиться в этакую даль! — отвечала злючка.

— А я хочу, чтобы ты пошла! — прикрикнула на неё мать. — И сию же минуту, без разговоров!

Девушка нехотя послушалась и пошла, так и не переставая ворчать. На всякий случай она захватила с собой серебряный кувшинчик, самый красивый, какой был у них в доме.

Едва успела она подойти к источнику, как навстречу ей из лесу вышла нарядно одетая дама и попросила глоток

воды. (Это была та же самая фея, но только на этот раз она приняла облик принцессы, чтобы испытать, так ли груба и зла старшая сестра, как о ней рассказывают.)

— Уж не думаете ли вы, что я притащилась сюда, чтобы дать вам напиться? — сказала девушка дерзко. — Ну конечно, только для этого! Я и серебряный кувшинчик нарочно захватила, чтобы поднести воду вашей милости!.. А впрочем, мне всё равно. Пейте, если хотите...

— Однако вы не очень-то любезны, — сказала спокойно фея. — Ну что ж, какова услуга, такова и награда. С нынешнего дня каждое слово, которое сорвётся с ваших губ, превратится в змею или жабу. Прощайте!

Как только девушка вернулась домой, мать кинулась к ней навстречу:

— Это ты, доченька? Ну как?

— А вот так, матушка! — буркнула в ответ дочка, и в то же мгновение две гадюки и две жабы плюхнулись на порог.

— Ах, боже мой! — вскрикнула мать. — Да что же это такое? Откуда?.. А, знаю! Это твоя сестра во всём виновата. Ну, поплатится же она у меня!.. — И она кинулась на младшую дочку с кулаками.

Бедняжка в страхе бросилась бежать и укрылась в соседнем лесу.

Там и встретил её молодой принц, сын короля этой страны.

Возвращаясь с охоты, он нашёл в чаще прекрасную девушку и, подивившись её красоте, спросил, что она делает в лесу совсем одна и о чём так горько плачет.

— Ах, сударь, — ответила красавица, — матушка прогнала меня из дому!..

Королевский сын заметил, что с каждым словом девушка роняет из уст цветок, жемчужину или алмаз. Он изумился и попросил объяснить, что это за чудо. И тут девушка рассказала ему всю свою историю.

Королевский сын влюбился в неё. К тому же он рассудил, что дар, которым фея наделила красавицу, стоит дороже любого приданого, какое могла бы принести ему другая невеста. Он увёз девушку во дворец, к своему отцу, и женился на ней.

Ну а старшая сестра с каждым днём становилась всё противнее и несноснее. В конце концов даже собственная мать не выдержала и прогнала её из дому. Несчастливая нигде и ни у кого не могла найти пристанища и умерла, отвергнутая всеми.



КИПЛИНГ ДЖОЗЕФ РЕДЬЯРД (1865—1936)

Отчего у верблюда горб

Вот ещё одна сказка, и в ней я хочу рассказать, откуда взялся на спине у Верблюда такой большой горб.

В самые первые годы, давно-давно, вся земля была новенькая, только что сделанная. Животные с первых же дней стали служить Человеку. Но в Ужасно-Унылой Пустыне жил Ужасно-Унылый Верблюд, который и не думал работать. Он ел сухие колючки, жёсткие ветки, тамариск, терновник и кору, но работать ни за что не хотел — такой бессовестный бездельник и лентяй! И что бы ни говорили ему, он на всё отвечал:

— Гррб!

Только «Гррб» — и больше ничего. Вот однажды, в понедельник утром, пришёл к нему Конь.

На спине у Коня было седло, в зубах уздечка.

— Верблюд, о Верблюд! — сказал он. — Ступай к Человеку и начни бегать рысью, как мы.

— Гррб! — ответил Верблюд, а Конь пошёл к Человеку и рассказал ему всё.

Вскоре после этого к Верблюду пришёл Пёс. В зубах у него была палка. Он пришёл и сказал:

— Верблюд, о Верблюд! Иди к Человеку, научись ходить вместе с ним на охоту, как мы.

— Гррб! — ответил Верблюд, а Пёс пошёл к Человеку и рассказал ему всё.

Вскоре после этого пришёл к Верблюду Бык. На шее у Быка было ярмо. Он сказал:

— Верблюд, о Верблюд! Иди к Человеку и паши землю, как мы.

— Гррб! — ответил Верблюд, а Бык пошёл к Человеку и рассказал ему всё.

Вечером Человек позвал Коня, Пса и Быка и сказал:

— Конь, Пёс и Бык, мне очень вас жалко (ведь мир был совсем ещё новенький!), но зверь, который кричит «Гррб» в той Пустыне, не способен ни к какой работе, а то бы он давно пришёл ко мне. Пусть себе живёт в своей Пустыне, я не трону его, но вам придётся работать вдвойне — и за себя и за него.

Тогда Конь, Пёс и Бык очень рассердились (ведь мир был ещё очень новый!). Они отправились к самому краю Пустыни и стали громко обсуждать, что им делать, и лаяли, и ржали, и мычали.

К ним подошёл Верблюд — бессовестный бездельник и лентяй! — и, лениво пережёвывая сухую траву, стал насмехаться над ними. Потом он сказал «Гррб» и удалился.

Мимо по дороге мчался в туче пыли Джинн, Владыка Всех Пустынь. (Джинны всегда путешествуют так, потому что они чародеи.) Он остановился поболтать с Конём, Псом и Быком.

— Владыка Всех Пустынь! — сказал Конь. — Кто имеет право бездельничать, если мир такой новый и в нём ещё так много работы?

— Никто, — ответил Джинн.

— А вот, — сказал Конь, — в твоей Ужасно-Унылой Пустыне живёт Ужасно-Унылый Зверь, с длинной шеей, с длинными ногами, который с самого утра, с понедельника, не подумал взяться за работу. Не желает бегать рысью — ни за что!

— Фью! — свистнул Джинн. — Да это мой Верблюд, клянусь золотом Аравийской земли! Что же он говорит?

— Он говорит одно слово: «Гррб», — сказал Пёс. — «Гррб» — и больше ничего. И не желает помогать Человеку охотиться.

— А что ещё он говорит? — спросил Джинн.

— Больше ничего, только «Гррб», и не желает пахать, — ответил Бык.

— Отлично! — воскликнул Джинн. — Пожалуйста, подождите минутку, я сейчас покажу ему «Гррб».

Он завернулся в свой плащ из пыли и помчался в Пустыню. Там он нашёл Верблюда. Тот стоял и любовался своим отражением в луже — бессовестный лентяй и бездельник.

— Мой лукавый длинноногий друг, — сказал Джинн, — я слышал, что ты не желаешь работать в нашем новом-новёхоньком мире. Что это значит?

— Гррб! — ответил Верблюд.

Джинн сел на песок и, опершись подбородком на руку, принялся колдовать, а Верблюд стоял и как ни в чём не бывало любовался своим отражением в луже.

— Конь, Бык и Пёс работали с самого утра, с понедельника, и работали больше, чем надо, оттого, что ты такой бессовестный лентяй и бездельник, — сказал Джинн.

И он опять опёрся рукой о подбородок и продолжал колдовать.

— Гррб! — повторил Верблюд.

— И как тебе не надоест это слово? Который раз ты повторяешь его? Бессовестный лентяй и бездельник, я хочу, чтобы ты начал работать!

— Гррб! — повторил Верблюд.

И вдруг спина, которой он так гордился, начала у него пухнуть, и пухла, и пухла, и у него вздулся огромный твёрдый горб.

— Полюбуйся! — сказал Джинн. — Это тот самый «Гррб», о котором ты постоянно твердишь. Он вырос у тебя оттого, что ты бессовестный лентяй и бездельник. Работа началась с понедельника, сегодня четверг, а ты до сих пор ещё не принялся за работу. Но теперь ты начнёшь работать!

— Как же я буду работать, если у меня огромный Гррб? — спросил Верблюд.

— А это тебе в наказание! — ответил Джинн. — За то, что ты прогулял трое суток. Но теперь ты можешь работать три дня без всякой пищи, потому что ты будешь есть свой собственный Гррб. Жил же ты три дня одним только «Гррб». После этого, я надеюсь, ты не станешь говорить, что я о тебе не забочусь. А теперь уходи из Пустыни, ступай к Коню, Псу и Быку и смотри, веди себя хорошо.

И пошёл Верблюд со своим горбом к Коню, Псу и Быку. И до сих пор он таскает на спине свой горб (мы не говорим уже «Гррб», мы говорим «горб», чтобы не обидеть Верблюда), и до сих пор он не может наверстать те три дня, которые он прогулял вначале, когда земля была новая, и до сих пор он не может научиться, как нужно себя вести.



Кошка, гулявшая сама по себе

Слушай, мой милый мальчик, слушай, внимай, разумеи, потому что это случилось, потому что это произошло, потому что это было ещё в ту далёкую пору, когда Ручные Животные были Животными Дикими.

Собака была дикая, и Лошадь была дикая, и Корова была дикая, и Овца была дикая, и Свинья была дикая — и все они были дикие-предикие и дико блуждали по Мокрым и Диким Лесам.

Но самая дикая была Дикая Кошка — она бродила где вздумается и гуляла сама по себе.

Человек, конечно, был тоже дикий, страшно дикий, ужасно дикий. И никогда бы ему не сделаться ручным, если бы не Женщина. Это она объявила ему — при первой же встрече, — что ей не нравится его дикая жизнь. Она живо сыскала ему для жилья уютную, сухую Пещеру, потому что спать в Пещере было куда лучше, чем валяться под открытым небом на куче сырой листвы. Она посыпала пол чистым песочком и развела в глубине Пещеры отличный костёр.

Потом она повесила у входа в Пещеру шкуру Дикой Лошади хвостом вниз и сказала Мужчине:

— Вытирай, милый, ноги, прежде чем войти: ведь теперь у нас хозяйство.

В этот вечер, мой милый мальчик, они ужинали дикой овцой, зажаренной на раскалённых камнях, приправленной диким чесноком и диким перцем. Потом они съели дикую утку, начинённую диким рисом, дикими яблоками и дикой гвоздикой; потом хрящики диких быков; потом дикие вишни и дикие гранаты. Потом Мужчина, очень счастливый, пошёл и заснул у огня, а Женщина села колдовать: она распустила волосы, взяла плечевую баранью кость, очень плоскую и очень гладкую, и стала пристально всматриваться в про-

ходящие по кости разводы. Потом она подбросила поленьев в огонь и затянула песню. Это было Первое в мире Колдовство, Первая Волшебная Песня.

И собрались в Мокром и Диком Лесу все Дикие Звери; сбились в одно стадо и, глядя на свет огня, не знали, что это такое.

Но вот топнул дикой ногой Дикий Конь и дико сказал:

— О Друзья мои! О мои Недруги! Чует сердце моё: не к добру засветили Мужчина и Женщина в большой Пещере большой огонь. Нет, это не к добру!

Дикий Пёс задрал дикий нос, понюхал, как пахнет баранье жаркое, и дико сказал:

— Пойду погляжу, а потом расскажу. Мне кажется, что там не так уж плохо. Кошка, пойдём со мною!

— Ну нет, — отвечала Кошка. — Я, Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе.

— Ну, тогда я тебе не товарищ, — сказал Дикий Пёс и побежал к Пещере во весь дух. Но не пробежал он и десяти шагов, а Кошка уже подумала: «Я, Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе. Почему бы мне не пойти туда и не посмотреть, как и что? Ведь я пойду по своей собственной воле».

И она тихохонько побежала за Псом, ступая мягко-премягко, и забралась в такое местечко, откуда ей было слышно решительно всё.

Когда Дикий Пёс подошёл к Пещере, он диким носом приподнял лошадиную шкуру и стал упиваться прекрасным запахом бараньего жаркого, а Женщина, колдовавшая костью, услышала шорох и сказала, смеясь:

— Вот, уже пришёл первый. Ты, из Дикого Леса Дикая Тварь, чего тебе надобно здесь?

И отвечал Дикий Пёс:

— Скажи мне, о Враг мой, Жена Врага моего, что это пахнет так нежно среди этих Диких Лесов?

И нагнулась Женщина, и подняла с полу кость, и бросила Дикому Псу, и сказала:

— Ты, из Дикого Леса Дикая Тварь, отведай, погрызи эту кость.

Взял Дикий Пёс эту кость в свои дикие зубы, и она оказалась вкуснее всего, что он грыз до той поры, и он обратился к Женщине с такими словами:

— Послушай, о Враг мой, Жена моего Врага, брось мне скорее другую такую же кость.

И отвечала ему Женщина:

— Ты, из Дикого Леса Дикая Тварь, поди помоги моему Мужчине ходить за добычей, стеречь эту Пещеру по ночам, и я дам тебе столько костей, сколько тебе будет нужно.

— Ах, — сказала Кошка, слушая их разговор, — это очень умная Женщина, хотя, конечно, не умнее меня.

Дикий Пёс забрался в Пещеру, положил голову Женщине на колени и сказал:

— О мой Друг, Жена моего Друга, хорошо. Я готов помогать твоему Мужчине охотиться, я буду стеречь по ночам вашу Пещеру.

— Ах, — сказала Кошка, слушая их разговор, — что за глупец этот Пёс!

И она пошла прочь, пробираясь по Дикому Лесу и дико помахивая своим диким хвостом. Но обо всём, что видела, никому не сказала ни слова.

Проснувшись, Мужчина спросил:

— Что здесь делает Дикий Пёс?

И ответила Женщина:

— Его имя уже не Дикий Пёс, а Первый Друг, и он будет нам другом на веки веков. Как пойдёшь на охоту, возьми и его с собой.

На следующий вечер Женщина нарезала на заливных лугах большую охапку травы и разложила её сушиться у огня, и, когда пошёл от травы такой запах, как от свежескошенного сена, она села у входа в Пещеру, сделала из лошадиной кожи уздечку и, уставившись на плечевую баранью кость — на широкую, большую лопатку, — снова принялась колдовать и запела волшебную песню.

То было Второе Колдовство и Вторая Волшебная Песня.

И снова в Диком Лесу собрались все Дикие Звери и, глядя издали на огонь, толковали, что такое могло приключиться с Диким Псом. И вот Дикий Конь дико топнул дикой ногой и сказал:

— Пойду погляжу, а потом расскажу, почему Дикий Пёс не вернулся. Кошка, хочешь, отправимся вместе?

— Нет, — отвечала Кошка, — я, Кошка, брожу где вздумается и гуляю сама по себе. Иди один.

Но на самом деле она тихонько прокралась за Диким Конём, ступая мягко-премягко, и забралась в такое местечко, откуда было слышно решительно всё.

Услыхала Женщина конский топ, услышала, как пробирается к ней Дикий Конь, наступая на свою длинную гриву, засмеялась и сказала:

— А вот и второй идёт! Ты, из Дикого Леса Дикая Тварь, чего тебе надобно здесь?

Дикий Конь отвечал:

— Ты, мой Враг, Жена моего Врага, отвечай мне скорее, где Дикий Пёс?

Женщина засмеялась, подняла с полу баранью лопатку, поглядела на неё и сказала:

— Ты, из Дикого Леса Дикая Тварь, не за Псом ты пришёл сюда, а за сеном, за этой вкусной травой.

Дикий Конь, перебирая ногами и наступая на свою длинную гриву, сказал:

— Это правда. Дай-ка мне сена!

Женщина отвечала:

— Ты, из Дикого Леса Дикая Тварь, склони свою дикую голову и носи, что я надену на тебя, — носи, не снимая во веки веков, и трижды в день ты будешь есть эту дивную траву.

— Ах, — сказала Кошка, слушая их разговор, — эта Женщина очень умна, но, конечно, не умнее меня.

И нагнул Дикий Конь свою дикую голову, и Женщина накинула на неё только что сплетённую уздечку, и дох-

нул он своим диким дыханием прямо на ноги Женщине и сказал:

— О моя Госпожа, о Жена моего Господина, за чудесную эту траву я буду тебе вечным рабом!

— Ах, — сказала Кошка, слушая их разговор, — какой он глупец, этот Конь!

И снова она бросилась в чащу Дикого Леса, дико помахивая своим диким хвостом. Но обо всём, что слыхала, никому не сказала ни слова.

Когда Пёс и Мужчина вернулись с охоты, Мужчина сказал:

— А что здесь делает Дикий Конь?

И Женщина отвечала:

— Не Дикий Конь уже имя его, но Первый Слуга, так как с места на место он будет возить нас во веки веков. Когда ты соберёшься на охоту, садись на него верхом.

На следующий день подошла к Пещере Корова. Она тоже была дикая и должна была высоко задирать свою дикую голову, чтобы не зацепиться дикими рогами за дикие деревья. Кошка прокралась вслед за ней и спряталась точно так же, как и раньше; и всё случилось точно так же, как раньше; и Кошка сказала то же, что раньше; и когда Дикая Корова в обмен на прекрасную траву обещала Женщине своё молоко, Кошка бросилась в Дикий Лес и дико замахала диким хвостом, опять-таки точно так же, как раньше.

И обо всём, что слыхала, никому не сказала ни слова.

А когда Пёс, Человек и Конь вернулись с охоты и Человек спросил точно так же, как раньше, что делает здесь Дикая Корова, Женщина отвечала точно так же, как раньше:

— Теперь не Дикая Корова ей имя, но Подательница Хорошей Еды. Она будет давать нам белое парное молоко во веки веков, и я готова ходить за ней, пока ты, да наш Первый Друг, да наш Первый Слуга будете в лесу на охоте.

Напрасно Кошка прождала весь день, чтобы ещё кто-нибудь из Диких Зверей пришёл к Пещере: больше никто не приходил из Мокрого Дикого Леса. Так что Кошке поневоле пришлось блуждать одиноко, самой по себе. И вот увидела она Женщину, которая сидела и доила Корову. И увидела она в Пещере свет и почуяла запах белого парного молока. И сказала она Женщине:

— Ты, мой Враг, Жена моего Врага! Скажи: не видела ли ты Коровы?

Женщина засмеялась и сказала:

— Ты, из Дикого Леса Дикая Тварь, ступай себе в Лес подобру-поздорову! Мне больше не надо ни слуг, ни друзей. Я уже заплела мою косу и спрятала волшебную кость.

И ответила Дикая Кошка:

— Я не друг и не слуга. Я, Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе, и вот мне вздумалось прийти к тебе в Пещеру.

И спросила её Женщина:

— Почему в первый же вечер ты не пришла с Первым Другом?

Кошка рассердилась и сказала:

— Должно быть, Дикий Пёс уже наговорил тебе про меня небылиц!

Женщина засмеялась и сказала:

— Ты, Кошка, гуляешь сама по себе и ходишь где тебе вздумается. Ты сама говоришь, что ты не слуга и не друг. Иди же отсюда сама по себе куда вздумается!

Кошка притворилась обиженной и сказала:

— Неужели мне иной раз нельзя прийти к тебе в Пещеру и погреться у горячего огня? И неужели ты никогда не дашь мне полакомиться белым парным молоком? Ты такая умница, ты такая красавица, — нет, хоть я и Кошка, а ты не будешь жестока со мной.

Женщина сказала:

— Я знаю, что я умница, но что я красавица — не знала. Давай заключим договор. Если я хоть раз похвалю тебя, ты можешь войти в Пещеру.

— А если ты дважды похвалишь меня? — спросила Кошка.

— Ну, этому не бывать, — сказала Женщина. — Но если это случится, входи и садись у огня.

— А что, если ты трижды похвалишь меня? — спросила Кошка.

— Ну, этому не бывать, — сказала Женщина. — Но если это случится, приходи и получай молоко три раза в день до скончания века!

Кошка выгнула спину и сказала:

— Ты, Занавеска у входа в Пещеру, и ты, Огонь в глубине Пещеры, и вы, Молочные Крынки, стоящие у Огня, вас я беру в свидетели: запомните, что сказал мой Враг, жена моего Врага!

И, повернувшись, ушла в Дикий Лес, дико помахивая диким хвостом.

Когда в тот вечер Пёс, Мужчина и Конь возвратились с охоты в Пещеру, Женщина ни слова не сказала им о своём договоре с Кошкой, так как боялась, что это им не понравится.

Кошка ушла далеко-далеко и так долго скрывалась в Диком Лесу, что Женщина забыла и думать о ней. Только Летучая Мышь, висевшая вверх ногами у входа в Пещеру, знала, где скрывается Кошка, и каждый вечер подлетала к тому месту и сообщала Кошке все новости.

Как-то вечером прилетает она к Кошке и говорит:

— А в Пещере — Младенчик! Он совсем, совсем маленький. Такой розовый, толстый и крошечный. И он очень нравится Женщине.

— Отлично, — сказала Кошка. — А что же нравится Младенчику?

— Мягкое и гладкое, — ответила Летучая Мышь. — Как идти спать, он берёт в ручонки что-нибудь тёплое и засыпает. Потом ему нравится, чтобы с ним играли. Вот и всё, что ему нравится.

— Отлично, — сказала Кошка. — Если так, то мой час настал.

На следующий вечер Кошка пробралась к Пещере по Дикому Лесу и просидела недалеко до самого утра. Утром Пёс, Человек и Конь ушли на охоту, а Женщина занялась стряпнёй. Ребёнок плакал и отрывал её от работы. Она вынесла его из Пещеры и дала ему камешков поиграть, но он не унимался.

Тогда Кошка протянула пухлую лапу, и погладила Ребёнка по щеке, и замурлыкала, и пошла тереться о его коленку, и хвостом зашекетала ему подбородок. Ребёнок засмеялся, и Женщина, слыша его смех, улыбнулась.

Тогда воскликнула Летучая Мышь — маленькая Летучая Мышь, висевшая вверх ногами у входа в Пещеру:

— О Хозяйка моя, Жена моего Хозяина, Мать Хозяйского Сына! Из Дикого Леса пришла Дикая Тварь и как славно она играет с твоим Ребёнком!

— Спасибо Дикой Твари, — сказала Женщина, разгибая спину. — У меня так много работы, и она оказала мне большую услугу.

И вот, милый мальчик, не успела она вымолвить это, как в ту же минуту и в ту же секунду — бух, бух! — падает лошадиная шкура, висевшая хвостом книзу у входа в Пещеру (это она вспомнила, что у Женщины с Кошкой был договор), и не успела Женщина поднять её, а Кошка уже сидит в Пещере, уселась поудобнее и сидит.

— Ты, мой Враг, ты, Жена Врага моего, ты, Мать моего Врага, — сказала Кошка, — посмотри: я здесь. Ты похвалила меня — и вот я здесь и буду сидеть в Пещере во веки веков. Но всё же запомни: я, Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе.

Женщина очень рассердилась, но прикусила язык и села за прялку прясть.

Но Ребёнок заплакал опять, потому что Кошка ушла от него; и Женщина не могла его унять: он бился, брыкался и весь посинел от крика.

— Ты, мой Враг, ты, Жена Врага моего, ты, Мать моего Врага, — сказала Кошка, — послушай, что я тебе скажу: возьми оторви кусочек нитки от той, которую ты прядёшь, привяжи к ней своё веретёнце, и я так наколдую тебе, что Ребёнок сию же минуту засмеётся и будет смеяться так же громко, как плачет теперь.

— Ладно, — сказала Женщина. — Я уже совсем потеряла голову. Но помни: благодарить тебя я не стану.

Она привязала к нитке глиняное веретёнце и потянула его по полу, и Кошка побежала за ним, и хватала его, и кувыркалась, и швыряла его к себе на спину, и ловила его задними лапами, и нарочно отпускала его, а потом кидалась вдогонку, — и вот Ребёнок засмеялся ещё громче, чем плакал; он ползал за Кошкой по всей Пещере и резвился, пока не устал. Тогда он задремал вместе с Кошкой, не выпуская её из рук.

— А теперь, — сказала Кошка, — я спою ему песню, убаюкаю его на часок.

И как пошла она мурлыкать то громче, то тише, то тише, то громче, — Ребёнок и заснул крепким сном. Женщина поглядела на них и с улыбкой сказала:

— Это была неплохая работа! Что бы там ни было, всё же ты умница, Кошка.

Не успела она договорить — п-ф-ф-ф! — дым от Огня тучами за клубился в Пещере: это он вспомнил, что у Женщины с Кошкой был договор. И когда дым рассеялся, глядь, Кошка сидит у огня, уселась поудобнее и сидит.

— Ты, мой Враг, ты, Жена Врага моего, ты, Мать моего Врага, — сказала Кошка, — посмотри: я здесь. Ты снова похвалила меня, и вот я здесь, у тёплого очага, и отсюда

я не уйду во веки веков. Но всё же запомни: я, Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе.

Женщина очень рассердилась, распустила волосы, подбросила дров в огонь, достала баранью кость и пошла опять колдовать, чтобы как-нибудь ненароком в третий раз не похвалить эту Кошку.

Но, милый мальчик, она колдовала без звука, без песни, — и вот в Пещере стало так тихо, что какая-то Крошка-Мышка выскочила из угла и тихонько забегала по полу.

— Ты, мой Враг, ты, Жена Врага моего, ты, Мать моего Врага, — сказала Кошка, — это ты вызвала Мышку своим колдовством?

— Ай-ай-ай! Нет! — закричала Женщина, выронила кость, вскочила на скамеечку, стоявшую у огня, и поскорее подбрала свои волосы, чтобы Мышка не взбежала по ним.

— Ну, если ты не заколдовала её, — сказала Кошка, — мне будет не вредно её съесть.

— Конечно, конечно! — сказала Женщина, заплетая косу. — Съешь её поскорей, и я век буду благодарна тебе.

В один прыжок поймала Кошка Мышку, и Женщина воскликнула от души:

— Спасибо тебе тысячу раз! Сам Первый Друг ловит Мышей не так быстро, как ты. Ты, должно быть, большая умница.

Не успела договорить, как — трах! — в ту же самую минуту и в ту же самую секунду треснула Крынка с молоком, стоявшая у очага, — треснула пополам, потому что вспомнила, какой договор был у Женщины с Кошкой. И не успела Женщина сойти со скамеечки, глядь, а Кошка уже лакает из одного черепка этой Крынки белое парное молоко.

— Ты, мой Враг, ты, Жена Врага моего, ты, Мать моего Врага, — сказала Кошка, — посмотри: я здесь. В третий раз похвалила ты меня: давай же мне трижды

в день побольше белого парного молока — во веки веков. Но всё же запомни: я, Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе.

И засмеялась Женщина и, поставив миску белого парного молока, сказала:

— О Кошка! Ты разумна, как человек, но помни: договор наш был заключён, когда не было дома ни Пса, ни Мужчины; не знаю, что скажут они, как вернутся домой.

— Какое мне до этого дело! — сказала Кошка. — Мне бы только местечко в Пещере и три раза в день побольше белого парного молока, и я буду очень довольна. Никакие Псы, никакие Мужчины меня не касаются.

В тот же вечер, когда Пёс и Мужчина вернулись с охоты в Пещеру, Женщина рассказала им всё как есть о своём договоре с Кошкой, а Кошка сидела у огня и очень приятно улыбалась.

И сказал Мужчина:

— Всё это хорошо, но не худо бы ей и со мной заключить договор. Через меня она заключит его со всеми Мужчинами, которые будут после меня.

Он взял пару сапог, взял кремнёвый топор (итого три предмета), принёс со двора полено и маленькую секиру (итого пять), поставил всё это в ряд и сказал:

— Давай и мы заключим договор. Ты живёшь в Пещере во веки веков, но если ты забудешь ловить Мышей — посмотри-ка на эти предметы: их пять, и я имею право любой из них швырнуть в тебя, и так же вслед за мною будут поступать все Мужчины.

Женщина услышала это и молвила про себя:

— Да, Кошка умна, а Мужчина умнее.

Кошка сосчитала все вещи — они были довольно тяжёлые — и сказала:

— Ладно! Я буду ловить Мышей во веки веков, но всё же я, Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе.

— Гуляй, гуляй, — отозвался Мужчина, — да только не там, где я. Попадёшься мне на глаза, я сейчас же швырну в тебя либо сапогом, либо поленом, и так станут поступать все Мужчины, которые будут после меня.

Тогда выступил Пёс и сказал:

— погоди. Теперь мой черёд заключать договор. А через меня договор будет заключён и со всеми другими Псами, которые будут жить после меня. — Он оскалил зубы и показал их Кошке. — Если, пока я в Пещере, ты будешь неласкова с Ребёнком, — продолжал он, — я буду гоняться за тобою, пока не поймаю тебя, а когда я поймаю тебя, я искусаю тебя. И так станут поступать все Собаки, которые будут жить после меня во веки веков.

Услышала это Женщина и молвила про себя:

— Да, эта Кошка умна, но не умнее Собаки.

Кошка сосчитала собачьи зубы, и они показались ей очень острыми. Она сказала:

— Хорошо, пока я в Пещере, я буду ласкова с Ребёнком, если только Ребёнок не станет слишком больно таскать меня за хвост. Но не забудьте: я, Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе.

— Гуляй, гуляй, — отозвался Пёс, — да только не там, где я. А не то, чуть встречу тебя, я сейчас же залаю, налечу на тебя и загоню тебя вверх на дерево.

И так станут поступать все Собаки, которые будут жить после меня.

И тотчас же, не теряя ни минуты, кинул Мужчина в Кошку двумя сапогами да кремнёвым топориком, и Кошка бросилась вон из Пещеры, а Пёс погнался за ней и загнал её вверх на дерево, — и с того самого дня, мой мальчик, и поныне трое Мужчин из пяти, — если они настоящие Мужчины, — швыряют разными предметами в Кошку, где бы она ни попалась им на глаза, и все Псы, — если они настоящие Псы, — все до одного, загоняют её вверх на дерево. Но и Кошка верна своему

договору. Пока она в доме, она ловит мышей и ласкова с детьми, если только дети не слишком больно таскают её за хвост. Но чуть улучит минуту, чуть настанет ночь и взойдёт луна, сейчас же она говорит: «Я, Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе», и бежит в чащу Дикого Леса, или влезает на мокрые Дикие Деревья, или взбирается на мокрые Дикие Крыши и дико машет своим диким хвостом.



РАССКАЗЫ
И СКАЗЫ

**АНДРЕЕВ
ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
(1871—1919)**

Кусака

I

Она никому не принадлежала; у неё не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От тёплых изб её отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому; когда, гонимая голодом или инстинктивной потребностью в общении, она показывалась на улице, — ребята бросали в неё камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя от страха, перемётываясь со стороны на сторону, натываясь на загорожи и людей, она мчалась на край посёлка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу.

Только один раз её пожалели и приласкали. Это был пропойца мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей; пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.

— Жучка! — позвал он её именем, общим всем собакам. — Жучка! Пойди сюда, не бойся!

Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил:

— Да пойдя, дура! Ей-богу, не трону!

Но, пока собака колебалась, всё яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперёд, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесённые ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул её в бок носком тяжёлого сапога.

— У-у, мразь! Тоже лезет!

Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрёл домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок.

С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели её приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать её. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила её: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улёгшись на своё место, она всё ещё злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и даже гордость.

Зимняя ночь тянулась долго-долго, и чёрные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонёк: то отражалась на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч.

II

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колёс и грязным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая весёлая ватага взрослых, подростков и детей, опьянённых воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом.

Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях всё видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьёзно сказала:

— Вот весело-то!

Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и так же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.

— Ай, злая собака! — убегая, крикнула девушка, и долго ещё слышался её взволнованный голос: — Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! Огромная!.. Злю-у-щая!..

Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на своё место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве шуршало что-то невидимое, маленькое и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки; хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега и скрипели

нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстился запах душистого, свежего дёгтя и манил в светлеющую даль.

Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя всё зелёным, голубым и беззлобным, делало их ещё добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить её из револьвера, если не уберётся; но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали:

— А где же наша Кусака?

И это новое имя Кусака так и осталось за ней. Случалось, что и днём замечали в кустах тёмное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшей хлеб, словно это был не хлеб, а камень, — и скоро все привыкли к Кусачке, называли её своей собакой и шутили по поводу её дикости и беспричинного страха. С каждым днём Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее её от людей; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Лёля, забывшая обиду, окончательно ввела её в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей.

— Кусачка, пойдёшь ко мне! — звала она к себе. — Ну, хорошая, ну, милая, пойдёшь! Сахару хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойдёшь же!

Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Лёля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит.

— Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?

Брови Лёли поднялись, и у самой у неё был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо, до красноты щёк, всё её молоденькое, наивно-прелестное личико.

И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят её или приласкают. Но её приласкали. Маленькая, тёплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча.

— Мама, дети! Глядите: я ласкаю Кусаку! — закричала Лёля.

Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, что, если теперь кто-нибудь ударит её, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами: у неё отняли её непримиримую злобу. И когда все наперерыв стали ласкать её, она долго ещё вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара.

III

Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У неё было имя, на которое она стремглав неслась из зелёной глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки?

С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела очень мало, но и это малое изменило её до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбе-

гала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить её или бросить камнем.

Но такую гордую и независимую она бывала только наедине. Страх не совсем ещё выпарился огнём ласк из её сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго ещё всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться и тем выражают свои чувства, но она не умела.

Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить её восторга, благодарности и любви, — и с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и её тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким.

— Мама, дети! Смотрите, Кусака играет! — кричала Лёля и, задыхаясь от смеха, просила: — Ещё, Кусачка, ещё! Вот так! Вот так...

И все собирались и хохотали, а Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в её глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть её отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали её, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал:

— Кусачка, милая Кусачка, поиграй!

И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом весёлом хохоте. Её хвалили при ней и за глаза

и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой.

...Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определённый час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на своё место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она: редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали её с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам всё так же громок и бдителен был её сторожевой лай.

IV

Жёлтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой.

— Как же нам быть с Кусакой? — в раздумье спрашивала Лёля.

Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя.

— Что у тебя за поза, Лёля! Ну кто так сидит? — сказала мать и добавила: — А Кусаку придётся оставить. Бог с ней!

— Жа-а-лко, — протянула Лёля.

— Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах её держать нельзя, ты сама понимаешь.

— Жа-а-лко, — повторила Лёля, готовая заплакать.

Уже приподнялись, как крылья ласточки, её тёмные брови и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала:

— Догаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А эта что — дворняжка!

— Жа-а-лко, — повторила Лёля, но не заплакала.

Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели возы, и застонали под тяжёлыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нём фигуры в красных рубахах.

— Ты здесь, моя бедная Кусачка, — сказала вышедшая Лёля. Она уже была одета по-дорожному — в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и чёрную кофточку. — Пойдём со мной!

И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и всё пространство между почерневшею землёй и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как скучно солнцу за эту плотную стеной.

Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди, недалеко, была застава и возле неё трактир с железной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу.

— Дайте копеечку, — гнусавил протяжно дурачок, и злые, насмешливые голоса наперебой отвечали ему:

— А дрова колоть хочешь?

И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали.

Прорвался солнечный луч, жёлтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным; шире и печальнее стала туманная осенняя даль.

— Скучно, Кусака! — тихо проронила Лёля и, не оглядываясь, пошла назад.

И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой.

V

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и — промокшая, грязная — вернулась на дачу. Там она проделала ещё одну новую штуку, которой никто, однако, не видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке.

Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождём лился с неприветного неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго ещё боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он.

Наступила ночь.

И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завывала. Звенящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понёсся над тёмным и обнажённым полем.

Собака выла — ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно-тёмная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу.

Собака выла.



Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (1852—1906)

Тёма и Жучка

Ночь. Тёма спит нервно и возбуждённо...

Неясный полусвет ночника слабо освещает четыре детские кровати и пятую большую, на которой сидит теперь няня в одной рубаше, с выпущенной косой, сидит и сонно качает маленькую Аню.

— Няня, где Жучка? — спрашивает Тёма.

— И-и, — отвечает няня. — Жучку в старый колодец бросил какой-то ирод. — И, помолчав, прибавляет: — Хоть бы убил сперва, а то так, живьём... Весь день, говорят, визжала, сердечная...

Тёме живо представляется старый, заброшенный колодец в углу сада, давно превращённый в свал всяких нечистот, представляется скользкое жидкое дно его, которое иногда с Иоськой они любили освещать, бросая туда зажжённую бумагу.

— Кто бросил? — спрашивает Тёма.

— Да ведь кто? Разве скажет!

Тёма с ужасом вслушивается в слова няни. Мысли роем теснятся в его голове, у него мелькает масса планов, как спасти Жучку, он переходит от одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя снова засыпает. Он просыпается опять от какого-то толчка среди прерванного сна, в котором он всё вытаскивал Жучку какой-то длинной петлёй. Но Жучка всё обрывалась, пока он не решил сам лезть за нею. Тёма совершенно явственно помнит, как он привязал верёвку к столбу и, держась за эту верёвку, начал осторожно спускаться по срубу вниз; он уже добрался до половины, когда ноги его вдруг соскользнули и он

стремглав полетел на дно вонючего колодца. Он проснулся от этого падения и опять вздрогнул, когда вспомнил впечатление падения.

Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Через ставни слабо брезжил начинающийся рассвет.

Тёма чувствовал во всём теле какую-то болезненную истому, но, преодолев слабость, решил немедленно выполнить первую половину сна. Он начал быстро одеваться...

Одевшись, Тёма подошёл к няниной постели, поднял лежавшую на полу коробочку с серными спичками, взял горсть их к себе в карман, на цыпочках прошёл через детскую и вышел в столовую. Благодаря стеклянной двери на террасу здесь было уже порядочно светло.

В столовой царил обычный утренний беспорядок: на столе стоял холодный самовар, грязные стаканы, чашки, валялись на скатерти куски хлеба, стояло холодное блюдо жаркого с застывшим белым жиром.

Тёма подошёл к отдельному столику, на котором лежала кипа газет, осторожно выдернул из середины несколько номеров, на цыпочках подошёл к стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, повернул ключ, нажал ручку и вышел на террасу.

Его обдало свежей сыростью рассвета.

День только что начинался. По бледному голубому небу там и сям, точно ключьями, повисли мохнатые, пушистые облака. Над садом лёгкой дымкой стоял туман. На террасе было пусто, и только платок матери одиноко валялся, забытый на скамейке...

Он спустился по ступенькам террасы в сад. В саду царил такой же беспорядок вчерашнего дня, как и в столовой. Цветы с слепившимися перевёрнутыми листьями, как их прибил вчера дождь, пригнулись к грязной земле. Мокрые жёлтые дорожки говорили о силе вчерашних потоков. Деревья с опрокинутой ветром листвой так и остались наклонёнными, точно забывшись в сладком предрассветном сне.

Тёма пошёл по главной аллее, потому что в каретнике надо было взять для петли вожжи. Что касается до жердей, то он решил выдернуть их из беседки...

Каретник оказался запертым, но Тёма знал и без замка ход в него: он пригнулся к земле и подлез в подрытую собаками подворотню. Очутившись в сарае, он взял двое вожжей и захватил на всякий случай длинную верёвку, служившую для просушки белья.

При взгляде на фонарь он подумал, что будет удобнее осветить колодец фонарём, чем бумагой, потому что горящая бумага может упасть на Жучку — обжечь её.

Выбравшись из сарая, Тёма избрал кратчайший путь к беседке — перелез прямо через стену, отделявшую чёрный двор от сада. Он взял в зубы фонарь, намотал на шею вожжи, подвязался верёвкой и полез на стену. Он мастер был лазить, но сегодня трудно было взбираться: в голову точно стучали два молотка, и он едва не упал.

Взобравшись наверх, он на мгновение присел, тяжело дыша, потом свесил ноги и наклонился, чтобы выбрать место, куда прыгнуть. Он увидел под собой сплошные виноградные кусты и только теперь спохватился, что его всего забрызгает, когда он попадёт в свеженамоченную листву. Он оглянулся было назад, но, дорожа временем, решил прыгать. Он всё-таки наметил глазами более редкое место и спрыгнул прямо на черневший кусок земли. Тем не менее это его не спасло от брызг, так как надо было пробираться между сплошными кустами виноградника, и он вышел на дорожку совершенно мокрый. Эта холодная ванна мгновенно освежила его, и он почувствовал себя настолько бодрым и здоровым, что пустился рысью к беседке, взобрался проворно на горку, выдернул несколько самых длинных прутьев и большими шагами по откосу горы спустился вниз...

Подбежав к отверстию старого, заброшенного колодца, пустынно торчавшего среди глухой, поросшей только высокой травой местности, Тёма вполголоса позвал:

— Жучка, Жучка!

Тёма замер в ожидании ответа.

Сперва он ничего, кроме биения своего сердца да ударов молотков в голове, не слышал. Но вот откуда-то издалека, снизу, донёсся до него жалобный, протяжный стон. От этого стона сердце Тёмы мучительно сжалось, и у него каким-то воплем вырвался новый громкий оклик:

— Жучка, Жучка!

На этот раз Жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно завизжала.

Тёму до слёз тронуло, что Жучка его узнала.

— Милая Жучка! Милая, милая, я сейчас тебя вытащу! — кричал он ей, точно она понимала его.

Жучка ответила новым радостным визгом, и Тёме казалось, что она просила его поторопиться с исполнением обещания.

— Сейчас, Жучка, сейчас, — ответил ей Тёма и принялся с сознанием всей ответственности принятого на себя обязательства перед Жучкой выполнять свой сон.

Прежде всего он решил выяснить положение дела. Он почувствовал себя бодрым и напряжённым, как всегда.

Болезнь куда-то исчезла. Привязать фонарь, зажечь его и опустить в яму было делом одной минуты.

Тёма, наклонившись, стал вглядываться.

Фонарь тускло освещал потемневший сруб колодца, теряясь всё глубже и глубже в охватившем его мраке, и наконец на трёхсаженной глубине осветил дно.

Тонкой глубокой щелью какой-то далёкой панорамы мягко сверкнула перед Тёмой в бесконечной глубине мрака неподвижная, прозрачная, точно зеркальная, гладь вонючей поверхности, тесно обросшая со всех сторон слизистыми стенками полусгнившего сруба.

Каким-то ужасом смерти пахнуло на него со дна этой далёкой, нежно светившейся страшной глади. Он точно почувствовал на себе её прикосновение и содрогнулся за свою Жучку. С замиранием сердца заметил он в углу чёрную шевелившуюся точку и едва узнал, вернее, угадал в

этой беспомощной фигурке свою некогда резвую, весёлую Жучку, державшуюся теперь на выступе сруба. Терять времени было нельзя. От страха, хватит ли у Жучки силы дождаться, пока он всё приготовит, у Тёмы удвоилась энергия. Он быстро вытащил назад фонарь, а чтобы Жучка не подумала, очутившись опять в темноте, что он её бросил, Тёма во всё время приготовления кричал:

— Жучка, Жучка, я здесь!

И радовался, что Жучка отвечает ему постоянно тем же радостным визгом. Наконец всё было готово. При помощи вожжей фонарь и два шеста с перекладиной внизу, на которой лежала петля, начали медленно спускаться в колодец.

Но этот так обстоятельно обдуманый план потерпел неожиданное и непредвиденное фиаско благодаря стремительности Жучки, испортившей всё.

Жучка, очевидно, поняла только одну сторону идеи, а именно, что спустившийся снаряд имел целью её спасение, и поэтому, как только он достиг её, она сделала попытку схватиться за него лапами. Этого прикосновения было достаточно, чтобы петля бесполезно соскочила, а Жучка, потеряв равновесие, свалилась в грязь.

Она стала барахтаться, отчаянно визжа и тщетно отыскивая оставленный ею выступ.

Мысль, что он ухудшил положение дела, что Жучку можно было ещё спасти и теперь он сам виноват в том, что она погибнет, что он сам устроил гибель своей любимице, заставляет Тёму, не думая, благо план готов, решиться на выполнение второй части сна — самому спуститься в колодец.

Он привязывает вожжи к одной из стоек, поддерживающих перекладину, и лезет в колодец. Он сознаёт только одно: что времени терять нельзя ни секунды.

Его обдаёт вонью и смрадом. На мгновение в душу закрадывается страх, как бы не задохнуться, но он вспоминает, что Жучка сидит там уже целые сутки; это успокаивает его, и он спускается дальше. Он осторожно щупает

спускающейся ногой новую для себя опору и, найдя её, сначала пробует, потом твёрдо упирается и спускает следующую ногу.

Добравшись до того места, где застряли брошенные жердь и фонарь, он укрепляет покрепче фонарь, отвязывает конец вожжи и спускается дальше. Вонь всё-таки даёт себя чувствовать и снова беспокоит и пугает его. Тёма начинает дышать ртом. Результат получается блестящий: вони нет, страх окончательно улетучивается.

Снизу тоже благополучные вести. Жучка, опять уже усевшаяся на прежнее место, успокоилась и весёлым попискиванием выражает сочувствие безумному предприятию.

Это спокойствие и твёрдая уверенность Жучки передаются мальчику, и он благополучно достигает дна. Между ним и Жучкой происходит трогательное свидание друзей, не чаявших уже больше свидеться в этом мире. Он наклоняется, гладит её; она лижет его пальцы, и так как опыт заставляет её быть благоразумной — она не трогается с места, но зато так трогательно, так нежно визжит, что Тёма готов заплакать.

Не теряя времени, он, осторожно держась зубами за изгаженную вожжу, обвязывает свободным её концом Жучку, затем поспешно карабкается вверх.

Жучка, видя такую измену, подымает отчаянный визг, но этот визг только побуждает Тёму быстрее подниматься.

Но подниматься труднее, чем спускаться! Нужен воздух, нужны силы, а того и другого у Тёмы уже мало. Он судорожно ловит в себя всеми лёгкими воздух колодца, рвётся вперёд, и чем больше торопится, тем скорее оставляют его силы.

Тёма поднимает голову, смотрит вверх, в далёкое ясное небо, видит где-то высоко над собою маленькую весёлую птичку, беззаботно скачущую по краю колодца, и сердце его сжимается тоской; он чувствует, что не долезет.

Страх охватывает его. Он растерянно останавливается, не зная, что делать: кричать, плакать, звать маму? Чувст-

во одиночества, бессилия, сознание гибели закрадываются в его душу...

— Не надо бояться, не надо бояться! — говорит он дрожащим от ужаса голосом. — Стыдно бояться! Трусы только боятся. Кто делает дурное — боится, а я дурного не делаю: я Жучку вытаскиваю, меня и папа и мама за это похвалят. Папа на войне был, там страшно, а здесь разве страшно? Здесь ни капельки не страшно. Вот отдохну и полезу дальше, потом опять, опять отдохну и опять полезу, так и вылезу, потом и Жучку вытащу. Жучка рада будет, все будут удивляться, как я её вытащил.

Тёма говорит громко, у него голос крепнет, звучит энергичнее, твёрже, и, наконец успокоенный, он продолжает взбираться дальше.

Когда он снова чувствует, что начинает уставать, он опять громко говорит себе:

— Теперь опять отдохну и потом опять полезу. А когда я вылезу и расскажу, как я смешно кричал сам на себя, все будут смеяться, и я тоже.

Тёма улыбается и снова спокойно ждёт прилива сил.

Таким образом, незаметно его голова высовывается наконец над верхним срубом колодца. Он делает последнее усилие, вылезает сам и вытаскивает Жучку.

Теперь, когда дело сделано, силы быстро оставляют его.

Почувствовав себя на твёрдой почве, Жучка энергично встряхивается, бешено бросается на грудь Тёмы и лижет его в самые губы. Но этого мало, слишком мало для того, чтобы выразить всю её благодарность, — она кидается ещё и ещё. Она приходит в какое-то безумное неистовство.

Тёма бессильно, слабеющими руками отмахивается от неё, поворачивается к ней спиной, надеясь этим маневром спасти хоть лицо от липкой, вонючей грязи.

Занятый одной мыслью — не испачкать об Жучку лицо, Тёма ничего не замечает, но вдруг его глаза случайно падают на кладбищенскую стену, и Тёма замирает на месте.

Он видит, как из-за стены медленно поднимается чья-то чёрная, страшная голова.

Напряжённые нервы Тёмы не выдерживают, он испускает неистовый крик и без сознания валится на траву, к великой радости Жучки, которая теперь уже свободно, без препятствий, выражает ему свою горячую любовь и признательность за спасение.

Еремей (это был он), подымавшийся со свеженакошенной травой со старого кладбища, увидев Тёму, сообразил, что надо спешить к нему на помощь.

Через час Тёма, лёжа на своей кроватке с ледяными компрессами на голове, пришёл в себя.



Поступление в гимназию

1

Подоспела гимназия¹. Тёма держал в первый класс² и выдержал. Накануне начала уроков Тёма в первый раз надел форму.

Это был счастливый день!

Все смотрели на него и говорили, что форма ему очень идёт. Тёма отпросился на наёмный двор³. Он шёл сияющий и счастливый.

¹ Гимна́зия — школа в дореволюционной России. В гимназии учились 8 лет. В подготовительный класс принимали детей в возрасте 9—10 лет. Дети к этому времени уже должны были уметь читать, писать, считать.

² Держал в первый класс — сдавал экзамен для поступления в первый класс. Те, кто поступал в гимназию сразу в первый класс, без подготовительного, сдавали экзамены. К экзаменам их готовили дома родители или нанятые учителя.

³ Наёмный двор — так называлось место, где стояли лачужки, которые отец Тёмы сдавал внаём бедным людям. С ребяташками наёмного двора Тёма дружил, они ходили всегда вместе, ватагой.

Было августовское воскресенье. Семья Кейзера, вся налицо, сидит за обедом перед дверями своей квартиры. Благообразный старик, точильщик Кейзер, чопорно и сухо меряет Тёму глазами. Кейзеровна вся исчезла в доброй, ласковой улыбке, и её белый высокий чепчик усердно кивает Тёме.

— Здравствуйте, здравствуйте, Тёмочка! — говорит Кейзеровна. — Ну вот вы, слава Богу, и гимназист... совсем как генерал...

Тёма сомневается, чтобы он был похож на генерала.

— Папеньке и маменьке радость, — продолжает Кейзеровна. — Папенька здоров?

— Здоров, — отвечает Тёма, смотря в пространство и роя сапогом землю.

— И маменька здорова? и братик? и сестрички? Ну слава Богу, что все здоровы.

Тёма чувствует, что можно идти дальше, и тихо, чинно двигается вперёд...

У дверей своей лачуги сидит громадный Яков.

— Яков, я уже поступил в гимназию, — говорит Тёма, останавливаясь перед ним.

— В гимназию, — добродушно тянет Яков и улыбается.

— Это мой мундир.

— Мундир? — опять повторяет Яков и улыбается.

Наступает молчание. Яков смотрит на большой палец ноги, как-то особенно загнувшийся к соседу, и протягивает к нему руку.

2

Тёма идёт дальше. Появление Тёмы перед ватагой произвело надлежащий эффект. Тёма наслаждается впечатлением и рассказывает, с чужих слов, какие в гимназии порядки.

— Если кто шалит, а придёт учитель и спросит, кто шалил, а другой скажет — тот ябеда. Как только учитель

уйдёт, его сейчас поведут в переднюю, накроют шинелями и бьют.

Ватага, поджав босые грязные ноги, сидела под забором и с разинутыми ртами слушала Тёму. Когда небольшой запас сведений Тёмы о гимназии был исчерпан, кто-то предложил идти купаться. Поднялся вопрос, можно ли теперь идти и Тёме. Тёма решил, что если принять некоторые меры предосторожности, то можно. Он приказал ватаге идти поодаль, потому что теперь уже неловко ему — гимназисту — идти рядом с ними. Тёма шёл впереди, а вся ватага, сбившись в тесную кучу, робко шла сзади, не сводя глаз со своего преобразившегося сочлена. Тёма выбирал самые людные улицы, шёл и беспрестанно оглядывался назад. Иногда он забывал и по старой памяти равнялся с ватагой, но, вспомнив, опять уходил вперёд. Так они все дошли до берега моря.

3

Ах, какое чудное было море! Всё оно точно золотыми кружками отливало и сверкало на солнце и тихо, едва слышно билось о мягкий песчаный берег. А там, на горизонте, оно, уже совсем спокойное и синее-синее, уходило в бесконечную даль. Там, казалось, было ещё прохладнее.

Но и тут хорошо, когда скинешь горячий мундир и останешься в одной рубахе. Тёма оглянулся, где бы уложить новенький мундир?

— А вот дайте, я подержу, — проговорил вдруг высокий, худой старик.

Тёма с удовольствием принял предложение.

— Да вы бы, сударь, немного подальше от этих... неловко вам, — шепнул Тёме на ухо старик, когда Тёма собрался раздеваться.

«Это верно!» — подумал Тёма и, обратившись к ватаге, сказал:

— Нам в гимназии нельзя... нам запрещено вместе... Вы здесь купайтесь, а я пойду дальше...

Ватага переглянулась, а Тёма со стариком ушли.

— Ну, здесь уже можно, — проговорил старик, когда ватага скрылась из глаз благодаря выступающему камню. Тёма разделся и полез в воду. Пока он купался, старик сидел на берегу и не мог надивиться искусству Тёмы. А Тёма старался.

— Я могу вон до тех пор доплыть под водой, — кричал он и с размаху бросался в воду. — Я и на спине могу, — кричал опять Тёма. — Я могу смотреть в воде!

И Тёма опускался в воду, открывал глаза и видел жёлтые круги.

— А я могу... — начал снова Тёма, да так и замер: ни старика, ни платья не было больше на берегу. В первую минуту Тёма и не догадался о печальной истине: ему просто стало жутко от одиночества и пустоты, которые вдруг охватили его с исчезновением старика, и он бросился к берегу. Он думал, что старик просто перешёл на другое место. Но старика нигде не было. Тогда он понял, что старик обокрал его. Растерянный, он пришёл к ватаге, уже выкупавшейся и одетой, и сообщил ей своё горе. Розыски были бесполезны. Всё пространство, какое охватывал глаз, было безлюдно. Старик точно провалился сквозь землю.

— Может, это нечистый был, — сделал кто-то предположение, и у всех пробежали мурашки по телу.

— Пойдём, — предложил Яшка, не отличавшийся храбростью, и, быстро вскочив, напялил шапку на мокрые волосы.

— А я как же? — жалобно проговорил Тёма.

Была одна комбинация: остаться Тёме на берегу и ждать, пока дадут знать домой. Но одному было страшно, а из ватаги никто не хотел оставаться с ним. Всех напугал нечистый, всем было страшно, все спешили уйти, и Тёма волей-неволей потянулся за всеми.

— У-ла-ла-а! Голый мальчик!

— Голый мальчик! Голый мальчик! — и толпа городских ребятишек, припрыгивая и улюлюкая, бежала за Тёмой.

4

Голый мальчик не каждый день ходит по улицам, и все спешили посмотреть на голого мальчика. Тёма шёл и горько плакал. Почти каждый прохожий желал знать, в чём дело. Но Тёма так плакал, что говорить сам не мог; за него говорили его друзья. Это было очень трогательно. Все останавливались и слушали, слушал и Тёма. Когда рассказ доходил до мундира, Тёма не выдерживал и начинал снова рыдать.

— Но почему же вы не возьмёте извозчика? — спросил Тёму господин в золотых очках.

«Извозчика?» — думал Тёма. Разве мало убытков папе и маме от пропавшего платья! Нет, он не возьмёт извозчика.

5

— Вы сын генерала?

— Да, — отвечал почти шёпотом Тёма.

— Генерала Карташёва? Николая Семёныча?

Тёма стоял ни жив ни мёртв. Это было на базарной площади, и говорил высокий, здоровый, немного пьяный старик.

— Батюшки мои! Да ведь это мой генерал! Я ведь с ним, когда он эскадроном ещё... Я и жив через него остался! Лизка! Лизка-а!

Подошла толстая краснощёкая торговка.

— Воз давай! — орал старик.

— Какой ещё воз?

— Давай воз! Генеральский сын! Того генерала, что жизнь мою... Помнишь, дура, говорил тебе сколько раз... Офицер на войне... Ну, вот из-под лошади... Э, дура!

«Дура» вспомнила и с любопытством осматривала Тёму.

— Ну, так вот сын его... Ну, давай, что ли, воз! Сам повезу... С рук на руки сдам. Вот что!

Так, причитая, размахивая руками, то наклоняясь к Тёме, то опять выпрямляясь, ораторствовал старик, пока дочь его, сидя на краю телеги, поворачивала лошадь в толпе.

Старик уже сидел на возу и только молча одобрительно кивал головой на сочувственные отзывы толпы. Сидел и Тёма, укутанный в свиту. Ватага не отставала от Тёмы и вся шла тут же возле телеги.

— Вы тут что? — накинулся было на них старик.

— Это мои мальчики, они со мной, — вступился Тёма. — Они у нас живут в доме.

— Вот как? Дружки, значит? Так что ж, айда в телегу и вы!

Ватага не заставила себя упрашивать и, живо вскарабкавшись, разместились, кто как мог. Через несколько минут ребятишки весёлым шёпотом ещё раз передавали случившееся, но на этот раз передавая всё с комическим оттенком. Как ни был опечален Тёма, но и он не мог удержаться и фыркал, когда Яшка передавал, как они утекли от нечистого. Нередко на чью-нибудь меткую остроту раздавался дружный, сдержанный смех остальной компании.

И, откинувшись к ним, старик долго любовался своим грузом:

— Вишь, как они! Как мухи к мёду... Не брезгуешь?

И, повернувшись назад, старик убеждённо закончил:

— И Господь не побрезгует тобой.

Только через неделю была готова новая форма.

Когда Тёма появился первый раз в классе, занятия были уже в полном разгаре.



ДАЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1801—1872)

Девочка Снегурочка

Жили-были старик со старухой, у них не было ни детей, ни внучат. Вот вышли они за ворота в праздник посмотреть на чужих ребят, как они из снега комочки катают, в снежки играют. Старик поднял комочек да и говорит:

— А что, старуха, кабы у нас с тобой была дочка, да такая беленькая, да такая кругленькая!

Старуха на комочек посмотрела, головой покачала да и говорит:

— Что ж будешь делать — нет, так и взять негде.

Однако старик принёс комочек снегу в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой и поставил на окошко. Взошло солнышко, пригрело горшочек, и снег стал таять. Вот и слышат старики — пищит что-то в горшочке под ветошкой; они к окну — глядь, а в горшочке лежит девочка, беленькая, как снежок, и кругленькая, как комочек, и говорит им:

— Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригрета и нарумянена.

Вот старики обрадовались, вынули её, да ну старуха скорее шить да кроить, а старик, завернув Снегурочку в полотенецко, стал её нянчить и пестовать:

Спи, наша Снегурочка,
Сдобная кокурочка,
Из вешнего снегу скатана,
Вешним солнышком пригретая!

Мы тебя станем поить,
Мы тебя станем кормить,
В цветно платье рядить,
Уму-разуму учить!

Вот и растёт Снегурочка на радость старикам, да такая-то умная, такая-то разумная, что такие только в сказках живут, а взаправду не бывают.

Всё шло у стариков как по маслу: и в избе хорошо, и на дворе неплохо, скотинка зиму перезимовала, птицу выпустили на двор. Вот как перевели птицу из избы в хлев, тут и случилась беда: пришла к стариковой Жучке лиса, прикинулась больной и ну Жучку умаливать, тоненьким голосом упрашивать:

— Жученька, Жучок, беленькие ножки, шёлковый хвостик, пусти в хлевушок погреться!

Жучка, весь день за стариком в лесу пробежавши, не знала, что старуха птицу в хлев загнала, сжалилась над больной лисой и пустила её туда. А лиска двух кур задушила да домой утащила. Как узнал про это старик, так Жучку прибил и со двора согнал.

— Иди, — говорит, — куда хочешь, а мне ты в сторожа не годишься!

Вот и пошла Жучка, плача, со старикова двора, а пожалели о Жучке только старушка да девочка Снегурочка.

Пришло лето, стали ягоды поспевать, вот и зовут подружки Снегурочку в лес по ягоды. Старики и слышать не хотят, не пускают. Стали девочки обещать, что Снегурочку они из рук не выпустят, да и Снегурочка сама просится ягодок побрать да на лес посмотреть. Отпустили её старики, дали кузовок да пирожка кусок.

Вот и побежали девчонки со Снегурочкой под ручки, а как в лес пришли да увидали ягоды, так все про всё позабыли, разбежались по сторонам, ягоды берут да аукаются, в лесу друг дружке голос подают.

Ягод понабрали, а Снегурочку в лесу потеряли.

Стала Снегурочка голос подавать — никто ей не откликается. Заплакала бедняжка, пошла дорогу искать, хуже того заплуталась; вот и влезла на дерево и кричит: «Ау! Ау!»

Идёт медведь, хворост трещит, кусты гнутся:

— О чём, девица, о чём, красная?

— Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнцем подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки, в лес завели и покинули!

— Слезай, — сказал медведь, — я тебя домой доведу!

— Нет, медведь, — отвечала девочка Снегурочка, — я не пойду с тобой, я боюсь тебя — ты съешь меня!

Медведь ушёл. Бежит серый волк:

— Что, девица, плачешь, что, красная, рыдаешь?

— Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в лес завели да и покинули!

— Слезай, — сказал волк, — я доведу тебя до дому!

— Нет, волк, я не пойду с тобой, я боюсь тебя — ты съешь меня!

Волк ушёл. Идёт Лиса Патрикеевна:

— Что, девица, плачешь, что, красная, рыдаешь?

— Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в лес завели да и покинули!

— Ах, красавица! Ах, умница! Ах, горемычная моя! Слезай скорёхонько, я тебя до дому доведу!

— Нет, лиса, льстивы слова, я боюсь тебя — ты меня к волку заведёшь, ты медведю отдашь... Не пойду я с тобой!

Стала лиса вокруг дерева обхаживать, на девочку Снегурочку поглядывать, с дерева её сманивать, а девочка не идёт.

— Гам, гам, гам! — залаяла собака в лесу. А девочка Снегурочка закричала:

— Ау-ау, Жученька! Ау-ау, милая! Я здесь — девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подруженьки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, в лес завели да и покинули. Хотел меня медведь унести, я не пошла с ним; хотел волк увести, я отказала ему; хотела лиса сманить, я в обман не далась; а с тобой, Жучка, пойду!

Вот как услыхала лиса собачий лай, так махнула пушняком своим и была такова!

Снегурочка с дерева слезла, Жучка подбежала, её лобызала¹, всё личико облизала и повела домой.

Стоит медведь за пнём, волк на прогалине, лиса по кустам шныряет.

Жучка лает, заливается, все её боятся, никто не приступается.

Пришли они домой; старики с радости заплакали. Снегурочку напоили, накормили, спать уложили, одеяльцем накрыли:

Спи, наша Снегурочка,
Сдобная кокурочка,
Из вешнего снегу скатана,
Вешним солнышком пригретая!
Мы тебя станем поить,
Мы тебя станем кормить,
В цветно платье рядить,
Уму-разуму учить!

Жучку простили, молоком напоили, приняли в милость, на старое место приставили, стеречь двор заставили.



¹ Лобызать — (устар.) целовать.

Старик-годовик

Вышел старик-годовик. Стал он махать рукавом и пускать птиц. Каждая птица со своим особым именем. Махнул старик-годовик первый раз — и полетели первые три птицы. Повеял холод, мороз.

Махнул старик-годовик второй раз — и полетела вторая тройка. Снег стал таять, на полях показались цветы.

Махнул старик-годовик третий раз — полетела третья тройка. Стало жарко, душно, знойно. Мужики стали жать рожь.

Махнул старик-годовик четвёртый раз — и полетели ещё три птицы. Подул холодный ветер, посыпался частый дождь, залегли туманы.

А птицы были не простые. У каждой птицы по четыре крыла. В каждом крыле по семи перьев. Каждое перо тоже со своим именем. Одна половина пера белая, другая — чёрная. Махнёт птица раз — станет светлым-светло, махнёт другой — станет темным-темно.

Что за птицы вылетели из рукава старика-годовика?

Какие это четыре крыла у каждой птицы?

Какие семь перьев в каждом крыле?

Что это значит, что у каждого пера одна половина белая, а другая — чёрная?



КУПРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1870—1938)

Слон

(В СОКРАЩЕНИИ)

Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давным-давно...

Прощаясь, главный доктор говорит громко:

— Главное — не давайте ей скучать. Исполняйте все её капризы.

— Ах, доктор, но она ничего не хочет!

— Ну, не знаю... вспомните, что ей нравилось раньше, до болезни. Игрушки... какие-нибудь лакомства...

— Милая Надя, милая моя девочка, — говорит мама, — не хочется ли тебе чего-нибудь?

— Нет, мама, ничего не хочется.

— Хочешь, я посажу к тебе на постельку всех твоих кукол. Мы поставим креслица, диван, столик и чайный прибор. Куклы будут пить чай и разговаривать о погоде и о здоровье своих детей.

— Спасибо, мама... Мне не хочется... Мне скучно...

— Хочешь, я тебе принесу шоколаду?

Но девочка не отвечает и смотрит в потолок неподвижными, невесёлыми глазами. У неё ничего не болит и даже нет жару. Но она худеет и слабеет с каждым днём. Что бы с ней ни делали, ей всё равно, и ничего ей не нужно. Так лежит она целые дни и целые ночи, тихая, печальная. Иногда она задремлет на полчаса, но и во сне ей видится что-то серое, длинное, скучное, как осенний дождик...

Но однажды утром девочка просыпается немного бодрее, чем всегда. Она что-то видела во сне, но никак не может вспомнить, что именно, и смотрит долго и внимательно в глаза матери.

— Тебе что-нибудь нужно? — спрашивает мама.

Но девочка вдруг вспоминает свой сон и говорит шёпотом, точно по секрету:

— Мама... А можно мне слона?.. Только не того, который нарисован на картинке... Можно?

— Конечно, моя девочка, конечно, можно.

Она идёт в кабинет и говорит папе, что девочка хочет слона. Папа тотчас же надевает пальто и шляпу и куда-то уезжает. Через полчаса он возвращается с дорогой, красивой игрушкой... Но девочка глядит на игрушку так же равнодушно, как на потолок и на стены, и говорит вяло:

— Нет. Это совсем не то. Я хотела настоящего, живого слона, а этот мёртвый.

— Ты погляди только, Надя, — говорит папа. — Мы его сейчас заведём, и он будет совсем, совсем как живой.

Слона заводят ключиком, и он, покачивая головой и помахивая хвостом, начинает переступать ногами и медленно идёт по столу. Девочке это совсем не интересно и даже скучно, но, чтобы не огорчать отца, она шепчет кротко:

— Я тебя очень, очень благодарю, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой интересной игрушки... Только... помнишь... ведь ты давно обещал свозить меня в зверинец посмотреть на настоящего слона... и ни разу не повёз...

— Но, послушай же, милая моя девочка, пойми, что это невозможно. Слон очень большой, он до потолка, он не поместится в наших комнатах... И потом, где я его достану?

— Папа, да мне не нужно такого большого... Ты мне привези хоть маленького, только живого. Ну, хоть вот, вот такого... Хоть слонёнышка...

— Милая девочка, я рад всё для тебя сделать, но этого я не могу. Ведь это всё равно, как если бы ты вдруг мне сказала: папа, достань мне с неба солнце.

Девочка грустно улыбается.

— Какой ты глупый, папа. Разве я не знаю, что солнце нельзя достать, потому что оно жжётся. И луну тоже нельзя. Нет, мне бы слоника... настоящего.

И она тихо закрывает глаза и шепчет:

— Я устала... Извини меня, папа...

Папа хватает себя за волосы и убегает в кабинет. Там он некоторое время мелькает из угла в угол. Потом решительно бросает на пол недокуренную папиросу (за что ему всегда достаётся от мамы) и кричит горничной:

— Ольга! Пальто и шляпу!..

Через два часа он сидит в зверинце, в первом ряду, и смотрит, как учёные звери по приказанию хозяина выделывают разные штуки. Умные собаки прыгают, кувыркаются, танцуют, поют под музыку, складывают слова из больших картонных букв. Обезьянки — одни в красных юбках, другие в синих штанишках — ходят по канату и ездят верхом на большом пуделе. Огромные рыжие львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Под конец выводят слонов. Их три: один большой, два совсем маленькие, карлики, но всё-таки ростом куда больше, чем лошадь. Странно смотреть, как эти громадные животные, на вид такие неповоротливые и тяжёлые, исполняют самые трудные фокусы, которые не под силу и очень ловкому человеку. Особенно отличается самый большой слон. Он становится сначала на задние лапы, садится, становится на голову, ногами вверх, ходит по деревянным бутылкам, ходит по катящейся бочке, переворачивает хоботом страницы большой картонной книги и, наконец, садится за стол и, повязавшись салфеткой, обедает, совсем как благовоспитанный мальчик.

Представление оканчивается. Зрители расходятся. Надин отец подходит к толстому немцу, хозяину зверинца...

— Извините, пожалуйста, — говорит Надин отец. — Не можете ли вы отпустить вашего слона ко мне домой на некоторое время?

Немец от удивления широко открывает глаза и даже рот, отчего сигара падает на землю. Он, кряхтя, нагибается, подымает сигару, вставляет её опять в рот и только тогда произносит:

— Отпустить? Слона? Домой? Я вас не понимаю.

По глазам немца видно, что он тоже хочет спросить, не болит ли у Надиного отца голова... Но отец поспешно объясняет, в чём дело: его единственная дочь Надя больна какой-то странной болезнью, которой даже доктора не понимают как следует...

И он добавляет дрожащим голосом, взявши немца за пуговицу пальто:

— Ну, вот... Я, конечно, надеюсь, что моя девочка выздоровеет. Но... спаси Бог... вдруг её болезнь окончится плохо... вдруг девочка умрёт? Подумайте только: ведь меня всю жизнь будет мучить мысль, что я не исполнил её последнего, самого последнего желания!..

Немец хмурится и в раздумье чешет мизинцем левую бровь. Наконец он спрашивает:

— Гм... А сколько вашей девочке лет?

— Шесть.

— Гм... Моей Лизе тоже шесть. Гм... Но, знаете, вам это будет дорого стоить. Придётся привести слона ночью и только на следующую ночь увести обратно. Днём нельзя. Соберётся публикum, и сделается один скандал... Таким образом выходит, что я теряю целый день, и вы мне должны возвратить убыток.

— О, конечно, конечно... не беспокойтесь об этом...

— Потом: позволит ли полиция вводить один слон в один дом?

— Я это устрою. Позволит.

— Ещё один вопрос: позволит ли хозяин вашего дома вводить в свой дом один слон?

— Позволит. Я сам хозяин этого дома.

— Ага! Это ещё лучше. И потом ещё один вопрос: в котором этаже вы живёте?

— Во втором.

— Гм... Это уже не так хорошо... Имеете ли вы в своём доме широкую лестницу, высокий потолок, большую комнату, широкие двери и очень крепкий пол? Потому что мой Томми имеет высоту три аршина и четыре вершка, а в длину четыре аршина. Кроме того, он весит сто двенадцать пудов.

Надин отец задумывается на минуту.

— Знаете ли что? — говорит он. — Поедем сейчас ко мне и рассмотрим всё на месте. Если надо, я прикажу расширить проход в стенах.

— Очень хорошо! — соглашается хозяин зверинца.

Ночью слона ведут в гости к больной девочке.

В белой попоне он важно шагает по самой середине улицы, покачивает головой и то свивает, то развивает хобот. Вокруг него, несмотря на поздний час, большая толпа. Но слон не обращает на неё внимания: он каждый день видит сотни людей в зверинце. Только один раз он немного рассердился.

Какой-то уличный мальчишка подбежал к нему под самые ноги и начал кривляться на потеху зевакам.

Тогда слон спокойно снял с него хоботом шляпу и перекинул её через соседний забор, утыканный гвоздями.

Городовой идёт среди толпы и уговаривает её:

— Господа, прошу разойтись. И что вы тут находите такого необыкновенного? Удивляюсь! Точно не видали никогда живого слона на улице.

Подходят к дому. На лестнице, так же как и по всему пути слона, до самой столовой, все двери растворены

настежь, для чего приходилось отбивать молотком дверные щеколды. Точно так же делалось однажды, когда в дом вносили большую чудотворную икону.

Но перед лестницей слон останавливается в беспокойстве и упрямится.

— Надо дать ему какое-нибудь лакомство... — говорит немец. — Какой-нибудь сладкий булка или что... Но... Томми!.. Ого-го... Томми!..

Надин отец бежит в соседнюю булочную и покупает большой круглый фисташковый торт. Слон обнаруживает желание проглотить его целиком вместе с картонной коробкой, но немец даёт ему всего четверть. Торт приходится по вкусу Томми, и он протягивает хобот за вторым ломтём. Однако немец оказывается хитрее. Держа в руке лакомство, он подымается вверх с ступеньки на ступеньку, и слон с вытянутым хоботом, с растопыренными ушами поневоле следует за ним. На площадке Томми получает второй кусок.

Таким образом его приводят в столовую, откуда заранее вынесена вся мебель, пол густо застлан соломой... Слона привязывают за ногу к кольцу, ввинченному в пол. Кладут перед ним свежей моркови, капусты и репы. Немец располагается рядом, на диване. Тушат огни, и все ложатся спать.

На другой день девочка просыпается чуть свет и прежде всего спрашивает:

— А что же слон? Он пришёл?

— Пришёл, — отвечает мама, — но только он велел, чтобы Надя сначала умылась, а потом съела яйцо всмятку и выпила горячего молока.

— А он добрый?

— Он добрый. Кушай, девочка. Сейчас мы пойдём к нему.

— А он смешной?

— Немножко. Надень тёплую кофточку.

Яйцо было съедено, молоко выпито. Надю сажают в ту самую колясочку, в которой она ездила, когда была ещё такой маленькой, что совсем не умела ходить, и везут в столовую.

Слон оказывается гораздо больше, чем думала Надя, когда разглядывала его на картинке. Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину столовой. Кожа на нём грубая, в тяжёлых складках. Ноги толстые, как столбы. Длинный хвост с чем-то вроде помела на конце. Голова в больших шишках. Уши большие, как лопухи, и висят вниз. Глаза совсем крошечные, но умные и добрые. Клыки обрезаны. Хобот — точно длинная змея и оканчивается двумя ноздрями, а между ними подвижный, гибкий палец. Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то, наверно, достал бы им до окна.

Девочка вовсе не испугана. Она только немножко поражена громадной величиной животного. Зато нянька, шестнадцатилетняя Поля, начинает визжать от страха.

Хозяин слона, немец, подходит к колясочке и говорит:

— Доброго утра, барышня. Пожалуйста, не бойтесь. Томми очень добрый и любит детей.

Девочка протягивает немцу свою маленькую бледную ручку.

— Здравствуйте, как вы поживаете? — отвечает она. — Я вовсе ни капельки не боюсь. А как его зовут?

— Томми.

— Здравствуйте, Томми, — произносит девочка и кланяется головой. Оттого, что слон такой большой, она не решается говорить ему на «ты». — Как вы спали эту ночь?

Она и ему протягивает руку. Слон осторожно берёт и пожимает её тоненькие пальчики своим подвижным сильным пальцем и делает это гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович. При этом слон качает головой, а его маленькие глаза совсем сузились, точно смеются.

— Ведь он всё понимает? — спрашивает девочка немца.

— О, решительно всё, барышня!

— Но только он не говорит?

— Да, вот только не говорит. У меня, знаете, есть тоже одна дочка, такая же маленькая, как и вы. Её зовут Лиза. Томми с ней большой, очень большой приятель.

— А вы, Томми, уже пили чай? — спрашивает девочка слона.

— Нет, он не пил чаю, барышня. Но он с удовольствием пьёт сахарную воду. Также он очень любит булки.

Приносят поднос с булками. Девочка угощает слона. Он ловко захватывает булку своим пальцем и, согнув хобот кольцом, прячет её куда-то вниз под голову, где у него движется смешная, треугольная, мохнатая нижняя губа...

Когда все булки съедены, Надя знакомит слона со своими куклами:

— Посмотрите, Томми, вот эта нарядная кукла — это Соня. Она очень добрый ребёнок, но немножко капризна и не хочет есть суп. А это Наташа — Сониная дочь. Она уже начинает учиться и знает почти все буквы. А вот это — Матрёшка. Это моя самая первая кукла. Видите, у неё нет носа и голова приклеена и нет больше волос. Но всё-таки нельзя же выгонять из дому старушку. Правда, Томми? Она раньше была Сониной матерью, а теперь служит у нас кухаркой. Ну, так давайте играть, Томми: вы будете папой, а я мамой, а это будут наши дети.

Томми согласен. Он смеётся, берёт Матрёшку за шею и тащит к себе в рот. Но это только шутка. Слегка пожевав куклу, он опять кладёт её девочке на колени, правда, немного мокрую и помятую.

Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет:

— Это лошадь, это канарейка, это ружьё... Вот клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона... А это вот, посмотрите, это слон! Правда, совсем не похоже? Разве же слоны бывают такие маленькие, Томми?

Томми находит, что таких маленьких слонов никогда не бывает на свете. Вообще ему эта картинка не нравится. Он захватывает пальцем край страницы и переворачивает её.

Наступает час обеда, но девочку никак нельзя оторвать от слона. На помощь приходит немец:

— Позвольте, я всё это устрою. Они пообедают вместе.

Он приказывает слону сесть. Слон послушно садится, отчего пол по всей квартире сотрясается и дребезжит посуда в шкафу, а у нижних жильцов сыплется с потолка штукатурка. Напротив него садится девочка. Между ними ставят стол. Слону подвязывают скатерть вокруг шеи, и новые друзья начинают обедать. Девочка ест суп из курицы и котлетку, а слон — разные овощи и салат... Затем они получают сладкое — девочка чашку какао, а слон половину торта, на этот раз орехового...

Наступает вечер. Поздно. Девочке пора спать. Однако её невозможно оттащить от слона. Она так и засыпает около него, и её уже сонную отвозят в детскую. Она даже не слышит, как её раздевают.

В эту ночь Надя видит во сне, что она женилась на Томми и у них много детей, маленьких, весёлых слонят. Слон, которого ночью отвели в зверинец, тоже видит во сне милую, ласковую девочку. Кроме того, ему снятся большие торты, ореховые и фисташковые, величиною с ворота...

Утром девочка просыпается бодрая, свежая и, как в прежние времена, когда она была ещё здорова, кричит на весь дом, громко и нетерпеливо:

— Мо-лоч-ка!

Услышав этот крик, мама радостно крестится у себя в спальне.

Но девочка тут же вспоминает о вчерашнем и спрашивает:

— А слон?

Ей объясняют, что слон ушёл домой по делам, что у него есть дети, которых нельзя оставлять одних, что он просил кланяться Наде и что он ждёт её к себе в гости, когда она будет здорова.

Девочка хитро улыбается и говорит:

— Передайте Томми, что я уже совсем здорова!



МАМИН-СИБИРЯК (Мамин) ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ (1852—1912)

Приёмыш

1

В дождливый день я подходил к Светлому озеру...

Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы кубарем вылетела на меня пёстрая собачонка и залилась отчаянным лаем.

— Соболько, перестань... Не узнал?

Соболько остановился в раздумье, но, видимо, ещё не верил в старое знакомство. Он осторожно подошёл, обнюхал мои охотничьи сапоги и только после этой церемонии виновато завилял хвостом. Дескать, виноват, ошибся, — а всё-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то есть он, вероятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную снасть...

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, я принялся разводить огонь. Соболько вертелся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу...

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный походный чайник с водой и повесил его над огнём. Вода уже начинала кипеть, а старика всё не было...

Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась и нетерпеливо взвизгивала.

Когда этот «лучший друг человека» радостно взвизгнул, я понял, что он завидел хозяина. Действительно, в протоке чёрной точкой показалась рыбацья лодка, огибавшая остров. Это и был Тарас... Он плыл, стоя на ногах, и ловко работал одним веслом. Когда он подплыл ближе, я заметил, к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя.

— Ступай домой, гуляка! — ворчал старик, подгоняя красиво плывшую птицу. — Ступай, ступай... Вот я дам — уплывать Бог знает куда... Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме¹, вышел на берег, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своих кривых чёрных ногах, направился к избушке.

2

— Здравствуй, Тарас!.. Откуда Бог несёт?

— А вот за Приёмышем плавал, за лебедем... Всё тут вертелся, в протоке, а потом вдруг и пропал... Ну, я сейчас за ним. Выехал в озеро — нет; по заводям проплыл — нет; а он за островом плавает.

— Откуда достал-то его, лебедя?

— Тут охотники наезжали; ну лебедя с лебёдушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался... Я, конечно, ставил сети подле камышей, ну и поймал его. Пропадёт один-то, ястреба заедят, потому как смыслу в нём ещё настоящего нет. Сиротой остался. Вот я его привёз и держу. И он тоже привык... Теперь вот скоро месяц будет, как живём вместе. Утром на заре поднимается, поплавает

¹ Сайма — рыбацкая стоянка.

в протоке, покормится, а потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждёт, чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой порядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке. Лебедь приковылял к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь подачки.

— Улетит он у тебя, дедушка... — заметил я.

— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом вода...

— А зимой?

— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам с Собољком веселее. Как-то один охотник забрёл ко мне на сайму, увидел лебедя и говорит вот так же: «Улетит, ежели крылья не подрежешь». А как же можно увечить Божью птицу? Пусть живёт... Не возьму я в толк, зачем господа лебедей застрелили. Ведь и есть не станут, а так, для озорства...

Лебедь точно понимал слова старика, посматривал на него своими умными глазами.

— А как он с Собољком? — спросил я.

— Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой раз у Собољка и кусок отнимает. Пёс заворчит на него, а лебедь его — крылом. Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе отправятся: лебедь по воде, а Собољко — по берегу. Пробовал пёс плавать за ним, ну, да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как лебедь уплывёт, Собољко ищет его. Сядет на бережку и воет... Дескать, скучно мне, псу, без тебя, друг единственный. Так вот и живём втроём.

3

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него были и своя семья, и дом, а теперь он жил бобылём. Дети перемерли, жена тоже умерла, и Тарас безвыходно оставался на Светлом по целым годам.

— Не скучно тебе, дедушка? — спросил я, когда мы возвращались с рыбной ловли. — Жутко одному-то в лесу...

— Одному? Тоже и скажет... Я тут князь князем живу. Всё у меня есть... И птица всякая, и рыба, и трава. Конечно, говорить они не умеют, да я-то понимаю всё. Сердце радуется в другой раз посмотреть на Божью тварь... У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, зря рыбка плавает в воде или птица по лесу летает? Нет, у них заботы не меньше нашего... Эвон, погляди, лебедь-то дожидается нас с Собољком...

Старик ужасно был доволен своим Приёмышем, и все разговоры в конце концов сводились на него.

— Гордая, настоящая царская птица, — объяснил он. — Помани его кормом, да не дай, другой раз и не пойдёт. Свой характер тоже имеет, даром что птица... С Собољком тоже себя очень гордо держит. Чуть что, сейчас крылом, а то и носом долбанёт. Известно, пёс в другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост поймать, а лебедь его по морде... Это тоже не игрушка, чтобы за хвост хватать.

— Посмотри-ка, как лебедь-то разыгрался с Собољком...

Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоял, раскрыв крылья, а Собољко с визгом и лаем нападал на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребёнок.

4

В следующий раз я попал на Светлое озеро уже поздней осенью, когда выпал первый снег...

Навстречу мне выскочил тот же Собољко. Теперь он узнал меня и ласково завилял хвостом ещё издали. Тарас был дома. Он чинил невод для зимнего лова.

Старик действительно имел утомлённый вид. Он казался теперь таким дряхлым и жалким... За чаем мы разговорились, и старик рассказал своё горе.

— Помнишь... лебедя-то?

— Приёмыша?

— Он самый... Ах, хороша была птица!.. А вот мы опять с Собољком остались одни... Да, не стало Приёмыша.

— Убили охотники?

— Нет, сам ушёл... Вот как мне обидно это!.. Уж я ли, кажется, не ухаживал за ним!.. Из рук кормил... Он ко мне и на голос шёл. Плавает он по озеру, — я его кликну, он и подплывает. Учёная птица. И ведь совсем привыкла... да! Уж в заморозки грех вышел. На перелёте стадо лебедей спустилось на Светлое озеро. Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я люблюсь. Пусть Божья птица с силой соберётся: не близкое место лететь... Мой-то Приёмыш сначала сторонился от других лебедей: подплывёт к ним и назад. Те гогочут по-своему, зовут его, он — домой... Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это у них было. Все, значит, переговариваются по-своему, по-птичьему. Ну а потом, вижу, мой Приёмыш затосковал... Вот, всё равно как человек тоскует. Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнет кричать. Да ведь так жалобно кричит...

Старик замолчал и тяжело вздохнул.

— Ну и что же, дедушка?

— Ах, и не спрашивай... Запер я его в избушку на целый день, так он и тут донял. Станет на одну ногу у самой двери и стоит, пока не сгонишь его с места. Только вот не скажет человеческим языком: «Пусти, дедушка, к товарищам. Они-то в тёплую сторону летят, а что я с вами тут буду зимой делать?!» Ах ты, думаю, задача! Пустить — улетит за стадом и пропадёт...

— Почему пропадёт?

— А как же. Те-то на вольной воле выросли. Их, молодые которые, отец с матерью летать выучили. Ведь ты ду-

маешь, как у них? Подрастут лебедята — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. Исподволь учат: всё дальше да дальше. Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелёту. Сначала особняком учат, потом небольшими стаями, а потом уже сгрудятся в одно большое стадо. Похоже на то, как солдат муштруют... Ну а мой-то Приёмыш один вырос и, почитай, никуда не летал. Поплавает по озеру — только и всего ремесла. Выбьется из сил, отстанет от стада и пропадёт... Непривычен к дальнему лёту.

Старик опять замолчал.

— А пришлось выпустить, — с горечью заговорил он. — Всё равно, думаю, ежели удержу его на зиму, затоскует и схиреет. Уж птица такая особенная. Ну и выпустил. Пристал мой Приёмыш к стаду, поплавал с ними один день, а к вечеру опять домой... В последний-то раз отплыл от берега, остановился и как, братец ты мой, крикнет по-своему. Дескать: «Спасибо за хлеб, за соль!..» Только я его и видел. Остались мы опять с Собољком одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу его: «Собољко, а где наш Приёмыш?» А Собољко сейчас выть... Значит, жалеет. И сейчас на берег, и сейчас искать друга милого... Мне по ночам всё грезилось, что Приёмыш-то тут вот полощется у берега и крылышками хлопает. Выйду — никого нет... Вот какое дело вышло...



Серая Шейка

I

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привёл всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далёкий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч вёрст... Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей, — вообще, было о чём серьёзно подумать.

Серьёзная большая птица, как лебеди, гуси и утки, собиралась в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига; а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уж собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа...

Лес стоял тёмный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

— И куда эта мелочь торопится! — ворчал старый Селезень, не любивший себя беспокоить. — В своё время все улетим... Не понимаю, о чём тут беспокоиться.

— Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты, — объяснила его жена, старая Утка.

— Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась.

— Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси и лебеди, — любо на них посмотреть. Живут душа в душу... Небось лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда впереди выводка. Да, да... А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом... Смотреть на тебя даже противно!

— Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего не говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки... Я не виноват, что гусь — глупая птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще моё правило — не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живёт по-своему.

Селезень любил серьёзные рассуждения, причём оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умён и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю.

— Какой ты отец? — накинулась она на мужа. — Отцы заботятся о детях, а тебе — хоть трава не расти!..

— Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват...

Серой Шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло ещё весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утёнка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утёнка; но одно крылышко оказалось сломанным.

— Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну, — повторяла Утка со слезами. — Все улетят, а она останется одна-одинёшенька. Да, совсем одна... Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мёрзнуть... Ведь она наша дочь, и как я её люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе...

— А другие дети?

— Те здоровы, обойдутся и без меня.

Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил её, но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, ну, замёрзнет, — жаль, конечно, а всё-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьёзно, Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере её материнского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела Серую Шейку, — ведь всё равно она должна погибнуть зимою.

II

Старая Утка, ввиду близившейся разлуки, относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка ещё не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что её братья и сёстры так весело собираются к отлёту, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь вы весной вернётесь? — спрашивала Серая Шейка у матери.

— Да, да, вернёмся, моя дорогая... И опять будем жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться Серой Шейки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.

— Как-нибудь, милая, пробьёшься, — успокаивала старая Утка. — Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на тёплый ключ, что и зимой не замерзает, — совсем было бы хорошо. Это далеко отсюда... Впрочем, что же и говорить-то попусту, всё равно нам не перенести тебя туда!

— Я буду всё время думать о вас... — повторяла бедная Серая Шейка. — Всё буду думать: где вы, что вы де-

лаете, весело ли вам? Всё равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться весёлой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой Серой Шейки... Других детей она теперь почти не замечала и не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время... Был уже целый ряд холодных утренников, а от инея пожелтели берёзки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше, потому что берега оголели, — береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжёлыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелётной птицы... Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. Серую Шейку больше всего огорчал перелёт журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали её с собой. У неё ещё в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небо журавлиную стаю.

«Как им, должно быть, хорошо», — думала Серая Шейка.

Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлёту. Отдельные гнёзда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодёжь с весёлым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далёкого перелёта. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости... Одна Серая Шейка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось ми-

риться со своей судьбой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для неё составляла всё.

— Нужно отправляться... Пора! — говорили старики вожаки. — Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело... Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода ещё была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трёхсот штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая Утка не спала всю ночь, — это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.

— Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, — советовала она. — Там вода не замёрзнет целую зиму...

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая... Да, все были так заняты общим отлётом, что на неё никто не обращал внимания. У старой Утки изболелось всё сердце, глядя на бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?..

— Ну, трогай! — громко скомандовал главный вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетающий косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись.

«Неужели я совсем одна? — думала Серая Шейка, заливаясь слезами. — Лучше бы было, если бы тогда Лиса меня съела...»

III

Река, на которой осталась Серая Шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое — и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днём тонкий, как стекло, лёд таял.

«Неужели вся река замёрзнет?» — думала Серая Шейка с ужасом.

Скучно ей было одной, и она всё думала про своих улетевших братьев и сестёр. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про неё? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всём. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.

— Ах, как ты меня напугала, глупая! — проговорил Заяц, немного успокоившись. — Душа в пятки ушла... И зачем ты толчешься здесь? Ведь все утки давно улетели...

— Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда я ещё была совсем маленькой...

— Уж эта мне Лиса!.. Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается... Ты берегись её, особенно когда река покроется льдом. Как раз сцапает...

Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возмёшь и нырнёшь в воду, — говорил он. — А я постоянно дрожу от страха... У меня — кругом враги. Летом ещё можно спрятаться куда-нибудь, а зимой всё видно.

Скоро выпал и первый снег, а река всё ещё не поддавалась холоду. Всё, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звёздные ночи, когда всё затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать её льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая, звёздная ночь. Тихо стоял тёмный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это

бывает ночью. Высокий месяц обливал всё своим трепетным искрившимся светом. Бурлившая днём, горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл её зеркальным стеклом. Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замёрзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса, — это была та самая Лиса, которая переломила ей крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй! — ласково проговорила Лиса, останавливаясь на берегу. — Давненько не видались... Поздравляю с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать, — ответила Серая Шейка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать!.. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами надеются что-нибудь, а потом на меня и свалят... Пока — до свиданья!

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:

— Берегись, Серая Шейка: она опять придёт.

И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом неё чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного тёмного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались ещё важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую тёплую шубу. Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для неё, и трепетала при одной мысли, что её полынья вот-вот замёрзнет и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней, села на берегу и опять заговорила:

— Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда; а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива...

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой воде, потому что там лёд был ещё очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка... Вылезай на лёд! А впрочем, до свиданья! Я тороплюсь по своим делам...

Лиса начала приходить каждый день — проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали своё дело. От большой полыни оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лёд был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:

— Ничего, ныряй, а я тебя всё равно съем... Выходи лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем:

— Ах, какая бессовестная эта Лиса... Какая несчастная эта Серая Шейка! Съест её Лиса...

IV

По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замёрзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц всё видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логовища покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а всё-таки весело.

— Братцы, берегитесь! — крикнул кто-то.

Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок охотник, который подкрался на

лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

«Эх, тёплая старухе шуба будет», — соображал он, выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие.

— Ах, лукавцы! — рассердился старичок. — Вот уж я вас... Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мёрзнуть же ей... А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то похитрее будет... А старуха Акинтичу вон как наказывала: «Ты смотри, старик, без шубы не приходи!» А вы сигать...

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! — думал он вслух. — Ну, вот отдохну и пойду искать другую...

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке ползёт, — так и ползёт, точно кошка.

— Ге, ге, вот так штука! — обрадовался старичок. — К старухиной-то шубе воротник сам ползёт... Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить.

Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо и из-за Лисы не замечали утки.

«Надо так её застрелить, чтобы воротника не испортить, — соображал старик, прицеливаясь в Лису. — А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то в дырках окажется... Тоже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьёшь».

Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике.

Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду, — и со всех ног

кинулся к полынье; по дороге он два раза упал, а когда добежал до полыни, то только развёл руками, — воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная Серая Шейка.

— Вот так штука! — ахнул старичок, разводя руками. — В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась. Ну и хитёр зверь.

— Дедушка, Лиса убежала, — объяснила Серая Шейка.

— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе... Что же я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел... А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено...

— Ах, глупая, глупая... Да ведь ты замёрзнешь тут или Лиса тебя съест! Да...

Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил:

— А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то обрадуются... А весной ты старухе яичек принесёшь да утят выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая...

Старичок добыл Серую Шейку из полыни и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу, — соображал он, направляясь домой. — Пусть её шуба с воротником вместе ещё погуляет в лесу. Главное: внучки вот как обрадуются...»

Зайцы всё это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замёрзнет.



ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (1829—1910)

Филипок

Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему:

— Куда ты, Филипок, собрался?

— В школу.

— Ты ещё мал, не ходи, — и мать оставила его дома.

Ребята ушли в школу. Отец ещё с утра уехал в лес, мать ушла на подённую работу. Остались в избе Филипок да бабушка на печке.

Стало Филипку скучно одному, бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашёл, взял старую, отцовскую и пошёл в школу.

Школа была за селом у церкви. Когда Филипп шёл по своей слободе, собаки не трогали его, они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила Жучка, залаяла, а за Жучкой большая собака Волчок. Филипок бросился бежать, собаки за ним. Филипок стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал:

— Куда ты, пострелёнок, один бежишь?

Филипок ничего не сказал, подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе. На крыльце никого нет, а в школе слышно, гудят голоса ребят. На Филипка нашёл страх: что, как учитель меня прогонит? И стал он думать, что ему делать. Назад идти — опять собака заест, в школу идти — учителя боится.

Шла мимо школы баба с ведром и говорит:

— Все учатся, а ты что тут стоишь?

Филипок и пошёл в школу. В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна ребят. Все кричали своё, и учитель в красном шарфе ходил посередине.

— Ты что? — закричал он на Филипка.

Филипок ухватился за шапку и ничего не говорил.

— Да ты кто?

Филипок молчал.

— Или ты немой?

Филипок так напугался, что говорить не мог.

— Ну, так иди домой, коли говорить не хочешь.

А Филипок и рад бы что сказать, да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал.

Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил ребят, кто этот мальчик.

— Это Филипок, Костюшкин брат, он давно просится в школу, да мать не пускает его, и он украдкой пришёл в школу.

— Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтоб пускала тебя в школу.

Учитель стал показывать Филипку буквы, а Филипок их уже знал и немножко читать умел.

— Ну-ка, сложи своё имя.

Филипок сказал:

— Хве-и-хви, ле-и-ли, пе-ок-пок.

Все засмеялись.

— Молодец, — сказал учитель. — Кто же тебя учил читать?

Филипок осмелился и сказал:

— Костюшка. Я бедовый, я сразу всё понял. Я страсть какой ловкий!

Учитель засмеялся и сказал:

— Ты погоди хвалиться, а поучись.

С тех пор Филипок стал ходить с ребятами в школу.



За ягодами

I

Возвращались из ночного мужики и ребята.

Тараска Резунов, малый лет двенадцати, обогнал всех и поскакал в гору к деревне. Чёрная собака весело бежала впереди лошадей, оглядываясь на них. Тараска подъехал к избе, привязал лошадей у ворот и вошёл в сени.

— Эй, вы, заспались! — закричал он на сестёр и брата, спавших в сенях на дерюжке.

Мать встала уже доить корову.

Ольгушка вскочила, оправляя обеими руками взлохмаченные светлые волосы.

Ребята с вечера собирались за ягодами, и Тараска обещал разбудить сестру и малого, как только вернётся из ночного. Он так и сделал. Мать дала ему кружку молока. Хлеба он сам отрезал себе, уселся за стол и стал есть.

Когда он в одной рубашке пошёл по дороге, дети красными и белыми пятнышками виднелись далеко впереди на тёмной зелени рощи. Тараска догнал их за большим лесом.

II

Ягодное место было по сведенному лесу. Между сочных молодых кустов выдавались места с невысокой травой, в которой зрели и прятались красные ягоды.

Девчонки, перегнувшись вдвое, ягодку за ягодкой выбирали и клали какую похуже в рот, какую получше — в кружку.

— Ольгушка, сюда иди! Тут беда — сколько!

— Ау! — перекликались они, далеко не расходясь, когда заходили в кусты.

Тараска ушёл от них дальше в овраг.

— Грушка!

— Ась!

— А как волк!

— Ну, что ж волк? Ты что ж пугаешь? А я не боюсь, — говорила Груша и, забывшись, клала ягоду за ягодой, и самые лучшие не в кружку, а в рот.

— А Тараска-то наш ушёл за овраг. Тараска! Ау!

— Я-о! — отвечал Тараска из-за оврага. — Идите сюда!

— А и то пойдём, там больше.

III

Девчата полезли вниз в овраг и тут, на припёке солнца, сразу напали на полянку, сплошь усыпанную ягодами. Обе молчали и, не переставая, работали руками и губами.

Вдруг что-то шарахнулось и среди тишины с страшным, как им показалось, грохотом затрещало по траве и кустам.

Грушка упала от страха и рассыпала набранные ягоды.

— Мамушка! — завизжала она и заплакала.

— Заяц, это заяц! Тараска! Заяц! Вот он! — кричала Ольгушка, указывая на серо-бурую спинку с ушками, мелькавшую между кустов.

— Ты чего? — обратилась Ольгушка к Грушке, когда заяц скрылся.

— Я думала, волк, страсть испугалась! — говорит Грушка, заливаясь звонким, как колокольчик, хохотом.

IV

Солнце уже совсем вышло из-за леса и жарко пекло землю и всё, что было на ней.

— Ольгушка, купаться! — пригласили Ольгу сошедшиеся к ней девочки.

И все большим хороводом отправились с песнями к реке. Барахтаясь, визжа и болтая ногами, девочки не заметили, как с запада заходила чёрная туча, как солнце стало

скрываться и как запахло цветами и берёзовым листом и стало погромыхивать. Не успели девочки одеться, как пошёл дождь и измочил их до нитки.

V

В прилипших к телу и потемневших рубашонках девчонки прибежали домой.

Когда они пообедали, рубашонки уже высохли. Перебрав землянику и уложив её в чашки, они понесли её на дачу.

Вернувшись домой, Ольгушка развязала зубами узелок на платке, в котором был завязан двугривенный, и отдала его матери. Мать спрятала деньги.

Тараска же, с завтрака пропахавший с отцом картофель, спал в это время в тени густого, тёмного дуба.



Кавказский пленник

БЫЛЬ

1

Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин.

Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему старуха мать: «Стара я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сына. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с богом, поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала: и умная, и хорошая, и имяе есть. Полюбится тебе, может, и женишься и совсем останешься».

Жилин и раздумался: «И в самом деле: плоха уж старуха стала; может, и не придётся увидеть. Поехать; а если невеста хороша — и жениться можно».

Пошёл он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам четыре ведра водки на прощанье и собрался ехать.

На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что два раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в середине едет народ.

Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе.

Ехать было 25 вёрст. Обоз шёл тихо; то солдаты останавливаются, то в обозе колесо у кого соскочит, или лошадь станет, и все стоят — дожидаются.

Солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги прошёл. Пыль, жара, солнце так и печёт, а укрыться негде. Голая степь, ни деревца, ни кустика по дороге.

Выехал Жилин вперёд, остановился и ждёт, пока подойдёт обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли, — опять стоять. Жилин и подумал: «А не уехать ли одному, без солдат? Лошадь подо мной добрая, если и нападусь на татар — ускачу. Или не ездить?..»

Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьём, и говорит:

— Поедем, Жилин, одни. Мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне рубаху хоть выжми. — А Костылин — мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льёт. Подумал Жилин и говорит:

— А ружьё заряжено?

— Заряжено.

— Ну, так поедem. Только уговор — не разъезжаться.

И поехали они вперёд по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно.

Только кончилась степь, пошла дорога промеж двух гор в ущелье, Жилин и говорит:

— Надо выехать на гору, поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочат из-за горы и не увидишь.

А Костылин говорит:

— Что смотреть? поедем вперёд.

Жилин не послушал его.

— Нет, — говорит, — ты подожди внизу, а я только взгляну.

И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь под Жилиным была охотничья (он за неё сто рублей заплатил в табуне жеребёнком и сам выездил); как на крыльях взнесла его на кручь. Только выскакал, глядь — а перед самым им, на десятину места, стоят татары верхами, — человек тридцать. Он увидел, стал назад поворачивать; и татары его увидели, пустились к нему, сами на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под кручь во все лошадиные ноги, кричит Костылину:

— Вынимай ружьё! — а сам думает на лошадь свою: «Матушка, вынеси, не зацепись ногой, спотыкнёшься — пропал. Доберусь до ружья, я им не дамся».

А Костылин, вместо того чтобы подождать, только увидел татар — закатился что есть духу к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого. Только в пыли видно, как лошадь хвостом вертит.

Жилин видит — дело плохо. Ружьё уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад к солдатам — думал уйти. Видит, ему наперерез катят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми ещё добрее, да и наперерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад поворотить, да уж разнеслась лошадь, не удержит, прямо на них летит. Видит — близится к нему с красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, ружьё наготове.

«Ну, — думает Жилин, — знаю вас, чертей, если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть. Не дамся же живой».

А Жилин хоть невелик ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, думает: «Либо лошадию сомну, либо срублю шашкой».

На лошадь места не доскакал Жилин, выстрелили по нём сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху, — навалилась Жилину на ногу.

Хотел он подняться, а уж на нём два татарина вонючие сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар, — да ещё соскакали с коней трое на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с сёдел подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, поволокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, всё обшарили, деньги, часы вынули, платье всё изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. Она, сердечная, как упала на бок, так и лежит, только бьётся ногами, — до земли не достаёт; в голове дыра, и из дыры так и свищет кровь чёрная, — на аршин кругом пыль смочила.

Один татарин подошёл к лошади, стал седло снимать. Она всё бьётся, — он вынул кинжал, прорезал ей глотку. Засвистело из горла, трепанулась, и пар вон.

Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему на седло; а чтобы не упал, притянули его ремнём за пояс к татарину и повезли в горы.

Сидит Жилин за татаринком, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синеется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами. И нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключице ломит.

Ехали они долго с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали лощиной.

Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут, — да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя.

Стало смеркаться. Переехали ещё речку, стали подниматься по каменной горе, запахло дымом, забрежали собаки.

Приехали в аул¹. Послезли с лошадей татары, собрались ребята татарские, окружили Жилина, пищат, радуются, стали камнями пулять в него.

Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и кликнул работника. Пришёл ногаец скуластый, в одной рубахе. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему татарин. Принёс работник колодку: два чурбака дубовых на железные кольца насажены, и в одном кольце пробойчик и замок.

Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай: толкнули его туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз. Полежал, ощупал в темноте, где помягче, и лёг.

2

Почти всю эту ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит — в щёлке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щёлку побольше, стал смотреть.

Видна ему из щёлки дорога — под гору идёт, направо сакля татарская, два дерева подле неё. Собака чёрная лежит на пороге, коза с козлятами ходит, хвостиками подёргивают. Видит — из-под горы идёт татарка молоденькая, в рубахе цветной, распояской, в штанах и сапогах, голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. Идёт, в спине подрагивает, перегибается, а за руку татарчонка ведёт бритого, в одной рубашке. Прош-

¹ Аул — татарская деревня. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

ла татарка в саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете шёлковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья, чёрная, назад заломлена. Вышел, потягивается, бороду красную сам поглаживает. Постоял, велел что-то работнику и пошёл куда-то.

Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп мокрый. Выбежали ещё мальчишки бритые, в одних рубашках, без порток, собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щёлку. Жилин как ухнет на них: завизжали ребята, закатились бежать прочь, только коленки голые блестят.

А Жилину пить хочется; в горле пересохло; думает — хоть бы пришли проведать. Слышит — отпирают сарай. Пришёл красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, черноватенький. Глаза чёрные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена; лицо весёлое, всё смеётся. Одет черноватый ещё лучше; бешмет шёлковый синий, галунчиком обшит. Кинжал на поясе большой, серебряный; башмачки красные, сафьянные, тоже серебром обшиты. А на тонких башмачках другие толстые башмаки. Шапка высокая, белого барашка.

Красный татарин вошёл, проговорил что-то, точно ругается, и стал; облокотился на притолку, кинжалом пошевеливает, как волк исподлобья косится на Жилина. А черноватый, — быстрый, живой, так весь на пружинах и ходит, — подошёл прямо к Жилину, сел на корточки, осклаливается, потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, глазами подмигивает, языком прищёлкивает, всё приговаривает: «Корошо урус! Корошо урус!»

Ничего не понял Жилин и говорит: «Пить, воды пить дайте!»

Чёрный смеётся. «Корош урус», — всё по-своему лопочет.

Жилин губами и руками показал, чтоб пить ему дали.

Чёрный понял, засмеялся, выглянул в дверь, кликнул кого-то: «Дина!»

Прибежала девочка — тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом на чёрного похожа. Видно, что дочь. Тоже — глаза чёрные, светлые и лицом красивая. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах оторочено красным. На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие с высокими каблуками; на шее монисто, всё из русских полтинников. Голова непокрытая, коса чёрная, и в косе лента, а на ленте привешаны бляхи и рубль серебряный.

Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла, принесла кувшинчик жестяной. Подала воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что плечи ниже колен ушли. Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьёт, как на зверя какого.

Подал ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая. Даже отец засмеялся. Послал её ещё куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой и опять села, изогнулась, глаз не спускает — смотрит.

Ушли татары, заперли опять дверь.

Погодя немного, приходит к Жилину ногоец и говорит: — Айда, хозяин, айда!

Тоже не знает по-русски. Только понял Жилин, что велит идти куда-то.

Пошёл Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за ногойцем. Видит — деревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с башенкой. У одного дома стоят три лошади в сёдлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шёл Жилин. Сам смеётся, всё говорит что-то по-своему, и ушёл в дверь. Пришёл Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. К передней стене пуховики пёстрые

уложены, по бокам висят ковры дорогие; на коврах ружья, пистолеты, шашки — все в серебре. В одной стене печка маленькая вровень с полом. Пол земляной, чистый как ток, и весь передний угол устлан войлоками; на войлоках ковры, а на коврах пуховые подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татары: чёрный, красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины просяные и масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское — буза, в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле.

Вскочил чёрный, велел посадить Жилина в сторонке, не на ковёр, а на голый пол, залез опять на ковёр, угощает гостей блинами и бузой. Посадил работник Жилина на место, сам снял верхние башмаки, поставил у двери рядом, где и другие башмаки стояли, и сел на войлок поближе к хозяевам; смотрит, как они едят, слюни утирает.

Поели татары блины, пришла татарка в рубахе такой же, как и девка, и в штанах; голова платком покрыта. Унесла масло, блины, подала лоханку хорошую и кувшин с узким носком. Стали мыть руки татары, потом сложили руки, сели на коленки, подули на все стороны и молитвы прочли. Поговорили по-своему. Потом один из гостей-татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски.

— Тебя, — говорит, — взял Кази-Мугамед, — сам показывает на красного татарина, — и отдал тебя Абдул-Мурату, — показывает на черноватого. — Абдул-Мурат теперь твой хозяин.

Жилин молчит.

Заговорил Абдул-Мурат, и всё показывает на Жилина, и смеётся, и приговаривает: «Солдат урус, корошо урус».

Переводчик говорит: «Он тебе велит домой письмо писать, чтоб за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя пустит».

Жилин подумал и говорит: «А много ли он хочет выкупа?»

Поговорили татары, переводчик и говорит:

— Три тысячи монет.

— Нет, — говорит Жилин, — я этого заплатить не могу.

Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину, — всё думает, что он поймёт. Перевёл переводчик, говорит: «Сколько же ты дашь?»

Жилин подумал и говорит: «Пятьсот рублей».

Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на красного, залопотал так, что слюни изо рта брызжут. А красный только жмурится да языком пощёлкивает.

Замолчали они; переводчик и говорит:

— Хозяину выкупу мало пятьсот рублей. Он сам за тебя двести рублей заплатил. Ему Кази-Мугамед был должен. Он тебя за долг взял. Три тысячи рублей, меньше нельзя пустить. А не напишешь, в яму посадят, наказывать будут плетью.

«Эх, — думает Жилин, — с ними, что робеть, то хуже». Вскочил на ноги и говорит:

— А ты ему, собаке, скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки ж не дам, да и писать не стану. Не боялся, да и не буду бояться вас, собак!

Пересказал переводчик, опять заговорили все вдруг. Долго лопотали, вскочил чёрный, подошёл к Жилину.

— Урус, — говорит, — джигит, джигит урус!

Джигит, по-ихнему, значит «молодец». И сам смеётся; сказал что-то переводчику, а переводчик говорит:

— Тысячу рублей дай.

Жилин стал на своём: «Больше пятисот рублей не дам. А убьёте, — ничего не возьмёте».

Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на Жилина, то на дверь поглядывают. Пришёл работник, и идёт за ним человек какой-то, толстый, босиком и ободраный, на ноге тоже колодка.

Так и ахнул Жилин, — узнал Костылина. И его поймали. Посадили их рядом; стали они рассказывать друг другу, а татары молчат, смотрят. Рассказал Жилин, как с ним

дело было; Костылин рассказал, что лошадь под ним стала и ружьё осеклось и что этот самый Абдул нагнал его и взял.

Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит.

Перевёл переводчик, что они теперь оба одного хозяина, и кто прежде выкуп даст, того прежде отпустят.

— Вот, — говорит Жилину, — ты всё серчаешь, а товарищ твой смирный; он написал письмо домой, пять тысяч монет пришлют. Вот его и кормить будут хорошо, и обижать не будут.

Жилин говорит:

— Товарищ как хочет; он, может, богат, а я не богат. Я, — говорит, — как сказал, так и будет. Хотите убивайте, — пользы вам не будет, а больше пятисот рублей не напишу.

Помолчали. Вдруг как вскочит Абдул, достал сундучок, вынул перо, бумаги лоскут и чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу, показывает: «пиши». Согласился на 500 рублей.

— Погоди ещё, — говорит Жилин переводчику, — скажи ты ему, чтоб он нас кормил хорошо, одел-обул как следует, чтоб держал вместе, — нам веселей будет, и чтобы колодку снял. — Сам смотрит на хозяина и смеётся. Смеётся и хозяин. Выслушал и говорит:

— Одежу самую лучшую дам: и черкеску, и сапоги, хоть жениться. Кормить буду, как князей. А коли хотят жить вместе — пускай живут в сарае. А колодку нельзя снять — уйдут. На ночь только снимать буду. — Подскочил, треплет по плечу. — Твоя хорош, моя хорош!

Написал Жилин письмо, а на письме не так написал, чтоб не дошло. Сам думает: «Я уйду».

Отвели Жилина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в кувшине, хлеба, две черкески старые и сапоги истрёпанные, солдатские. Видно, с убитых солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай.

Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин всё смеётся. — Твоя, Иван, хорош, — моя, Абдул, хорош. — А кормил плохо, — только и давал, что хлеб пресный из просяной муки, лепёшками печёный, а то и вовсе тесто непечёное.

Костылин ещё раз писал домой, всё ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придёт, или спит. А Жилин знал, что его письмо не дойдёт, а другого не писал.

«Где, — думает, — матери столько денег взять, за меня заплатить. И то она тем больше жила, что я посылал ей. Если ей пятьсот рублей собрать, надо разориться вконец. Бог даст — и сам выберусь».

А сам всё высматривает, выпытывает, как ему бежать. Ходит по аулу, насвистывает; а то сидит, что-нибудь рукодельничает, или из глины кукол лепит, или плетёт плетёнки из прутьев. А Жилин на всякое рукоделье мастер был.

Слепил он раз куклу, с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, и поставил куклу на крышу.

Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Динка увидела куклу, позвала татарок. Составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, подаёт им. Они смеются, а не смеют взять. Оставил он куклу, ушёл в сарай и смотрит, что будет?

Подбежала Дина, оглянулась, схватила куклу и убежала.

Наутро смотрит, на зорьке Дина вышла на порог с куклой. А куклу уж лоскутками красными убрала и качает, как ребёнка, сама по-своему прибаюкивает. Вышла старуха, забранилась на неё, выхватила куклу, разбила её, услала куда-то Дину на работу.

Сделал Жилин другую куклу, ещё лучше, — отдал Дине. Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, сама смеётся, показывает на кувшин.

«Чего она радуется?» — думает Жилин. Взял кувшин, стал пить. Думает, вода, а там молоко. Выпил он молоко. «Хорошо», — говорит. Как взрадуется Дина!

— Хорошо, Иван, хорошо! — и вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшин и убежала.

И с тех пор стала она ему каждый день, крадучи, молока носить. А то делают татары из козьего молока лепёшки сырные и сушат их на крышах, — так она эти лепёшки ему тайком принашивала. А то раз резал хозяин барана, — так она ему кусок баранины принесла в рукаве. Бросит и убежит.

Была раз гроза сильная, и дождь час целый как из ведра лил. И помутились все речки, где брод был, там на три аршина вода пошла, камни ворочает. Повсюду ручьи текут, гул стоит по горам. Вот как прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил у хозяина ножик, вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал.

Принесли ему девчонки лоскутков, — одел он кукол: одна — мужик, другая — баба; утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а куколки прыгают.

Собралась вся деревня: мальчишки, девчонки, бабы; и татары пришли, языком щёлкают:

— Ай, урус! ай, Иван!

Были у Абдула часы русские, сломанные. Позвал он Жилина, показывает, языком щёлкает. Жилин говорит:

— Давай починю.

Взял, разобрал ножичком, разложил; опять сладил, отдал. Идут часы.

Обрадовался хозяин, принёс ему бешмет свой старый, весь в лохмотьях, подарил. Нечего делать, взял, — и то годится покрыться ночью.

С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать: кто замок на ружьё или пистолет починить принесёт, кто часы. При-

вёз ему хозяин снасть: и щипчики, и буравчики, и подпилочек.

Заболел раз татарин, пришли к Жилину: «Поди полечи». Жилин ничего не знает, как лечить. Пошёл, посмотрел, думает: «Авось поздоровеет сам». Ушёл в сарай, взял воды, песку, помешал. При татарях нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел на его счастье татарин. Стал Жилин немножко понимать по-ихнему. И некоторые татары привыкли к нему, — когда нужно, кличут: «Иван, Иван!» — а некоторые всё, как на зверя, косятся.

Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернётся либо обругает. Был ещё у них старик. Жил он не в ауле, а приходил из-под горы. Видал его Жилин только, когда он в мечеть приходил богу молиться. Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотано, борода и усы подстрижены, — белые, как пух; а лицо сморщенное и красное, как кирпич. Нос крючком, как у ястреба, а глаза серые, злые и зубов нет — только два клыка. Идёт, бывало, в чалме своей, костылём подпирается, как волк, озирается. Как увидит Жилина, так захрапит и отвернётся.

Пошёл раз Жилин под гору — посмотреть, где живет старик. Сошёл по дорожке, видит садик, ограда каменная; из-за ограды — черешни, шепталы и избушка с плоской крышкой. Подошёл он ближе; видит — ульи стоят, плетённые из соломы, и пчёлы летают, гудят. И старик стоит на коленочках, что-то хлопчет у улья. Поднялся Жилин повыше посмотреть и загремел колодкой. Старик оглянулся — как визгнет; выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться.

Пришёл старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяин Жилина, сам смеётся и спрашивает:

— Зачем ты к старику ходил?

— Я, — говорит, — ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он живёт.

Передал хозяин. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки свои выставил, махает руками на Жилина.

Жилин не понял всего; но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать их в ауле. Ушёл старик.

Стал Жилин спрашивать хозяина: что это за старик? Хозяин и говорит:

— Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них три месяца, нашёл там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошёл в Мекку — богу молиться. От этого у него чалма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить; да мне нельзя убить, — я за тебя деньги заплатил; да я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал. — Смеётся, сам приговаривает по-русски: «Твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош!»

4

Прожил так Жилин месяц. Днём ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придёт, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней, да он подпилком камни тёр, и прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть. «Только бы, — думает, — мне место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары».

Вот он выбрал время, как хозяин уехал; пошёл после обеда за аул на гору, — хотел оттуда место посмотреть. А когда хозяин уезжал, он приказал малому за Жилиным ходить, с глаз его не спускать. Бежит малый за Жилиным, кричит:

— Не ходи! Отец не велел. Сейчас народ позову!
Стал его Жилин уговаривать.

— Я, — говорит, — далеко не уйду — только на ту гору поднимусь: мне травы нужно найти — ваш народ лечить. Пойдём со мной; я с колодкой не убегу. А тебе завтра лук сделаю и стрелы.

Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору — не далеко, а с колодкой трудно; шёл, шёл, насилу взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни, за горой, лощина, табун ходит, и аул другой в низочке виден. От аула другая гора — ещё круче, а за той горой ещё гора. Промеж гор лес синеется, а там ещё горы всё выше и выше поднимаются. А выше всех — белые, как сахар, горы стоят под снегом. И одна снеговая гора выше других шапкой стоит. На восход и на закат — всё такие же горы; кое-где аулы дымятся в ущельях. «Ну, — думает, — это всё ихняя сторона». Стал смотреть в русскую сторону: под ногами речка, аул свой, садики кругом. На речке, как куклы маленькие, — видно, бабы сидят, полоскают. За аулом, пониже, гора, и через неё ещё две горы, по ним лес; а промеж двух гор синеется ровное место, а на ровном месте, далеко-далеко, точно дым стелется. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит: так точно, в этой долине должна быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо.

Стало солнышко закатываться. Стали снеговые горы из белых — алые; в чёрных горах потемнело; из лощин пар поднялся, и самая та долина, где крепость наша должна быть, как в огне загорелась от заката. Стал Жилин вглядываться, — маячит что-то в долине точно дым из труб. И так и думается ему, что это самое — крепость русская.

Уж поздно стало. Слышно — мулла прокричал. Стадо гонят — коровы ревут. Малый всё зовет: «Пойдём», а Жилину и уходить не хочется.

Вернулись они домой. «Ну, — думает Жилин, — теперь место знаю; надо бежать». Хотел он бежать в ту же ночь. Ночи были тёмные — ущерб месяца. На беду, к вечеру вернулись татары. Бывало, приезжают они — гонят с собою скотину и приезжают весёлые. А на этот раз ничего не пригнали, а привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего. Приехали сердитые, собрались все хоронить. Вышел и Жилин посмотреть. Завернули мёртвого в полотно, без гроба, вынесли под чинары за деревню, положили на траву. Пришёл мулла, собрались старики, полотенцами повязали шапки, разулись, сели рядом на пятки перед мёртвым.

Спереди мулла, сзади три старика в чалмах, рядом, а сзади их ещё татары. Сели, потупились и молчат. Долго молчали. Поднял голову мулла и говорит:

— Алла (значит бог)! — Сказал это одно слово, и опять потупились и долго молчали; сидят, не шевелятся. Опять поднял голову мулла:

— Алла! — и все проговорили: «Алла» — и опять замолчали. Мёртвый лежит на траве, не шелохнётся, и они сидят как мёртвые. Не шевельнётся ни один. Только слышно, на чинаре листочки от ветерка поворачиваются. Потом прочел мулла молитву, все встали, подняли мёртвого на руки, понесли. Принесли к яме. Яма вырыта не простая, а подкопана под землю, как подвал. Взяли мёртвого под мышки, да под лытки, перегнули, спустили полегонечку, подсунули сидья под землю, заправили ему руки на живот.

Притащил ногаец камышу зелёного, заклали камышом яму, живо засыпали землёй, сровняли, а в головы к мертвецу камень стоймя поставили. Утоптали землю, сели опять рядом перед могилой. Долго молчали.

— Алла! Алла! Алла! — Вздохнули и встали.

Роздал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя три раза по лбу и пошёл домой.

Наутро видит Жилин — ведёт красный кобылу за деревню, а за ним трое татар идут. Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава, — ручищи здоровые, — вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары кобыле голову кверху, подошёл рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу и начал свежевать — кулачищами шкуру подпарывает. Пришли бабы, девки, стали мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, стащили в избу. И вся деревня собралась к рыжему поминать покойника.

Три дня ели кобылу, бузу пили, покойника поминали. Все татары дома были. На четвёртый день, видит Жилин, в обед куда-то собираются. Привели лошадей, убрались и поехали человек десять, и красный поехал: только Абдул дома остался. Месяц только народился, ночи ещё тёмные были.

«Ну, — думает Жилин, — нынче бежать надо», и говорит Костылину. А Костылин заробел.

— Да как же бежать? Мы и дороги не знаем.

— Я знаю дорогу.

— Да и не дойдём в ночь.

— А не дойдём — в лесу переночуем. Я вот лепёшек набрал. Что ж ты будешь сидеть? Хорошо, пришлют денег, а то ведь не соберут. А татары теперь злые — за то, что ихнего русские убили. Поговаривают — нас убить хотят.

Подумал, подумал Костылин.

— Ну, пойдём.

5

Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтоб и Костылину пролезть, и сидят они — ждут, чтобы затихло в ауле.

Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, выбрался. Шепчет Костылину: «Полезай». Полез и Костылин, да зацепил камень ногой, загремел. А у хозяина сторожка была — пёстрая собака, и злая-презлая; звали её Уляшин.

Жилин уже наперёд прикормил её. Услыхал Уляшин, — забрежал и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул лепёшки кусок, Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал брехать.

Хозяин услышал, загайкал из сакли: «Гайть! Гайть! Уляшин!»

А Жилин за ушами почёсывает Уляшина. Молчит собака, трётся ему об ноги, хвостом махает.

Посидели они за углом. Затихло всё; только слышно, овца перхает в закуте да низом вода по камушкам шумит. Темно; звёзды высоко стоят на небе; над горой молодой месяц покраснелся, кверху рожками заходит. В лощинах туман, как молоко, белеется.

Тронулись; только отошли, слышат — запел мулла на крыше: «Алла! Бесмилла! Ильрахман!» Значит — пойдёт народ в мечеть. Сели опять, притаившись под стенкой. Долго сидели, дожидались, пока народ пройдёт. Опять затихло.

— Ну, с богом! — Перекрестились, пошли. Прошли через двор под кручь к речке, перешли речку, пошли лощиной. Туман густой, да низом стоит, а над головой звёзды виднешёньки. Жилин по звёздам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки — стоптались. Жилин снял свои, бросил, пошёл босиком. Попрыгивает с камушка на камушек да на звёзды поглядывает. Стал Костылин отставать.

— Тише, — говорит, — иди: сапоги проклятые, все ноги стёрли.

— Да ты сними, легче будет.

Пошёл Костылин босиком — ещё того хуже: изрезал все ноги по камням и всё отстаёт. Жилин ему говорит:

— Ноги обдерёшь — заживут, а догонят — убьют — хуже.

Костылин ничего не говорит, идёт, покряхтывает. Шли они низом долго. Слышат — вправо собаки забрежали.

Жилин остановился, осмотрелся, полез на гору, руками ощупал.

— Эх, — говорит, — ошиблись мы — вправо забрали. Тут аул чужой, я его с горы видел; назад надо, да влево в гору. Тут лес должен быть.

А Костылин говорит:

— Подожди хоть немножко, дай вздохнуть, — у меня ноги в крови все.

— Э, брат, заживут; ты легче прыгай. Вот как!

И побежал Жилин назад, влево в гору, в лес. Костылин всё отстаёт и охает. Жилин шикнет-шикнет на него, а сам всё идёт.

Поднялись на гору. Так и есть — лес. Вошли в лес, — по колючкам изодрали всё платье последнее. Напались на дорожку в лесу. Идут.

— Стой! — Затопало копытами по дороге. Остановились, слушают. Потопало, как лошадь, и остановилось. Тронулись они — опять затопало. Они остановятся — и оно остановится. Подполз Жилин, смотрит на свет по дороге — стоит что-то. Лошадь не лошадь, и на лошади что-то чудное, на человека не похоже. Фыркнуло — слышит. «Что за чудо!» Свистнул Жилин потихоньку, — как шаркнет с дороги в лес, и затрещало по лесу, точно буря летит, сучья ломает.

Костылин так и упал со страху. А Жилин смеётся, говорит:

— Это олень. Слышишь — как рогами лес ломит? Мы его боимся, а он нас боится.

Пошли дальше. Уж высожары спускаться стали, до утра недалеко. А туда ли идут, нет ли, — не знают. Думается так Жилину, что по этой самой дороге его везли и что до своих — вёрст десять ещё будет; а приметы верной нет, да и ночь — не разберёшь. Вышли на полянку. Костылин сел и говорит:

— Как хочешь, а я не дойду, — у меня ноги не идут.

Стал его Жилин уговаривать.

— Нет, — говорит, — не дойду, не могу.

Рассердился Жилин, плюнул, обругал его.

— Так я же один уйду, — прощай!

Костылин вскочил, пошёл. Прошли они версты четыре. Туман в лесу ещё гуще сел, ничего не видать перед собой, и звёзды уж чуть видны.

Вдруг слышат, впереди топают лошади. Слышно — подковами за камни цепляется. Лёг Жилин на брюхо, стал по земле слушать.

— Так и есть, — сюда, к нам конный едет.

Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Жилин подполз к дороге, смотрит — верховой татарин едет, корову гонит, сам себе под нос мурлычет что-то. Проехал татарин. Жилин вернулся к Костылину.

— Ну, пронёс бог, — вставай, пойдём.

Стал Костылин вставать и упал.

— Не могу, — ей-богу, не могу; сил моих нет.

Мужчина грузный, пухлый, запотел; да как обхватило его в лесу туманом холодным, да ноги ободраны, — он и рассолодел. Стал его Жилин силой поднимать. Как закричит Костылин:

— Ой, больно!

Жилин так и обмер.

— Что кричишь? Ведь татарин близко — услышит. — А сам думает: «Он и вправду расслаб; что мне с ним делать? Бросить товарища не годится».

— Ну, — говорит, — вставай, садись на закорки, снесу, коли уж идти не можешь.

Посадил на себя Костылина, подхватил руками под ляжки, вышел на дорогу, поволол.

— Только, — говорит, — не дави ты меня руками за глотку, ради Христа. За плечи держись.

Тяжело Жилину, — ноги тоже в крови и утомился. Нагнётся, подправит, подкинет, чтоб повыше сидел на нем Костылин, тащит его по дороге.

Видно, услышал татарин, как Костылин закричал. Слышит Жилин, едет кто-то сзади, кличет по-своему. Бросился Жилин в кусты. Татарин выхватил ружьё, выпалил, — не попал, завизжал по-своему и поскакал прочь по дороге.

— Ну, — говорит Жилин, — пропали, брат! Он, собака, сейчас соберёт татар за нами в погоню. Коли не уйдём версты три, — пропали. — А сам думает на Костылина: «И чёрт меня дёрнул колоду эту с собой брать. Один я бы давно ушёл».

Костылин говорит:

— Иди один, за что тебе из-за меня пропадать.

— Нет, не пойду, не годится товарища бросать.

Подхватил опять на плечи, попёр. Прошёл он так с версту. Всё лес идёт и не видать выхода. А туман уж расходиться стал, и как будто тучки заходить стали, не видать уж звёзд. Измучился Жилин.

Пришёл, у дороги родничок, камнем обделан. Остановился, ссадил Костылина.

— Дай, — говорит, — отдохну, напьюсь. Лепёшек поедем. Должно быть, недалеко.

Только прилёг он пить, слышит — затопало сзади. Опять кинулись вправо, в кусты, под кручь, и легли.

Слышат голоса татарские; остановились татары на том самом месте, где они с дороги свернули. Поговорили, потом зауськали, как собак притравливают. Слышат — трещит что-то по кустам, прямо к ним собака чужая чья-то. Остановилась, забрехала.

Лезут и татары — тоже чужие; схватили их, посвязали, посадили на лошадей, повезли.

Проехали версты три, — встречает их Абдул-хозяин с двумя татарами. Поговорил что-то с татарами, пересадили на своих лошадей, повезли назад в аул.

Абдул уж не смеётся и ни слова не говорит с ними.

Привезли на рассвете в аул, посадили на улице. Сбежались ребята. Камнями, плётками бьют их, визжат.

Собрались татары в кружок, и старик из-под горы пришёл. Стали говорить. Слышит Жилин, что судят про них, что с ними делать. Одни говорят: надо их дальше в горы услать, а старик говорит: «Надо убить». Абдул спорит, говорит: «Я за них деньги отдал, я за них выкуп возьму». А старик говорит: «Ничего они не заплатят, только беды наделают. И грех русских кормить. Убить, — и кончено».

Разошлись. Подошёл хозяин к Жилину, стал ему говорить:

— Если, — говорит, — мне не пришлют за вас выкуп, я через две недели вас заporю. А если затеешь опять бежать, — я тебя как собаку убью. Пиши письмо, хорошенько пиши!

Принесли им бумаги, написали они письма. Набили на них колодки, отвели за мечеть. Там яма была аршин пяти, и спустили их в эту яму.

6

Житьё им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет. Кидали им туда тесто непечёное, как собакам, да в кувшине воду спускали. Вонь в яме, духота, мокрота. Костылин совсем разболелся, распух, и ломота во всём теле стала; и всё стонет или спит. И Жилин приуныл, видит — дело плохо. И не знает, как выбраться.

Начал он было подкапываться, да землю некуда кидать; увидал хозяин, пригрозил убить.

Сидит он раз в яме на корточках, думает об вольном житье, и скучно ему. Вдруг прямо ему на коленки лепёшка упала, другая, и черешни посыпались. Поглядел кверху, а там Дина. Поглядела на него, посмеялась и убежала. Жилин и думает: «Не поможет ли Дина?»

Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лошадей, собак, думает: «Как придёт Дина, брошу ей».

Только на другой день нет Дины. А слышит Жилин — затопали лошади, проехали какие-то, и собрались татары у мечети, спорят, кричат и поминают про русских. И слышит голос старика. Хорошенько не разобрал он, а догадывается, что русские близко подошли, и боятся татары, как бы в аул не зашли, и не знают, что с пленными делать.

Поговорили и ушли. Вдруг слышит — зашуршало что-то наверху. Видит: Дина присела на корточки, коленки выше головы торчат, свесилась, монисты висят, болтаются над ямой. Глазёнки так и блестят, как звёздочки; вынула из рукава две сырны лепёшки, бросила ему. Жилин взял и говорит:

— Что давно не бывала? А я тебе игрушек наделал. На вот! — Стал ей швырять по одной. А она головой мотает, не смотрит.

— Не надо, — говорит. Помолчала, посидела и говорит: — Иван! тебя убить хотят. — Сама себе рукой на шею показывает.

— Кто убить хочет?

— Отец, ему старики велят. А мне тебя жалко.

Жилин и говорит:

— А коли тебе меня жалко, так ты мне палку длинную принеси.

Она головой мотает, что «нельзя». Он сложил руки, молится ей:

— Дина, пожалуйста! Динушка, принеси!

— Нельзя, — говорит, — увидят, все дома, — и ушла.

Вот сидит вечером Жилин и думает: «Что будет?» Всё поглядывает вверх. Звёзды видны, а месяц ещё не восходил. Мулла прокричал, затихло всё. Стал уже Жилин дремать, думает: «Побоится девка».

Вдруг на голову ему глина посыпалась; глянул кверху — шест длинный в тот край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползёт в яму. Обрадовался Жилин, схва-

тил рукой, спустил — шест здоровый. Он ещё прежде этот шест на хозяйской крыше видел.

Поглядел вверх, — звёзды высоко на небе блещут; и над самой ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся. Нагнулась она лицом на край ямы и шепчет: «Иван, Иван!» — а сама руками у лица всё машет, — что «тише, мол».

— Что? — говорит Жилин.

— Уехали все, только двое дома.

Жилин и говорит:

— Ну, Костылин, пойдём, попытаемся последний раз; я тебя подсажу.

Костылин и слушать не хочет.

— Нет, — говорит, — уж мне, видно, отсюда не выйти. Куда я пойду, когда и поворотиться нет сил?

— Ну, так прощай, — не поминай лихом. — Поцеловался с Костылиным.

Ухватился за шест, велел Дине держать, полез. Раза два он обрывался, — колодка мешала. Поддержал его Костылин, — выбрался кое-как наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху изо всех сил, сама смеётся.

Взял Жилин шест и говорит:

— Снеси на место, Дина, а то хватятся, — прибьют тебя.

Потащила она шест, а Жилин под гору пошёл. Слез под кручь, взял камень вострый, стал замок с колодки выворачивать. А замок крепкий, — никак не собьёт, да и неловко. Слышит, бежит кто-то с горы, легко подпрыгивает. Думает: «Верно, опять Дина». Прибежала Дина, взяла камень и говорит:

— Дай я.

Села на коленочки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики, — ничего силы нет. Бросила камень, заплакала. Принялся опять Жилин за замок, а Дина села подле него на корточках, за плечо его держит. Оглянул-

ся Жилин, видит — налево за горой зарево красное загорелось, месяц встаёт. «Ну, — думает, — до месяца надо лощину пройти, до лесу добраться». Поднялся, бросил камень. Хоть в колодке, — да надо идти.

— Прощай, — говорит, — Динушка. Век тебя помнить буду.

Ухватила за него Дина: шарит по нему руками, ищет — куда бы лепёшки ему засунуть. Взял он лепёшки.

— Спасибо, — говорит, — умница. Кто тебе без меня кукол делать будет? — И погладил её по голове.

Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте слышно — монисты в косе по спине побрякивают.

Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал, пошёл по дороге, — ногу волочит, а сам всё на зарево поглядывает, где месяц встаёт. Дорогу он узнал. Прямоком идти вёрст восемь. Только бы до лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет. Перешёл он речку, — побелел уже свет за горой. Пошёл лощиной, идёт, сам поглядывает: не видать ещё месяца. Уж зарево посветлело и с одной стороны лощины всё светлее, светлее становится. Ползёт под гору тень, всё к нему приближается.

Идёт Жилин, всё тени держится. Он спешит, а месяц ещё скорее выбирается; уж и направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор, — бело, светло совсем, как днём. На деревьях все листочки видны. Тихо, светло по горам, как вымерло всё. Только слышно — внизу речка журчит.

Дошёл до лесу — никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать.

Отдохнул, лепёшку съел. Нашёл камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не сбил. Поднялся, пошёл по дороге. Прошёл с версту, выбился из сил, — ноги ломит. Ступит шагов десять и остановится. «Нечего де-

лать, — думает, — буду тащиться, пока сила есть. А если сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как рассветёт, — лягу в лесу, переднюю, а ночью опять пойду».

Всю ночь шёл. Только попались два татарина верхами, да Жилин издалека их услышал, схоронился за дерево.

Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошёл. «Ну, — думает, — ещё тридцать шагов пройду, сверну в лес и сяду». Прошёл тридцать шагов, видит — лес кончается. Вышел на край — совсем светло, как на ладонке перед ним степь и крепость, и налево, близёхонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется и люди у костров.

Вгляделся — видит: ружья блестят, казаки, солдаты.

Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошёл под гору. А сам думает: «Избави бог, тут, в чистом поле, увидит конный татарин; хоть близко, а не уйдёшь».

Только подумал — глядь: налево, на бугре, стоят трое татар, десятины на две. Увидали его, — пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. Замахал руками, закричал что было духу своим:

— Братцы! выручай! братцы!

Услыхали наши, — выскочили казаки верховые. Пустились к нему — наперерез татарам.

Казакам далеко, а татарам близко. Да уж и Жилин собрался с последней силой, подхватил рукой колодку, бежит к казакам, а сам себя не помнит, крестится и кричит:

— Братцы! братцы! братцы!

Казаков человек пятнадцать было.

Испугались татары, — не доезжаячи, стали останавливаться. И подбежал Жилин к казакам.

Окружили его казаки, спрашивают: кто он, что за человек, откуда? А Жилин сам себя не помнит, плачет и приговаривает:

— Братцы! Братцы!

Выбежали солдаты, обступили Жилина; кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто шинелью прикрывает, кто колодку разбивает.

Узнали его офицеры, повезли в крепость. Обрадовались солдаты, товарищи собрались к Жилину.

Рассказал Жилин, как с ним всё дело было, и говорит: — Вот я и домой съездил, женился! Нет, уж, видно, не судьба моя.

И остался служить на Кавказе. А Костылина только ещё через месяц выкупили за пять тысяч. Еле живого привезли.



ТУРГЕНЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (1818—1883)

Воробей

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы почуяв перед собой дичь.

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопылив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый чёрногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой — и весь взъерошенный, искажённый, с отчаянным и жалким пи-

ском прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собой своё детище... но всё его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всё-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущённого пса и удалился, благоговей.

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным её порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.



УШИНСКИЙ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (1824—1871)

Четыре желания

Митя накатался на саночках с ледяной горы и на коньках по замёрзшей реке, прибежал домой румяный, весёлый и говорит отцу:

— Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы всё зима была.

— Запиши своё желание в мою карманную книжку, — сказал отец.

Митя записал.

Пришла весна. Митя вволю набегался за пёстрыми бабочками по зелёному лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит:

— Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы всё весна была.

Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать своё желание.

Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный день веселился мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом сене, а вечером сказал отцу:

— Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету конца не было.

И это желание Мити было записано в ту же книжку.

Наступила осень. В саду собирали плоды — румяные яблоки и жёлтые груши. Митя был в восторге и говорил отцу:

— Осень лучше всех времён года!

Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он то же самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете.



Кто дерёт нос кверху

Спросил мальчик отца:

— Скажи мне, папа, отчего это иной колос так и гнётся к земле, а другой торчмя торчит?

— Который колос полон, — отвечает отец, — тот к земле гнётся, а который пустой, тот и торчит кверху.



Ветер и Солнце

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге.

— Посмотри, — сказал Ветер, — как я налечу на него: мигом сорву с него плащ.

Сказал — и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал всё дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождём и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему плаща не сдёрнуть.

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамёрзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу.

— Видишь ли, — сказала тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, — лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом.



Учёный медведь

— **Д**ети! Дети! — кричала няня. — Идите медведя смотреть!

Выбежали дети на крыльцо, а там уже много народу собралось. Нижегородский мужик, с большим колом в руках,

держит на цепи медведя, а мальчик приготовился в барабан бить.

— А ну-ка, Миша, — говорит нижегородец, дёргая медведя цепью, — встань, подымись, с боку на бок перевались, честным людям поклонись и молодкам покажись.

Заревел медведь, нехотя поднялся на задние лапы, с ноги на ногу переваливается, направо, налево раскланивается.

— А ну-ка, Мишенька, — продолжает нижегородец, — покажи, как малые ребятишки горох рвут; где сухо — на брюхе, а мокренько — на коленочках.

И пополз Мишка, на брюхо припадает, лапой загребаёт, будто горох дёргает.

— А ну-ка, Мишенька! Покажи, как бабы на работу идут. Идёт медведь, нейдёт; назад оглядывается, лапой за ухом скребёт.

Несколько раз медведь показывал досаду, ревел, не хотел вставать, но железное кольцо цепи, продетое в губу, и кол в руках хозяина заставляли бедного зверя повиноваться.

Когда медведь переделал все свои шутки, нижегородец сказал:

— А ну-ка, Миша! Теперича с ноги на ногу перевались, честным людям поклонись, да не ленись, да пониже поклонись! Потешь народ и за шапку берись: хлеб положат, так съешь, а деньги, так ко мне вернись.

И пошёл медведь, с шапкой в передних лапах, обходить зрителей. Дети положили гривенник; но им было жаль бедного Миши: из губы, продетой кольцом, сочилась кровь.



ЧЕХОВ

АНТОН ПАВЛОВИЧ

(1860—1904)

Белолобый

1

Голодная волчица встала, чтобы идти на охоту. Её волчата, все трое, крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла.

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и всё думала о том, как бы дома без неё кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и тёмная унавоженная дорога пугали её; ей казалось, будто за деревьями в потёмках стоят люди и где-то за лесом воют собаки.

Она была уже не молода, и чутьё у неё ослабело, так что, случалось, лисий след она принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьём, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одной падалью, свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у неё детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.

В верстах четырёх от её лóговища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который всё кашлял и разговаривал сам с со-

бой; обыкновенно ночью он спал, а днём бродил по лесу с ружьём-одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе: «Стоп машина!» и прежде чем пойти дальше: «Полный ход!» При нём находилась громадная чёрная собака неизвестной породы, по имени Арапка. Когда она забегала далеко вперёд, то он кричал ей: «Задний ход!» Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал (волчиха думала, что это от ветра) и кричал: «Сошёл с рельсов!»

Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки, и когда она не так давно пробежала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блёяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Её мучил голод, она думала о том, с какой жадностью она будет есть ягнёнка, и от таких мыслей зубы у неё щёлкали и глаза светились в потёмках, как два огонька.

Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. Арапка, должно быть, спала под сараем.

По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на неё прямо в морду пахнуло тёплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягнёнок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и тёплое, должно быть на барана, и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким подвывающим голоском, овцы шарахнулись к стене, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попало в зубы, и бросилась вон...

Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал:

— Полный ход! Пошёл к свистку!

И свистел, как машина, и потом — го-го-го-го!.. И весь этот шум повторяло лесное эхо.

2

Когда мало-помалу всё это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что её добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто твёрже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки... Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягнёнок, а щенок, чёрный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка. Он облизал свою помятую раненую спину и, как ни в чём не бывало, замахал хвостом и залаял на волчицу. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щёлкнула зубами; он остановился в недоумении и, вероятно, решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и с волчихой.

Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчётливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева, и часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка.

«Зачем он бежит за мной? — думала волчиха с досадой. — Должно быть, он хочет, чтобы я его съела».

Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на

дне её были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись, и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращающуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих.

Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег, а он всё стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая её лапами в тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую, её мучил голод, голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрошеного гостя и разорвать его.

Наконец щенок утомился и охрип, видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его. Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперёд широкие лапы, положил на них морду и начал:

— Мня, мня... нга-нга-нга!..

Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом, потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги, и они втроем напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу, и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему; и петухи, то и дело

перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными.

Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть с добычей; и теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха думала:

«Пускай приучаются».

Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом также растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть.

Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлую ночью в хлеву блеял ягнёнок и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она всё щёлкала зубами и не переставала грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягнёнок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег.

«Съем-ка его...» — решила волчиха.

Она подошла к нему, а он лизнул её в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и, по слабости здоровья, она уже не терпела этого запаха; ей стало противно, и она отошла прочь...

3

К ночи похолодало. Щенок соскучился и ушёл домой.

Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума, и её пугали пни, дрова, тёмные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги, по насту. Вдруг далеко впереди на дороге замелькало что-то тёмное... Она напрягла зрение и слух: в самом деле, что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая всё в сторону, обогнала тёмное пятно,

оглянулась на него и узнала. Это, не спеша, шагом, возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом.

«Как бы он опять мне не помешал», — подумала волчиха и быстро побежала вперёд.

Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые следи. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идёт ли щенок, но едва пахнуло на неё тёплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный, залихватый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру и, почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих овец, залаял ещё громче... Арапка проснулась под сараем и, почуяв волка, завывала, закудахтывали куры, и когда на крыльце показался Игнат со своей одностоволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья.

— Фюйть! — засвистел Игнат. — Фюйть! Гони на всех парах!

Он спустил курок — ружьё дало осечку; он спустил ещё раз — опять осечка; он спустил в третий раз — и огромный огненный снап вылетел из ствола и раздалось оглушительное «бу! бу!». Ему сильно отдало в плечо; и, взявши в одну руку ружьё, а в другую топор, он пошёл посмотреть, отчего шум... Немного погодя вернулся он в избу.

— Что там? — спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом.

— Ничего... — ответил Игнат. — Пустое дело. Поводился наш Белолобый с овцами спать в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит всё как бы в крышу. Намедни ночью разобрал крышу и гулять ушёл, подлец, а теперь вернулся и опять разворошил крышу.

— Глупый.

— Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых! — вздохнул Игнат, полезая на печь. — Ну, божий человек, рано вставать, давай спать полным ходом...

А утром он позвал к себе Белолобого, больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, всё приговаривал:

— Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!



Ванька

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене¹, он достал из хозяйского шкафа пузырёк с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на тёмный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьёй на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он. — И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевёл глаза на тёмное окно, в котором мелькало отражение его свечи, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижный старикашка, лет шестидесяти

¹ Заутреня — ранняя (на рассвете) церковная служба.

пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днём он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку¹. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелёк Выюн, прозванный так за свой чёрный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Выюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается... ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплёскивает руками, пожимается от холода...

— Табачку нешто нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается весёлым смехом и кричит:

— Отдирай, примёрзло!

Дают понюхать табак и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Выюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с её белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребрённые инеем, сугробы. Всё небо усыпано весело мигающими звёздами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потёрли снегом...

¹ Колотушка — устройство из дощечек для постукивания во время обхода сторожа.

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать: «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем¹ за то, что я качал ихнего ребятёнка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селёдку, а я начал с хвоста, а она взяла селёдку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмеваются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьёт чем попадая. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятёнок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нет никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»

Ванька покривил рот, потёр своим чёрным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, — продолжал он, — Богу молиться, а если что, то секи меня как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить или вместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрёшь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пускают, а раз я видел в одной лавке на окне крючки продаются прямо с

¹ Шпандырь — у сапожников ремень, которым они прикрепляют свою работу к ноге.

леской и на всякую рыбу, очень стоящие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто каждое... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет ёлка с гостинцами, возьми мне золочёный орех и в зелёный сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за ёлкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Весёлое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить ёлку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые ёлки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут: которой из них помирать? Откуда ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может, чтоб не крикнуть:

— Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную ёлку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать её. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда ещё была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадрили. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька. — Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят, и кушать страсть хочется, а скука такая, что сказать нельзя, всё плачу. А наемни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропадающая моя жизнь, хуже

собаки всякой... А ещё кланяюсь Алёне, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес: «На деревню дедушке».

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьон и вертит хвостом.



Мальчики

— **В**олодя приехал! — крикнул кто-то на дворе.

— Володечка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую. — Ах, боже мой!

Вся семья Королёвых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шёл густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Его

гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «Бррр!» Мать и тётка бросились обнимать и целовать его, Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сёстры подняли визг, двери скрипели и хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно:

— А мы тебя ещё вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что я, не отец, что ли?

— Гав! Гав! — ревел басом Милорд, огромный чёрный пёс, стуча хвостом по стенам и по мебели.

Всё смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошёл, Королёвы заметили, что кроме Володи в передней находился ещё один маленький человек, укутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большою лисьей шубой.

— Володечка, а это кто же? — спросила шёпотом мать.

— Ах! — спохватился Володя. — Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса... Я привёз его с собой погостить у нас.

— Очень приятно, милости просим! — сказал радостно отец. — Извините, я по-домашнему, без сюртука... Пожалуйста! Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться! Господи боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!

Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломлённые шумной встречей и всё ещё розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших

телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.

— Ну, вот скоро и Рождество! — говорил нараспев отец, крутя из тёмно-рыжего табаку папиросу. — А давно ли было лето и мать плакала, тебя провожаячи? Ан ты и приехал... Время, брат, идёт быстро! Ахнуть не успеешь, как старость придёт. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь! У нас попросту.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша — самой старшей из них было одиннадцать лет, — сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень некрасив, и если б на нём не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, всё время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень умный и учёный человек. Он о чём-то всё время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чём-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос.

Девочки заметили, что Володя, всегда весёлый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сёстрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал:

— А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.

Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.

После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана прие-

здом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для ёлки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:

— Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаич, взял мои ножницы?

— Господи боже мой, даже ножниц не дают! — отвечал плачущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорблённого человека, но через минуту опять восхищался.

В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлением для ёлки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чём-то шептаться; потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.

— Сначала в Пермь... — тихо говорил Чечевицын, — оттуда в Тюмень... потом Томск... потом... потом... В Камчатку... Отсюда самоеды¹ перевезут на лодках через Берингов пролив... Вот тебе и Америка... Тут много пушных зверей.

— А Калифорния? — спросил Володя.

— Калифорния ниже... Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.

Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья. После вечернего чая случилось, что его

¹ Самоеды — старорус. название саамов и др. народов Севера России и Сибири.

минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потёр правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:

— Вы читали Майн Рида?

— Нет, не читала... Послушайте, вы умеете на коньках кататься?

Погружённый в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щёки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он ещё раз поднял глаза на Катю и сказал:

— Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:

— А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.

— А что это такое?

— Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?

— Господин Чечевицын.

— Нет. Я Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.

Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:

— А у нас чечевицу вчера готовили.

Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а всё думал о чём-то, — всё это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги было уже всё готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное

стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придётся пройти пешком несколько тысяч вёрст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю — «бледнолицый брат мой».

— Ты смотри же, не говори маме, — сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать. — Володя привезёт нам из Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят.

Накануне Сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:

— Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!

К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестёр. Катя и Соня понимали, в чём тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:

— Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.

Рано утром в Сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.

— Так ты не поедешь? — сердито спрашивал Чечевицын. — Говори: не поедешь?

— Господи! — тихо плакал Володя. — Как же я поеду? Мне маму жалко.

— Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.

— Я... я не струсил, а мне... мне маму жалко.

— Ты говори: поедешь или нет?

— Я поеду, только... только погоди. Мне хочется дома пожить.

— В таком случае я сам поеду! — решил Чечевицын. — И без тебя обойдусь. А ещё тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!

Володя заплакал так горько, что сёстры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

— Так ты не поедешь? — ещё раз спросил Чечевицын.

— По... поеду.

— Так одевайся!

И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал, как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.

И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.

Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами, полными слёз, сказала:

— Ах, мне так страшно!

До двух часов, когда сели обедать, всё было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику — там их не было. Послали в деревню — и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда сажались ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!

На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.

Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.

— Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе.

— Володечка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую.

И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и всё спрашивали, где продаётся порох). Володя как вошёл в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повёл Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.

— Разве так можно? — убеждал папаша. — Не дай бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве так можно! Вы где ночевали?

— На вокзале! — гордо ответил Чечевицын.

Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына домой.

Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти:

«Монтигомо Ястребиный Коготь».



БАЖОВ
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
(1879—1950)

Серебряное копытце

СКАЗ

Жил в нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя. Семьи у Коковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей — не знают ли кого, а соседи и говорят:

— Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчоночку по шестому году никому не надо. Вот ты и возьми её.

— Несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечко бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы растить стал. А с девчонкой как? Чему я её учить-то стану?

Потом подумал-подумал и говорит:

— Знавал я Григорья, да и жену его тоже. Оба весёлые да ловкие были. Если девчоночка по родителям пойдёт, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму её. Только пойдёт ли? Соседи объясняют:

— Плохое житьё у неё. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастёт. А у того своя семья больше десятка. Сами не досыта едят. Вот хозяйка и взъедается на сирот-

ку, попрекает её куском-то. Та хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдёт от такого житья! Да и уговоришь, поди-ка.

— И то правда, — отвечает Кокованя, — уговорю как-нибудь.

В праздничный день и пришёл он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит, полна изба народу, больших и маленьких. На голбчике, у печки, девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно. Поглядел Кокованя на девчоночку и спрашивает:

— Это у вас Григорьева-то подарёнка?

Хозяйка отвечает:

— Она самая. Мало одной-то, так ещё кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала, да ещё корми её!

Кокованя и говорит:

— Неласковые, видно, твои ребята. У ней вон мурлычет. Потом и спрашивает у сиротки:

— Ну, как, подарёнушка, пойдёшь ко мне жить?

Девчоночка удивилась:

— Ты, дедо, как узнал, что меня Дарёнкой зовут?

— Да так, — отвечает, — само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал.

— Ты хоть кто? — спрашивает девчоночка.

— Я, — говорит, — вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю, да всё увидеть не могу.

— Застрелишь его?

— Нет, — отвечает Кокованя. — Простых козлов стреляю, а этого не стану. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет.

— Тебе на что это?

— А вот пойдёшь ко мне жить, так всё и расскажу, — ответил Кокованя.

Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать. И то видит — старик весёлый да ласковый. Она и говорит:

— Пойду. Только ты эту кошку Мурёнку тоже возьми. Гляди, какая хорошая.

— Про это, — отвечает Кокованя, — что и говорить. Такую звонкую кошку не взять — дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет.

Хозяйка слышит их разговор. Рада-радёхонька, что Кокованя сиротку к себе зовёт. Стала скорей Дарёнкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал.

Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трётся у ног-то да мурлычет:

— Пр-равильно придумал. Пр-равильно.

Вот и повёл Кокованя сиротку к себе жить. Сам большой да бородатый, а она махонькая и носишко пуговкой. Идут по улице, и кошчонка ободранная за ними попрыгивает.

Так и стали жить вместе дед Кокованя, сиротка Дарёнка да кошка Мурёнка.

Жили-поживали, добра много не наживали, а на житьё не плакались, и у всякого дело было. Кокованя с утра на работу уходил. Дарёнка в избе прибирала, похлебку да кашу варила, а кошка Мурёнка на охоту ходила — мышей ловила. К вечеру соберутся, и весело им.

Старик был мастер сказки сказывать, Дарёнка любила те сказки слушать, а кошка Мурёнка лежит да мурлычет:

— Пр-равильно говорит. Пр-равильно.

Только после всякой сказки Дарёнка напомним:

— Дедо, про козла-то скажи. Какой он?

Кокованя отговаривался сперва, потом и рассказал:

— Тот козёл особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем — там и появится дорогой камень. Раз топнет —

один камень, два топнет — два камня, а где ножкой бить станет — там груда дорогих камней.

Сказал это да и не рад стал. С той поры у Дарёнки только и разговору, что об этом козле.

— Дедо, а он большой?

Рассказал ей Кокованя, что ростом козёл не выше стола, ножки тоненькие, головка лёгонькая. А Дарёнка опять спрашивает:

— Дедо, а рожки у него есть?

— Рожки-то, — отвечает, — у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток.

— Дедо, а он кого ест?

— Никого, — отвечает, — не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стожках подъедает.

— Дедо, а шёрстка у него какая?

— Летом, — отвечает, — буренькая, как вот у Мурёнки нашей, а зимой серенькая.

— Дедо, а он душной?

Кокованя даже рассердился:

— Какой же душной! Это домашние козлы такие бывают, а лесной козёл, он лесом и пахнет.

Стал осенью Кокованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасётся. Дарёнка и давай проситься:

— Возьми меня, дедо, с собой. Может, я хоть сдалека того козлика увижу.

Кокованя и объясняет ей:

— Сдалека-то его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберёшь, сколько на них веток. Зимой вот — дело другое. Простые козлы безрогие ходят, а этот, Серебряное копытце, всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно.

Этим и отговорился. Осталась Дарёнка дома, а Кокованя в лес ушёл. Дней через пять воротился Кокованя домой, рассказывает Дарёнке:

— Ныне в Полдневской стороне много козлов пасётся. Туда и пойду зимой.

— А как же, — спрашивает Дарёнка, — зимой-то в лесу ночевать станешь?

— Там, — отвечает, — у меня зимний балаган у покосных ложков поставлен. Хороший балаган, с очагом, с окошечком. Хорошо там.

Дарёнка опять спрашивает:

— Серебряное копытце в той же стороне пасётся?

— Кто его знает. Может, и он там.

Дарёнка тут и давай проситься:

— Возьми меня, дедо, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, Серебряное копытце близко подойдёт — я и погляжу.

Старик сперва руками замахал:

— Что ты! Что ты! Статочное ли дело зимой по лесу маленькой девчонке ходить! На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замерзнешь ещё!

Только Дарёнка никак не отстаёт:

— Возьми, дедо! На лыжах-то я маленько умею.

Кокованя отговаривал-отговаривал, потом и подумал про себя:

«Сводить разве? Раз побывает, в другой не запросится».

Вот он и говорит:

— Ладно, возьму. Только, чур, в лесу не реветь и домой до времени не проситься.

Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Уложил Кокованя на ручные санки сухарей два мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Дарёнка тоже узелок себе навязала. Лоскуточков взяла кукле платье шить, ниток клубок, иголку да ещё верёвку.

«Нельзя ли, — думает, — этой верёвкой Серебряное копытце поймать?»

Жаль Дарёнке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Гладит кошку-то на прощанье, разговаривает с ней:

— Мы, Мурёнка, с дедом в лес пойдём, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим Серебряное копытце, так и воротимся. Я тебе тогда всё расскажу.

Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет:

— Пр-равильно придумала. Пр-равильно.

Пошли Кокованя с Дарёнкой. Все соседи дивуются:

— Из ума выжился старик! Такую маленькую девчонку в лес зимой повёл!

Как стали Кокованя с Дарёнкой из заводу выходить, слышат — собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да визг подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись, а это Мурёнка серединой улицы бежит, от собак отбивается. Мурёнка к той поре поправилась. Большая да здоровая стала. Собачонки к ней и подступиться не смеют.

Хотела Дарёнка кошку поймать да домой унести, только где тебе! Добежала Мурёнка до лесу, да и на сосну. Пойди поймай!

Покричала Дарёнка, не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, Мурёнка стороной бежит. Так и до балагана добралась. Вот и стало их в балагане трое.

Дарёнка хвалится:

— Веселее так-то.

Кокованя поддакивает:

— Известно, веселее.

А кошка Мурёнка свернулась клубочком у печки и звонко мурлычет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Кокованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насолили — на ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадью

сходить, да как Дарёнку с кошкой в лесу оставить! А Дарёнка попривыкла в лесу-то. Сама говорит старику:

— Дедо, сходил бы ты в завод за лошадью. Надо ведь солонину домой перевезти.

Кокованя даже удивился:

— Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна. Как большая рассудила. Только забоишься, поди, одна-то.

— Чего, — отвечает, — бояться. Балаган у нас крепкий, волкам не добиться. И Мурёнка со мной. Не боюсь. А ты поскорее ворочайся всё-таки!

Ушёл Кокованя. Осталась Дарёнка с Мурёнкой. Днём-то привычно было без Коковани сидеть, пока он козлов выслеживал... Как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит — Мурёнка лежит спокойнёхонько. Дарёнка и повеселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит — по лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела — это козёл бежит. Ножки тоненькие, головка лёгонькая, а на рожках по пяти веточек.

Выбежала Дарёнка поглядеть, а никого нет. Воротилась да и говорит:

— Видно, задремала я. Мне и показалось.

Мурёнка мурлычет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Легла Дарёнка рядом с кошкой, да и уснула до утра. Другой день прошёл. Не воротился Кокованя. Скучненько стало Дарёнке, а не плачет. Гладит Мурёнку да приговаривает:

— Не скучай, Мурёнушка! Завтра дедо непременно придёт.

Мурёнка свою песенку поёт:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Посидела опять Дарёнушка у окошка, полюбовалась на звёзды. Хотела спать ложиться, вдруг по стенке топоток прошёл. Испугалась Дарёнка, а топоток по другой стене, потом по той, где окошечко, потом где дверка, а там

и сверху запостукивало. Не громко, будто кто лёгонький да быстрый ходит. Дарёнка и думает:

«Не козёл ли тот вчерашний прибежал?» И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит.

Отворила дверку, глядит, а козёл — тут, вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял — вот топнет, а на ней серебряное копытце блестит, и рожки у козла о пяти ветках. Дарёнка не знает, что ей делать, да и манит его как домашнего:

— Ме-ка! Ме-ка!

Козёл на это как рассмеялся. Повернулся и побежал.

Пришла Дарёнушка в балаган, рассказывает Мурёнке:

— Поглядела я на Серебряное копытце. И рожки видела, и копытце видела. Не видела только, как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет.

Мурёнка, знай, свою песенку поёт:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Третий день прошёл, а всё Коковани нет. Вовсе затуманилась Дарёнка. Слёзки запokaпывали. Хотела с Мурёнкой поговорить, а её нету. Тут вовсе испугалась Дарёнушка, из балагана выбежала кошку искать.

Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Дарёнка — кошка близко на покосном ложе сидит, а перед ней козёл. Стоит, ножку поднял, а на ней серебряное копытце блестит.

Мурёнка головой покачивает, и козёл тоже. Будто разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать. Бежит-бежит козёл, остановится и давай копытцем бить. Мурёнка подбежит, козёл дальше отскочит и опять копытцем бьёт. Долго они так-то по покосным ложкам бегали. Не видно их стало. Потом опять к самому балагану воротились.

Тут вспрыгнул козёл на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры, из-под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые, зелёные, бирюзовые — всякие.

К этой поре как раз Кокованя и вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит-переливается разными огнями. Наверху козёл стоит — и все бьёт да бьёт серебряным копытцем, а камни сыплутся да сыплутся. Вдруг Мурёнка скок туда же. Встала рядом с козлом, громко мяукнула, и ни Мурёнки, ни Серебряного копытца не стало.

Кокованя сразу полшапки камней нагреб, да Дарёнка запросила:

— Не тронь, дедо! Завтра днём ещё на это поглядим.

Кокованя и послушался. Только к утру-то снег большой выпал. Все камни и засыпало. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько Кокованя в шапку нагрёб.

Всё бы хорошо, да Мурёнки жалко. Больше её так и не видали, да и Серебряное копытце тоже не показался. Потешил раз — и будет.

А по тем покосным ложкам, где козёл скакал, люди камешки находить стали. Зелёненькие больше. Хризолитами называются. Видали?



Синюшкин колодец

СКАЗ

Жил в нашем заводе парень Илья. Вовсе бобылём остался — всю родню схоронил. И от всех ему наследство досталось.

От отца — руки да плечи, от матери — зубы да речи, от деда Игната — кайла да лопата, от бабки Лукерьи — особый поминок. Об этом и разговор сперва. Она, видишь, эта бабка, хитрая была — по улицам перья собирала, по-

душку внучку готовила, да не успела. Как пришло время умирать, позвала бабка Лукерья внука и говорит:

— Гляди-ка, друг Илюшенька, сколь твоя бабка пера накопила! Чуть не полное решето! Да и пёрышки какие! Одно к одному — мелконькие да пёстренькие, глядеть любо! Прими в поминок — пригодится! Как женишься да принесёт жена подушку, тебе и не зазорно будет: не в диковинку-де мне — свои пёрышки есть, ещё от бабки остались. Только ты за этим не гонись, за подушкой-то! Принесёт — ладно, не принесёт — не тужи. Ходи весёленько, работай крутенько, и на соломе не худо поспишь, сладкий сон увидишь. Как худых думок в голове держать не станешь, так и все у тебя ладно пойдёт, гладко покатится. И белый день взвеселит, и тёмна ноченька приголубит, и красное солнышко обрадует. Ну, а худые думки заведёшь, тут хоть в пень головой — всё немило станет.

— Про какие, — спрашивает Илья, — ты, бабушка, худые думки сказываешь?

— А это, — отвечает, — про деньги да про богатство. Хуже их нету. Человеку от таких думок одно расстройство да маята напрасная. Чисто да по совести и пера на подушку не наскрести, не то что богатство получить.

— Как же тогда, — спрашивает Илья, — про земельное богатство понимать? Неуж ни за что считаешь? Бывает ведь...

— Бывать-то бывает, только ненадёжно дело: комочками приходит, пылью уходит, на человека тоску наводит. Про это и не думай, себя не беспокой! Из земельного богатства, сказывают, одно чисто да крепко. Это когда бабка Синюшка красной девкой обернётся да сама своими рученьками человеку подаст. А даёт Синюшка богатство гораздому, да удалому, да простой душе. Больше никому. Вот ты и попомни, друг Илюшенька, этот мой последний наказ.

Поклонился тут Илья бабке.

— Спасибо тебе, бабка Лукерья, за перья, а пуще того за наставленье. Век его не забуду.

Вскороности умерла бабка... Остался Илюха один-одинёшенек, сам большой, сам маленький. Тут, конечно, похоронные старушонки набежали, покойницу обмыть, обрядить, на погост проводить. Они — эти старушонки — тоже не от сладкого житья по покойникам бегают. Одно выпрашивают, другое выглядывают. Живо всё бабкино обзаведенье по рукам расхватали. Воротился Илья с могильника, а в избе у него голым-голёхонько. Только то и есть, что сам сейчас на спицу повесил: зипун да шапка. Кто-то и бабкиным пером покорыстовался: начисто выгреб из решета. Только три пёрышка в решетке зацепились. Одно беленькое, одно чёрненькое, одно рыженькое.

Пожалел Илья, что не уберёт бабкин поминок.

«Надо, — думает, — хоть эти пёрышки к месту прибрать, а то нехорошо как-то. Бабка от всей души старалась, а мне будто и дела нет».

Подобрал с полу каку-то синюю ниточку, перевязал эти пёрышки натуго, да и пристроил себе на шапку.

«Тут, — думает, — самое им место. Как надевать либо снимать шапку, так и вспомнишь бабкин наказ. А он, видать, для жизни полезный. Всегда его в памяти держать надо».

Надел потом шапку да зипун и пошёл на прииск. Избушку свою и запирать не стал, потому в ней — ничем-ничего. Одно пустое решето, да и то с дороги никто не подберёт.

Илья возрастной парень был, давно в женихах считался. На прииске-то он годов шесть либо семь робил. Тогда ведь при крепости-то с малолетства людей на работу загоняли. До женитьбы иной, глядишь, больше десятка годов уж на барина отхлещет. И этот Илья, прямо сказать, вырос на прииске. Места тут он знал вдоль и поперёк. Дорога на прииск не близкая. На Гремихе, сказывают, тогда добывали чуть не у Белого камня. Вот Илюха и придумал:

«Пойду-ко я через Зюзельско болотце. Вишь, жарынь какая стоит. Подсохло, поди, оно, — пустит перебраться. Глядишь, и выгадаю версты три, а то и все четыре...»

Сказано — сделано. Пошёл Илья лесом напрямую, как по осеням с прииска и на прииск бегали. Сперва ходко шёл, потом намаялся и с пути сбился. По кочкам-то ведь не по прямой дороге. Тебе надо туда, а кочки ведут во все не в ту сторону. Скакал-скакал, до поту наскакался. Ну, выбрался в какой-то ложок. Посредине место пониже. Тут трава растёт — горчик да метлика. А с боков взгорочки, а на них сосна жаровая. Вовсе, значит, сухое место пошло. Одно плохо — не знает Илья, куда дальше идти. Сколько раз по этим местам бывал, а такого ложочка не видывал.

Вот Илья и пошёл серединой, меж взгорочков-то. Шёл-шёл, видит — на полянке окошко круглое, а в нём вода, как в ключе, только дна не видно. Вода будто чистая, только сверху синенькой тенеткой подёрнулась, и посредине паучок сидит, тоже синий.

Илюха обрадовался воде, отпахнул рукой тенетку и хотел напиться. Тут у него голову и обнесло — чуть в воду не сунулся и сразу спать захотел.

«Вишь, — думает, — как притомило меня болото. Отдохнуть, видно, надо часок».

Хотел на ноги подняться, а не может. Отполз всё ж таки сажени две ко взгорочку, шапку под голову да и растянулся. Глядит, — а из того водяного окошка старушонка вышла. Ростом не больше трёх четвертей. Платышко на ней синее, платок на голове синий и сама вся синёхонька, да такая тощая, что вот подует ветерок — и разнесёт старушонку. Однако глаза у ней молодые, синие да такие большие, будто им тут вовсе и не место.

Уставилась старушонка на парня и руки к нему протянула, а руки всё растут да растут. Того и гляди, до головы парню дотянутся. Руки ровно жиденькие, как туман синий,

силы в них не видно и когтей нет, а страшно. Хотел Илья подальше отползти, да силы вовсе не стало.

«Дай, — думает, — отвернусь — всё не так страшно».

Отвернулся да носом-то как раз в пёрышки и ткнулся. Тут на Илью почихота нашла. Чихал-чихал, кровь носом пошла, а всё конца краю нет. Только чует — голове-то много легче стало. Подхватил тут Илья шапку и на ноги поднялся. Видит, стоит старушонка на том же месте, от злости трясётся. Руки у неё до ног Илье дотянулись, а выше-то от земли поднять их не может. Смекнул Илья, что у старухи оплошка вышла — сила не берёт, прочихался, высморкался, да и говорит с усмешкой:

— Что, взяла, старая? Не по тебе, видно, кусок!

Плюнул ей на руки-то да и пошёл дальше. Старушонка тут и заговорила, да звонко так, вовсе по-молодому:

— погоди, не радуйся! Другой раз придёшь — головы не унесёшь!

— А я и не приду, — отвечает Илья.

— Ага! Испугался, испугался! — заравовалась старушонка.

Илюхе это за обиду показалось. Остановился он да и говорит:

— Коли на то пошло, так нарочно приду — воды из твоего колодца вычерпнуть.

Старушонка засмеялась и давай подзадоривать парня:

— Хвастун ты, хвастун! Говорил бы спасибо своей бабке Лукерье, что ноги унёс, а он ещё похваляется! Да не родился ещё такой человек, чтоб из здешнего колодца воду добыть.

— А вот поглядим, родился ли, не родился, — отвечает Илья.

Старушонка знай своё твердит:

— Пустомеля ты, пустомеля! Тебе ли воду добыть, коли подойти боишься. Пустые твои слова! Разве других людей приведёшь. Посмелее себя!

— Этого, — кричит Илья, — от меня не дождёшься, чтоб я стал других людей тебе подводить! Слыхал, подика, какая ты вредная и чем людей обманываешь.

Старушонка одно заладила:

— Не придёшь, не придёшь! Где тебе! Такому-то!

Тогда Илья и говорит:

— Ладно нето. Как в воскресный день ветер хороший случится, так и жди в гости.

— Ветер тебе на что? — спрашивает старушонка

— Там видно будет, — отвечает Илья. — Ты только плевков-то с руки смой. Не забудь, смотри!

— Тебе, — кричит старушонка, — не всё равно, какой рукой тебя на дно потяну? Хоть ты, вижу, и гораздый, а всё едино мой будешь. На ветер да бабкины перья не надейся! Не помогут!

Ну, поругались так-то. Пошёл Илья дальше, сам дорогу примечает и про себя думает:

«Вот она какая, бабка Синюшка. Ровно еле живая, а глаза девичьи, погибельные, и голос, как у молоденькой, — так и звенит. Поглядел бы, как она красной девкой оборачивается».

Про Синюшку Илья много слышал. На приiske не раз об этом говаривали. Вот, дескать, по глухим болотным местам, а то и по старым шахтам набегали люди на Синюшку. Где она сидит, тут и богатство положено. Сживи Синюшку с места — и откроется полный колодец золота да дорогих камней. Тогда и гребни сколь рука взяла. Многие будто ходили искать, да либо ни с чем воротились, либо с концом загнули.

К вечеру выбрался Илюха на прииск. Смотритель приисковский напустился, конечно, на Илюху:

— Что долго?

Илья объяснил — так и так, бабку Лукерью хоронил. Смотрителю маленько стыдно стало, а всё нашёл придирку:

— Что это у тебя за перья на шапке? С какой радости нацепил?

— Это, — отвечает Илья, — бабкино наследство. Для памяти его тут пристроил.

Смотритель да и другие, кто близко случился, давай смеяться над таким наследством, а Илья и говорит:

— Да, может, я эти перья на весь господский прииск не променяю. Потому — не простые они, а наговоренные. Белое вот — на весёлый день, чёрное — на спокойную ночь, а рыженькое — на красное солнышко.

Шутит, конечно. Только тут парень был — Кузька Двоерылко. Он Илюхе-то ровесником приходился, в одном месяце именинниками были, а по всем статьям на Илюху не походил. Он, этот Двоерылко, вовсе со справного двора. По-доброму такому парню и мимо прииска ходить не надо — полегче бы работа дома нашлась. Ну, Кузька давно около золота околачивался, своё смышлял, — не попадёт ли штучка хорошая, а унести её сумею. И верно, насчёт того, чтобы чужое в свой карман прибрать, Двоерылко мастак был. Чуть кто не доглядел, Двоерылко уже унёс, и найти не могут. Одним словом, ворина. По этому ремеслу у него и заметка была. Его, вишь, один старатель лопаткой черкнул. Скользом пришлось, а всё же зарубка на память осталась — нос до губы пополам развалило. По этой приметке Кузьку и величали Двоерылком. Этот Кузька крепко завидовал Илюхе. Тот, видишь, парень ядрёный да могутный, крутой да весёлый, — работа у него и шла податно. Кончил работу — поел да песню запел, а то и в пляс пошёл. На артелке ведь и это бывает. Против такого парня где же равняться Двоерылому, коли у него ни силы, ни охоты, да и на уме вовсе другое. Только Кузька по-своему об этом понимал. «Не иначе, знает Илюшка какую-то словинку, то он и удачливый, и по работе ему устатка нет».

Как про пёрышки-то Илья сказал, Кузька и смекнул про себя: «Вот она — Илюшкина словинка».

Ну, известно, в ту же ночь и украл эти пёрышки.

На другой день хватился Илья — где пёрышки? Думает, обронил. Давай искать по прииску-то. Над Ильёй подсмеиваться стали:

— Ты в уме ли, парень! Столько ног тут топчется, а ты какие-то махонькие пёрышки ищешь! В пыль, поди, их стоптали. Да и на что они тебе?

— Как, — отвечает, — на что, коли это бабкина памятка?

— Памятку, — говорят, — надо в крепком месте либо в голове держать, а не на шапке таскать.

Илья и думает — правду говорят, — и перестал те пёрышки искать. Того ему и на мысли не пало, что они худыми руками взяты.

У Кузьки своя забота — за Илюхой доглядывать, как у него теперь дело пойдёт, без бабкиных пёрышек. Вот и узрил, что Илья ковш старательский взял да к лесу пошёл. Двоерылко за Ильёй, думает, не смывку ли где наладил. Ну, никакой смывки не оказалось, а стал Илья тот ковш на жердинку насаживать. Сажени четыре жердинка. Вовсе для смывки несподручно. К чему бы это? Ещё пуще Кузька насторожился.

Дело-то к осени пошло, крепко подувать стало. В субботу, как рабочих с прииска домой отпускали, Илья тоже домой запросился. Смотритель сперва покочевряжился, — ты, дескать, недавно ходил, да и незачем тебе — семейства нет, а хозяйство своё — пёрышки-то — на прииске потерял. Ну, отпустил. А Кузька разве такой случай пропустит? Он спозаранку к тому месту пробрался, где ковш на жердинке припрятан был. Долго Кузьке ждать-то пришлось, да ведь воровская сноровка известна. Не нами сказано — вор собаку переждёт, не то что хозяина. На утре подошёл Илья, достал ковш да и говорит:

— Эх, перышек-то нету! А ветер добрый. С утра так свистит, к полдню вовсе разгуляется.

Впрямь, ветер такой, что в лесу стон стоит. Пошёл Илья по своим приметкам, а Двоерылко за ним крадётся да радуется:

«Вот они, пёрышки-то! К богатству, знать-то, дорожку кажут!»

Долгонько пришлось Илье по приметам-то пробираться, а ветер всё тише да тише. Как на ложок выйти, так и во-все тихо стало, ни одна веточка не пошевелинётся. Глядит Илья, старушонка у колодца стоит, дожидается и звонко так кричит:

— Вояка пришёл! Бабкины перья потерял и на ветре прогадал. Что теперь делать-то станешь? Беги-ко домой да ветра жди! Может, и дождёшься!

Сама в сторонке стоит, к Илье рук не тянет, а над колодцем туман, как шапка синяя, густым-густёхонько. Илья разбежался да со взгорочка ковшом-то на жердине прямо в ту синюю шапку и сунул да ещё кричит:

— Ну-ко, ты, убогая, поберегись! Не зашибить бы нена-роком.

Зачерпнул из колодца и чует — тяжело. Еле выволок. Старушонка смеётся, молодые зубы кажет.

— Погляжу я, погляжу, как ты ковш до себя дотянешь. Много ли моей водицы испить доведётся!

Задорит, значит, парня. Илья видит — верно, тяжело, — вовсе озлился.

— Пей, — кричит, — сама!

Усилился, поднял маленько ковшик да и норовит опрокинуть на старушонку. Та отодвинулась. Илья за ней. Она дальше. Тут жердинка и переломилась, и вода разлилась. Старушонка опять смеётся:

— Ты бы ковшик-то на бревно насадил... Надёжнее бы! Илья в ответ грозитя:

— Погоди, убогая! Искупаю ещё!

Тут старушонка и говорит:

— Ну, ладно. Побаловали — и хватит. Вижу, что ты парень гораздый да удалый. Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь. Всяких богатств тебе покажу. Бери, сколько унесёшь. Если меня сверху не случится, скажись: «Без ковша пришёл», и всё тебе будет.

— Мне, — отвечает Илья, — и на то охота поглядеть, как ты красной девкой оборачиваешься.

— По делу видно будет, — усмехнулась старушонка, опять молодые зубы показала.

Двоерылко всё это до капельки видел и до слова слышал.

«Надо, — думает, — поскорее на прииск бежать да кошели наготовлять. Как бы только Илюшка меня не опередил!»

Убежал Двоерылко. А Илья взгорочком к дому пошёл. Перебрался по кочкам через болотце, домой пришёл, а там одна новость — бабкиного решета не стало.

Подивился Илья — кому такое понадобилось? Сходил к своим заводским друзьям, поговорил с тем, с другим и обратно на прииск пошёл, только не через болото, а дорогой, как все ходили.

Прошло так дней пяток, а случай тот у Илюхи из головы не выходит — на работе помнится и сну мешать стал. Нет-нет и увидит он те синие глаза, а то и голос звонкий услышит:

«Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь».

Вот Илюха и порешил:

«Схожу. Погляжу хоть, какое богатство бывает. Может, и сама она мне красной девкой покажется».

В ту пору как раз молодой месяц народился, ночи посветлее стали. Вдруг на приiske разговор — Двоерылко потерялся. Сбегали на завод — нету. Смотритель велел по лесу искать — тоже не оказалось. И то сказать,

искали — не надсажались. Всяк про себя думал: «От того убытку нет, коли вор потерялся». На том и кончилось.

Как месяц на полный кружок обозначился, Илюха и пошёл. Добрался до места. Глядит — никого нет. Илья всё же со взгорочка не спустился и тихонько молвил:

— Без ковша пришёл.

Только сказал, сейчас старушонка объявилась и ласково говорит:

— Милости просим, гостенёк дорогой! Давно поджидаю. Подходи да бери, сколько унесёшь.

Сама руками-то как крышку над колодцем подняла, а там и открылось богатства всякого. Доверху набито. Илье любопытно на такое богатство поглядеть, а со взгорочка не спускается. Старушонка поторапливать стала.

— Ну, чего стоишь? Бери, — говорю, — сколько в кошель уйдёт.

— Кошеля-то, — отвечает, — у меня нету, да и от бабки Лукерьи я другое слыхал. Будто только то богатство чисто да крепко, какое ты сама человеку подашь.

— Вишь ты, привередник какой! Ему ещё подноси! Ну, будь по-твоему!

Как сказала это старушонка, так из колодца синий столб выметнуло. И выходит из этого столба девица-красавица, как царица снаряжена, а ростом до половины доброй сосны. В руках у этой девицы золотой поднос, а на нём груда всякого богатства. Песок золотой, каменья дорогие, самородки чуть не по ковриге. Подходит эта девица к Илюхе и с поклоном подаёт ему поднос.

— Прими-ко, молодец!

Илья на прииске вырос, в золотовеске тоже бывал, знал, как его — золото-то — весят. Посмотрел на поднос и говорит старушонке:

— Для смеху это придумано. Ни одному человеку не в силу столько поднять.

— Не возьмёшь? — спрашивает старушонка.

— И не подумаю, — отвечает Илья.

— Ну, будь по-твоему! Другой подарок дам, — говорит старушонка.

И сейчас же той девицы — с золотым-то подносом — не стало. Из колодца опять синий столб выметнуло. Вышла другая девица. Ростом поменьше. Тоже красавица и наряжена по-купецки. В руках у этой девицы серебряный поднос, на нём грудa богатства. Илья и от этого подноса отказался, говорит старушонке:

— Не в силу человеку столько поднять, да и не своими руками ты подаёшь.

Тут старушонка вовсе по-девичьи рассмеялась.

— Ладно, будь по-твоему! Тебя и себя потешу. Потом, чур, не жалеть. Ну, жди.

Сказала, и сразу не стало ни той девицы с серебряным подносом, ни самой старушонки. Стоял-стоял Илюха — никого нет. Надоело уж ему ждать-то, тут сбоку и зашуршала трава. Поворотился Илюха в ту сторону. Видит — девчонка подходит. Простая девчонка, в обыкновенный человеческий рост. Годов так восемнадцати. Платишко на ней синее, платок на голове синий, и на ногах бареточки синие. А пригожая эта девчонка — и сказать нельзя. Глаза звездой, брови дугой, губы — малина, и руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в косе лента синяя.

Подошла девчонка к Илюхе и говорит:

— Прими-ка, мил друг Илюшенька, подарочек от чистого сердца.

И подаёт ему своими белыми рученьками старое бабки Лукерьи решето с ягодами. Тут тебе и земляника, тут тебе и княженика, и жёлтая морошка, и чёрная смородина с голубикой. Ну, всяких сортов ягода. Полнёхонько решето. А сверху три пёрышка. Одно беленькое, одно чёрненькое, одно рыженькое, натуго синей ниточкой перевязаны.

Принял Илюха решето, а сам как дурак стоит, никак домекнуть не может, откуда эта девчонка появилась, где она осенью всяких ягод набрала. Вот и спрашивает:

— Ты чья, красна девица? Скажись, как тебя звать-величать?

Девчонка усмехнулась и говорит:

— Бабкой Синюшкой люди зовут, а гораздому да удалому, да простой душе и такой кажусь, какой видишь. Редко только так-то бывает.

Тогда уж Илюха понял, с кем разговор, и спрашивает:

— Пёрышки-то у тебя откуда?

— Да вот, — отвечает, — Двоерылко за богатством приходил. Сам в колодец угодил и кошели свои утопил, а твои-то пёрышки выплыли. Простой, видно, ты души парень.

Дальше Илья и не знает о чём говорить. И она стоит, молчит, ленту в косе перебирает. Потом промолвила:

— Так-то, мил друг Илюшенька! Синюшка я. Всегда старая, всегда молодая. К здешним богатствам навеки приставлена.

Тут помолчала маленько да спрашивает:

— Ну, нагяделся? Хватит, поди, а то как бы во сне не привиделась.

И сама вздохнула, как ножом по сердцу парня полыснула. Всё бы отдал, лишь бы она настоящая живая девчонка стала, а её и вовсе нет.

Долго ещё стоял Илья. Синий туман из колодца по всему ложочку пополз, тогда только стал к дому пробираться. На свету уж пришёл. Только заходит в избу, а решето с ягодами и потяжелело, дно оборвалось, и на пол самородки да дорогие каменья посыпались.

С таким-то богатством Илья сразу от барина откупился, на волю вышел, дом себе хороший справил, лошадь завёл, а вот жениться никак не может. Всё та девчонка из памяти

не выходит. Сна-покою решился. И бабки Лукерьи пёрышки не помогают. Не один раз говаривал:

— Эх, бабка Лукерья, бабка Лукерья! Научила ты, как Синюшкино богатство добыть, а как тоску избыть — не сказала. Видно, сама не знала.

Маялся-маялся так-то и надумал:

«Лучше в тот колодец нырнуть, чем такую муку переносить».

Пошёл к Зюзельскому болотцу, а бабкины пёрышки всё же с собой захватил.

Тогда ягодная пора пришлась. Землянику таскать стали. Только подошёл Илья к лесу, навстречу ему девичья артелка. Человек с десятков, с полными корзинками. Одна девчонка на отшибе идёт, годов так восемнадцати. Платьишко на ней синее, платок на голове синий. И пригожая — сказать нельзя. Брови — дугой, глаза — звездой, губы — малина, руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в ней лента синяя. Ну, вылитая та. Одна приметочка разнится: на той баретки синие были, а эта вовсе босиком. Остолбенел Илья. Глядит на девчонку, и она синими-то глазами зырк да зырк и усмехается — зубы кажет. Прочухался маленько Илюха и говорит:

— Как это я тебя никогда не видал?

— Вот, — отвечает, — и погляди, коли охота. На это я проста — копейки не возьму.

— Где, — спрашивает, — ты живёшь?

— Ступай, — говорит, — прямо, повороти направо. Тут будет пень большой. Ты разбегись да треснишь башкой. Как искры из глаз посыплются — тут меня и увидишь...

Ну, зубоскальничает, конечно, как по девичьему обряду ведётся. Потом сказалась — чья такая, по которой улице живёт и как зовут. Всё честь-честью. А сама глазами так и тянет, так и тянет.

С этой девчонкой Илюха и свою долю нашёл. Только не надолго. Она, вишь, из мраморских была. То её Илюха и не видал раньше-то. Ну а про мраморских дело известное. Краше тамошних девок по нашему краю нет, а женись на такой — овдоеешь. С малых лет около камню быются — чахотка у них.

Илюха и сам долго не зажился. Наглотался, может, от этой да и от той нездоровья-то. А по Зюзельке вскорости большой прииск открыли. Илюха, видишь, не потаил, где богатство взял. Ну, рыться по тем местам стали, да и натакались по Зюзельке на богатимое золото.

На моих ещё памятях тут хорошо добывали. А колодца того так и не нашли. Туман синий — тот и посейчас на тех местах держится, богатство кажет. Мы ведь что! Сверху поковыряли маленько, копни-ко поглубже... Глубокий, сказывают, тот Синюшкин колодец. Страсть глубокий. Ещё добытчиков ждёт.



ГАЙДАР АРКАДИЙ (1904—1941)

Совесть

Нина Карнаухова не приготовила урока по алгебре и решила не идти в школу.

Но, чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня болтается с книгами по городу, Нина украдкой прошла в рощу.

Положив пакет с завтраком и связку книг под куст, она побежала догонять красивую бабочку и наткнулась на

малыша, который смотрел на неё добрыми, доверчивыми глазами.

А так как в руке он сжимал букварь с заложенной в него тетрадкой, то Нина смекнула, в чём дело, и решила над ним подшутить.

— Несчастный прогульщик! — строго сказала она. — И это с таких юных лет ты уже обманываешь родителей и школу?

— Нет! — удивлённо ответил малыш. — Я просто шёл на урок. Но тут в лесу ходит большая собака. Она залаяла, и я заблудился.

Нина нахмурилась. Но этот малыш был такой смешной и добродушный, что ей пришлось взять его за руку и повести через рощу.

А связка Нининых книг и завтрак так и остались лежать под кустом, потому что поднять их перед малышом теперь было бы стыдно.

Вышмыгнула из-за ветвей собака, книг не тронула, а завтрак съела.

Вернулась Нина, села и заплакала. Нет! Не жалко ей было украденного завтрака. Но слишком хорошо пели над её головой весёлые птицы. И очень тяжело было на её сердце, которое грызла беспощадная совесть.



**ГОЛЯВКИН
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1929—2001)**

**Про то,
для кого Вовка учится**

Вовка учится для себя, а не для других людей. Он это прекрасно знает. Да ему ещё все говорят об этом. Как будто он сам не знает.

Папа с мамой ему говорят:

— Ты для себя в школе учишься.

Бабушка говорит:

— Ты для себя в школе учишься.

Даже Шурик сказал:

— Ты для себя в школе учишься, ясно?

Вовка знает, что учится он для себя.

Но он и другим людям хочет помочь, а не только в школу ходить.

Только ему говорят: «Ты маленький. Ты подучись сначала. Потом нам поможешь как следует».

Значит, он для себя учится и для других тоже.



Яндреев

Всё из-за фамилии происходит. Я по алфавиту первый в журнале — чуть что, сразу вызывают. Поэтому и учусь хуже всех. Вот у Вовки Якулова все пятёрки. С его фамилией это нетрудно — он по списку в самом конце. Жди, пока его вызовут! А с моей фамилией пропадёшь. Стал

я думать, что мне предпринять. За обедом думаю, перед сном думаю — никак ничего не могу придумать. Я даже в шкаф залез думать, чтобы мне не мешали. Вот в шкафу-то я это и придумал.

Прихожу в класс, заявляю ребятам:

— Я теперь не Андреев. Я теперь Яндреев.

— Мы давно знаем, что ты Андреев.

— Да нет, — говорю, — не Андреев, а Яндреев, на «Я» начинается — Яндреев.

— Ничего не понятно. Какой же ты Яндреев, когда ты просто Андреев? Таких фамилий вообще не бывает.

— У кого, — говорю, — не бывает, а у кого и бывает. Это позвольте мне знать.

— Удивительно, — говорит Вовка, — почему ты вдруг Яндреевым стал!

— Ещё увидите, — говорю.

Подхожу к Александре Петровне:

— У меня, знаете, дело такое: я теперь Яндреевым стал. Нельзя ли в журнале меня изменить? Чтобы я на «Я» начинался.

— Что за фокусы? — говорит Александра Петровна.

— Это совсем не фокусы. Просто мне это очень важно. Я тогда сразу отличником буду.

— Ах, вот оно что! Тогда можно. Иди, Яндреев, урок отвечать.



ГОРЬКИЙ МАКСИМ

(1868—1936)

Воробьишко

У воробьёв совсем так же, как у людей: взрослые воробьи и воробьихи — пичужки скучные и обо всём говорят, как в книжках написано, а молодёжь — живёт своим умом.

Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик, а жил он над окошком бани, за верхним наличником, в тёплом гнезде из пакли, моховинок и других мягких материалов. Летать он ещё не пробовал, но уже крыльями махал и всё выглядывал из гнезда: хотелось поскорее узнать — что такое божий мир и годится ли он для него?

— Что, что? — спрашивала его воробьиха-мама.

Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал:

— Чересчур черна, чересчур!

Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался:

— Чив ли я?

Мама-воробьиха одобряла его:

— Чив, чив!

А Пудик глотал букашек и думал: «Чем чванятся — червяка с ножками дали — чудо!»

И всё высовывался из гнезда, всё разглядывал.

— Чадо, чадо, — беспокоилась мать, — смотри — чебурахнешься!

— Чем, чем? — спрашивал Пудик.

— Да не чем, а упадёшь на землю, кошка — чик! и слопает! — объяснял отец, улетаая на охоту.

Так всё и шло, а крылья расти не торопились.

Подул однажды ветер — Пудик спрашивает:

— Что, что?

— Ветер дунет на тебя — чирик! — и сбросит на землю — кошке! — объяснила мать.

Это не понравилось Пудик, он и сказал:

— А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет...

Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не поверил — он любил объяснять всё по-своему.

Идёт мимо бани мужик, машет руками.

— Чисто крылья ему оборвала кошка, — сказал Пудик, — одни косточки остались!

— Это человек, они все бескрылые! — сказала воробьяха.

— Почему?

— У них такой чин, чтобы жить без крыльев, они всегда на ногах прыгают, чу?

— Зачем?

— Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек...

— Чушь! — сказал Пудик. — Чушь, чепуха! Все должны иметь крылья. Чать, на земле хуже, чем в воздухе!.. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали.

Пудик не верил маме; он ещё не знал, что если маме не верить, это плохо кончится.

Он сидел на самом краю гнезда и во всё горло распевал стихи собственного сочинения:

Эх, бескрылый человек,
У тебя две ножки,
Хоть и очень ты велик,
Едят тебя мошки!
А я маленький совсем,
Зато сам мошек ем.

Пел, пел да и вывалился из гнезда, а воробьяха за ним, а кошка — рыжая, зелёные глаза — тут как тут.

Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на сереньких ногах и чирикает:

— Честь имею, имею честь...

А воробыха отталкивает его в сторону, перья у неё дыбом встали — страшная, храбрая, клюв раскрыла — в глаз кошке целит.

— Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно, лети...

Страх приподнял с земли воробышку, он подпрыгнул, замахал крыльями — раз, раз и — на окне!

Тут и мама подлетела — без хвоста, но в большой радости, села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит:

— Что, что?

— Ну что ж! — сказал Пудик. — Всему сразу не научишься!

А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробыхины перья, смотрит на них — рыжая, зелёные глаза — и сожалительно мяукает:

— Мья-аконький такой воробушек, словно мы-ышка... мя-увы...

И всё кончилось благополучно, если забыть о том, что мама осталась без хвоста...



ДРАГУНСКИЙ ВИКТОР ЮЗЕФОВИЧ (1913—1972)

Друг детства

Когда мне было шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились и все работы тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница, я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне приниматься.

То я хотел быть астрономом, чтобы не спать по ночам и наблюдать в телескоп далёкие звёзды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги, на капитанском мостике, и посетить далёкий Сингапур, и купить там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или в начальника станции и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом:

— Го-о-тов!

Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полосы для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником вроде Алена Бомбара и переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. Правда, этот Бомбар после своего путешествия похудел на двадцать пять килограммов, а я всего-то весил двадцать шесть, так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне худеть будет совершенно некуда, я буду весить в конце путешествия только одно кило. А вдруг я где-нибудь не поймаю одну-другую рыбку и похудею чуть побольше?

Тогда я, наверное, просто растаю в воздухе как дым, вот и все дела.

Когда я всё это посчитал, то решил отказаться от этой затеи, а на другой день мне уже приспичило стать боксёром, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга — просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжёлую кожаную «грушу» — такой продолговатый тяжёлый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на всё это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать в случае чего.

Я сказал папе:

— Папа, купи мне грушу!

— Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку.

Я рассмеялся:

— Нет, папа, не такую! Не съедобную грушу! Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксёрскую грушу!

— А тебе зачем? — сказал папа.

— Тренироваться, — сказал я. — Потому что я буду боксёром и буду всех побивать. Купи, а?

— Сколько же стоит такая груша? — поинтересовался папа.

— Пустяки какие-нибудь, — сказал я. — Рублей десять или пятьдесят.

— Ты спятил, братец, — сказал папа. — Перебейся как-нибудь без груши. Ничего с тобой не случится.

А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала:

— Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну минуточку.

И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетёную корзинку; в ней были сложены старые игрушки,

в которые я уже не играл. Потому что я уже вырос и осенью мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком.

...Мама стала копаться в этой корзинке, и, пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колёс и на верёвочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлапкой, обрывок паруса от лодки и несколько погремушек, и много ещё разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здорового плюшевого Мишку.

Она бросила его мне на диван и сказала:

— Вот. Это тот самый, что тебе тётя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. Хороший Мишка, отличный. Погляди, какой тугой! Живот какой толстый! Ишь как выкатил! Чем не груша? Ещё лучше! И покупать не надо! Давай тренируйся сколько душе угодно! Начинай!

И тут её позвали к телефону, и она вышла в коридор.

А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил Мишку поудобнее на диван, чтобы мне сподручней было об него тренироваться и развивать силу удара.

Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и у него были разные глаза: один его собственный — жёлтый стеклянный, а другой большой белый — из пуговицы от наволочки; я даже помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами, и он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдаётся...

И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался, повсюду таскал его за собой, и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил с ложки манной кашей, и у него такая забавная мордочка стано-

вилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или вареньем, такая забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая, и я его спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные твёрденькие ушки, и я его любил тогда, любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеётся разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара...

— Ты что, — сказала мама, она уже вернулась из коридора. — Что с тобой?

А я не знал, что со мной, я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной, и я задрал голову к потолку, чтобы слёзы вкатились обратно, и потом, когда я скрепился немного, я сказал:

— Ты о чём, мама? Со мной ничего... Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксёром.



Надо иметь чувство юмора

Один раз мы с Мишкой делали уроки. Мы положили перед собой тетрадки и списывали. И в это время я рассказывал Мишке про лемуров, что у них большие глаза, как стеклянные блюдечки, и что я видел фотографию лемура, как он держится за авторучку, сам маленький-маленький и ужасно симпатичный.

Потом Мишка говорит:

— Написал?

Я говорю:

— Уже.

— Ты мою тетрадку проверь, — говорит Мишка, — а я — твою.

И мы поменялись тетрадками.

И я как увидел, что Мишка написал, так сразу стал хотеть.

Гляжу, а Мишка тоже покатывается, прямо синий стал.

Я говорю:

— Ты чего, Мишка, покатываешься?

А он:

— Я покатываюсь, что ты неправильно списал! А ты чего?

Я говорю:

— А я то же самое, только про тебя. Гляди, ты написал: «Наступили мозы». Это кто такие — «мозы»?

Мишка покраснел:

— Мозы — это, наверно, морозы. А ты вот написал: «Натала зима». Это что такое?

— Да, — сказал я, — не «натала», а «настала». Ничего не попишешь, надо переписывать. Это всё лемуры виноваты.

И мы стали переписывать. А когда переписали, я сказал:

— Давай задачи задавать!

— Давай, — сказал Мишка.

В это время пришёл папа. Он сказал:

— Здравствуйте, товарищи студенты...

И сел к столу.

Я сказал:

— Вот, папа, послушай, какую я Мишке задам задачу: вот у меня есть два яблока, а нас трое, как разделить их среди нас поровну?

Мишка сейчас же надулся и стал думать. Папа не надулся, но тоже задумался. Они думали долго.

Я тогда сказал:

— Сдаёшься, Мишка?

Мишка сказал:

— Сдаюсь!

Я сказал:

— Чтобы мы все получили поровну, надо из этих яблок сварить компот. — И стал хохотать: — Это меня тётя Мила научила!..

Мишка надулся ещё больше. Тогда папа сощурил глаза и сказал:

— А раз ты такой хитрый, Денис, дай-ка я задам тебе задачу.

— Давай задавай, — сказал я.

Папа походил по комнате.

— Ну слушай, — сказал папа. — Один мальчишка учится в первом классе «В». Его семья состоит из пяти человек. Мама встаёт в семь часов и тратит на одевание десять минут. Зато папа чистит зубы пять минут. Бабушка ходит в магазин столько, сколько мама одевается плюс папа чистит зубы. А дедушка читает газеты, сколько бабушка ходит в магазин минус во сколько встаёт мама.

Когда они все вместе, они начинают будить этого мальчишку из первого класса «В». На это уходит время чтения дедушкиных газет плюс бабушкино хождение в магазин.

Когда мальчишка из первого класса «В» просыпается, он потягивается столько времени, сколько одевается мама плюс папина чистка зубов. А умывается он, сколько дедушкины газеты, делённые на бабушку. На уроки он опаздывает на столько минут, сколько потягивается плюс умывается минус мамино вставание, умноженное на папины зубы.

Спрашивается: кто же этот мальчишка из первого «В» и что ему грозит, если это будет продолжаться? Всё!

Тут папа остановился посреди комнаты и стал смотреть на меня. А Мишка захохотал во всё горло и стал тоже смотреть на меня. Они оба на меня смотрели и хохотали.

Я сказал:

— Я не могу сразу решить эту задачу, потому что мы ещё этого не проходили.

И больше я не сказал ни слова, а вышел из комнаты, потому что я сразу догадался, что в ответе этой задачи получится лентяй и что такого скоро выгонят из школы. Я вышел из комнаты в коридор и залез за вешалку и стал думать, что если это задача про меня, то это неправда, потому что я всегда встаю довольно быстро и потягиваюсь совсем недолго, ровно столько, сколько нужно. И ещё я подумал, что если папе так хочется на меня выдумывать, то, пожалуйста, я могу уйти из дома прямо на целину. Там работа всегда найдётся, там люди нужны, особенно молодёжь. Я там буду покорять природу, и папа приедет с делегацией на Алтай, увидит меня, и я остановлюсь на минутку, скажу:

«Здравствуй, папа», — и пойду дальше покорять.

А он скажет:

«Тебе привет от мамы...»

А я скажу:

«Спасибо... Как она поживает?»

А он скажет:

«Ничего».

А я скажу:

«Наверно, она забыла своего единственного сына?»

А он скажет:

«Что ты, она похудела на тридцать семь кило! Вот как скучает!»

А что я ему скажу дальше, я не успел придумать, потому что на меня упало пальто и папа вдруг прилез за вешалку. Он меня увидел и сказал:

— Ах ты, вот он где! Что у тебя за такие глаза? Неужели ты принял эту задачу на свой счёт?

Он поднял пальто и повесил на место и сказал дальше:

— Я это всё выдумал. Такого мальчишки и на свете-то нет, не то что в вашем классе!

И папа взял меня за руки и вытащил из-за вешалки.

Потом ещё раз поглядел на меня пристально и улыбнулся:

— Надо иметь чувство юмора, — сказал он мне, и глаза у него стали весёлые-весёлые. — А ведь это смешная задача, правда? Ну! Засмейся!

И я засмеялся.

И он тоже.

И мы пошли в комнату.



Одна капля убивает лошадь

Когда папа заболел, пришёл доктор и сказал:

— Ничего особенного, маленькая простуда. Но я вам советую бросить курить, у вас в сердце лёгкий шумок.

И когда он ушёл, мама сказала:

— Как это всё-таки глупо — доводить себя до болезней этими проклятыми папиросами. Ты ещё такой молодой, а вот уже в сердце у тебя шумы и хрипы.

— Ну, — сказал папа, — ты преувеличиваешь! У меня нет никаких особенных шумов, а тем более хрипов. Есть всего-навсего один маленький шумишко. Это не в счёт.

— Нет — в счёт! — воскликнула мама. — Тебе, конечно, нужен не шумишко, тебя бы больше устроили скрип, лязг и скрежет, я тебя знаю...

— Во всяком случае, мне не нужен звук пилы, — перебил её папа.

— Я тебя не пилю, — мама даже покраснела, — но пойми ты, это действительно вредно. Ведь ты же знаешь, что одна капля папиросного яда убивает здоровую лошадь!

Вот так раз! Я посмотрел на папу. Он был большой, спору нет, но всё-таки поменьше лошади. Он был побольше меня или мамы, но, как ни верти, он был поменьше

лошади и даже самой захудалой коровы. Корова бы никогда не поместилась на нашем диване, а папа помещался свободно. Я очень испугался. Я никак не хотел, чтобы его убивала такая капля яда. Не хотел я этого никак и ни за что. От этих мыслей я долго не мог заснуть, так долго, что не заметил, как всё-таки заснул.

А в субботу папа выздоровел, и к нам пришли гости. Пришёл дядя Юра с тётей Катей, Борис Михайлович и тётя Тамара. Все пришли и стали вести себя очень прилично, а тётя Тамара как только вошла, так вся завертелась, и затрещала, и уселась пить чай рядом с папой. За столом она стала окружать папу заботой и вниманием, спрашивала, удобно ли ему сидеть, не дует ли из окна, и в конце концов до того наокружалась и назаботилась, что всыпала ему в чай три ложки сахара. Папа размешал сахар, хлебнул и сморщился.

— Я уже один раз положила сахар в этот стакан, — сказала мама, и глаза у неё стали зелёные, как крыжовник.

А тётя Тамара расхохоталась во всё горло. Она хохотала, как будто кто-то под столом кусал её за пятки. А папа отодвинул переслащённый чай в сторону. Тогда тётя Тамара вынула из сумочки тоненький портсигарчик и подарила его папе.

— Это вам в утешение за испорченный чай, — сказала она. — Каждый раз, закуривая папироску, вы будете вспоминать эту смешную историю и её виновницу.

Я ужасно разозлился на неё за это. Зачем она напоминает папе про курение, раз он за время болезни уже почти совсем отвык? Ведь одна капля курильного яда убивает лошадь, а она напоминает. Я сказал:

«Вы дура, тётя Тамара! Чтоб вы лопнули! И вообще вон из моего дома. Чтобы ноги вашей толстой больше здесь не было».

Я сказал это про себя, в мыслях, так, что никто ничего не понял.

А папа взял портсигарчик и повертел его в руках.

— Спасибо, Тамара Сергеевна, — сказал папа, — я очень тронут. Но сюда не войдёт ни одна моя папироска, портсигар такой маленький, а я курю «Казбек». Впрочем...

Тут папа взглянул на меня.

— Ну-ка, Денис, — сказал он, — вместо того чтобы выдувать третий стакан чаю на ночь, пойди-ка к письменному столу, возьми там коробку «Казбека» и укороти папироски, обрежь так, чтобы они влезли в портсигар. Ножницы в среднем ящике!

Я пошёл к столу, нашёл папиросы и ножницы, примерил портсигар и сделал всё, как он велел. А потом отнёс полный портсигарчик папе. Папа открыл портсигарчик, посмотрел на мою работу, потом на меня и весело рассмеялся:

— Полюбуйтесь-ка, что сделал мой сообразительный сын!

Тут все гости стали наперебой выхватывать друг у друга портсигарчик и оглушительно хохотать. Особенно старалась, конечно, тётя Тамара. Когда она перестала смеяться, она согнула руку и костяшками пальцев постучала по моей голове.

— Как же это ты догадался оставить целыми картонные мундштуки, а почти весь табак отрезать? Ведь курят-то именно табак, а ты его отрезал! Да что у тебя в голове — песок или опилки?

Я сказал:

«Это у тебя в голове опилки, Тамарище Семипудовое».

Сказал, конечно, в мыслях, про себя. А то бы меня мама заругала. Она и так смотрела на меня что-то уж чересчур пристально.

— Ну-ка, иди сюда, — мама взяла меня за подбородок, — посмотри-ка мне в глаза!

Я стал смотреть в мамины глаза и почувствовал, что у меня щеки стали красные, как флаги.

— Ты это сделал нарочно? — спросила мама.

Я не мог её обмануть.

— Да, — сказал я, — я это сделал нарочно.

— Тогда выйди из комнаты, — сказал папа, — а то у меня руки чешутся.

Видно, папа ничего не понял. Но я не стал ему объяснять и вышел из комнаты.

Шутка ли — одна капля убивает лошадь!



«Он живой и светится...»

Однажды вечером я сидел во дворе, возле песка, и ждал маму. Она, наверно, задерживалась в институте, или в магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам и уже, наверно, пили чай с бубликами и брынзой, а моей мамы всё ещё не было...

И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались тёмные облака — они были похожи на бородатых стариков...

И мне захотелось есть, а мамы всё не было, и я подумал, что, если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждёт меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял её сидеть на песке и скучать.

И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал:

— Здорóво!

И я сказал:

— Здорóво!

Мишка сел со мной и взял в руки самосвал.

— Ого! — сказал Мишка. — Где достал? А он сам набирает песок? Не сам? А сам сваливает? Да? А ручка?

Для чего она? Её можно вертеть? Да? А? Ого! Дашь мне его домой?

Я сказал:

— Нет, не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом.

Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало ещё темнее.

Я смотрел на ворота, чтоб не пропустить, когда придёт мама. Но она всё не шла. Видно, встретила тётю Розу, и они стоят и разговаривают и даже не думают про меня. Я лёг на песок.

Тут Мишка говорит:

— Не дашь самосвал?

— Отвяжись, Мишка.

Тогда Мишка говорит:

— Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса!

Я говорю:

— Сравнил Барбадос с самосвалом...

А Мишка:

— Ну, хочешь, я дам тебе плавательный круг?

Я говорю:

— Он у тебя лопнутый.

А Мишка:

— Ты его заклеишь!

Я даже рассердился:

— А плавать где? В ванной? По вторникам?

И Мишка опять надулся. А потом говорит:

— Ну, была не была! Знай мою доброту! На!

И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял её в руки.

— Ты открой её, — сказал Мишка, — тогда увидишь!

Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зелёный огонёк, как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звёздочка, и в то же время я сам держал её сейчас в руках.

— Что это, Мишка, — сказал я шёпотом, — что это такое?

— Это светлячок, — сказал Мишка. — Что, хорош? Он живой, не думай.

— Мишка, — сказал я, — бери мой самосвал, хочешь? Навсегда бери, насовсем! А мне отдай эту звёздочку, я её домой возьму...

И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком, глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться: какой он зелёный, словно в сказке, и как он хоть и близко, на ладони, а светит, словно издалека... И я не мог ровно дышать, и я слышал, как стучит моё сердце, и чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать.

И я долго так сидел, очень долго. И никого не было вокруг. И я забыл про всех на белом свете.

Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила:

— Ну, как твой самосвал?

А я сказал:

— Я, мама, променял его.

Мама сказала:

— Интересно! А на что?

Я ответил:

— На светлячка! Вот он, в коробочке живёт. Погаси-ка свет!

И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы стали вдвоём смотреть на бледно-зелёную звёздочку.

Потом мама зажгла свет.

— Да, — сказала она, — это волшебство! Но всё-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка?

— Я так долго ждал тебя, — сказал я, — и мне было так скучно, а этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете.

Мама пристально посмотрела на меня и спросила:

— А чем же, чем же именно он лучше?

Я сказал:

— Да как же ты не понимаешь?! Ведь он живой! И светится!..



Слава Ивана Козловского

У меня в таблице одни пятёрки. Только по чистописанию четвёрка. Из-за клякс. Я прямо не знаю, что делать! У меня всегда с пера соскакивают кляксы. Я уж макаю в чернила только самый кончик пера, а кляксы всё равно соскакивают. Просто чудеса какие-то! Один раз я целую страницу написал чисто-чисто, любо-дорого смотреть — настоящая пятёрочная страница. Утром показал её Раисе Ивановне, а там на самой середине клякса! Откуда она взялась? Вчера её не было! Может быть, она с какой-нибудь другой страницы просочилась? Не знаю...

А так у меня одни пятёрки. Только по пению тройка. Это вот как получилось. Был у нас урок пения. Сначала мы пели все хором «Во поле берёзонька стояла». Вышло очень красиво, но Борис Сергеевич всё время морщился и кричал:

— Тяните гласные, друзья, тяните гласные!..

Тогда мы стали тянуть гласные, но Борис Сергеевич хлопнул в ладоши и сказал:

— Настоящий кошачий концерт! Давайте-ка займёмся с каждым индивидуально.

Это значит с каждым отдельно.

И Борис Сергеевич вызвал Мишку.

Мишка подошёл к роялю и что-то такое прошептал Борису Сергеевичу.

Тогда Борис Сергеевич начал играть, а Мишка тихонечко запел:

Как на тоненький ледок
Выпал беленький снежок...

Ну и смешно же пищал Мишка! Так пищит наш котёнок Мурзик. Разве ж так поют! Почти ничего не слышно. Я просто не мог выдержать и рассмеялся.

Тогда Борис Сергеевич поставил Мишке пятёрку и поглядел на меня.

Он сказал:

— Ну-ка, хохотун, выходи!

Я быстро подбежал к роялю.

— Ну-с, что вы будете исполнять? — вежливо спросил Борис Сергеевич.

Я сказал:

— Песня Гражданской войны «Веди ж, Будённый, нас смелее в бой».

Борис Сергеевич тряхнул головой и заиграл, но я его сразу остановил:

— Играйте, пожалуйста, погромче! — сказал я.

Борис Сергеевич сказал:

— Тебя не будет слышно.

Но я сказал:

— Будет. Ещё как!

Борис Сергеевич заиграл, а я набрал побольше воздуха да как запою:

Высоко в небе ясном
Вьётся алый стяг...

Мне очень нравится эта песня.

Так и вижу синее-синее небо, жарко, кони стучат копытами, у них красивые лиловые глаза, а в небе вьётся алый стяг.

Тут я даже зажмурился от восторга и закричал что было сил:

Мы мчимся на конях туда,
Где виден враг!
И в битве упоительной...

Я хорошо пел, наверное, даже было слышно на другой улице:

Лавиною стремительной!
Мы мчимся вперёд!.. Ура!..
Красные всегда побеждают!
Отступайте, враги! Даёшь!!!

Я нажал себе кулаками на живот, вышло ещё громче, и я чуть не лопнул:

Мы врезались в Крым!

Тут я остановился, потому что я был весь потный и у меня дрожали колени.

А Борис Сергеевич хоть и играл, но весь как-то склонился к роялю, и у него тоже тряслись плечи...

Я сказал:

— Ну как?

— Чудовищно! — похвалил Борис Сергеевич.

— Хорошая песня, правда? — спросил я.

— Хорошая, — сказал Борис Сергеевич и закрыл платком глаза.

— Только жаль, что вы очень тихо играли, Борис Сергеевич, — сказал я, — можно бы ещё погромче.

— Ладно, я учту, — сказал Борис Сергеевич. — А ты не заметил, что я играл одно, а ты пел немножко по-другому!

— Нет, — сказал я, — я этого не заметил! Да это и не важно. Просто надо было погромче играть.

— Ну что ж, — сказал Борис Сергеевич, — раз ты ничего не заметил, поставим тебе пока тройку. За прилежание.

Как — тройку? Я даже опешил. Как же это может быть? Тройку — это очень мало! Мишка тихо пел и то получил пятёрку... Я сказал:

— Борис Сергеевич, когда я немножко отдохну, я ещё громче смогу, вы не думайте. Это я сегодня плохо завтракал. А то я так могу спеть, что тут у всех уши позаложит. Я знаю ещё одну песню. Когда я её дома пою, все соседи прибегают, спрашивают, что случилось.

— Это какая же? — спросил Борис Сергеевич.

— Жалостливая, — сказал я и завёл:

Я вас любил...

Любовь ещё, быть может...

Но Борис Сергеевич поспешно сказал:

— Ну хорошо, хорошо, всё это мы обсудим в следующий раз.

И тут раздался звонок.

Мама встретила меня в раздевалке. Когда мы собирались уходить, к нам подошёл Борис Сергеевич.

— Ну, — сказал он, улыбаясь, — возможно, ваш мальчик будет Лобачевским, может быть, Менделеевым. Он может стать Суриковым или Кольцовым, я не удивлюсь, если он станет известен стране, как известен товарищ Николай Мамай или какой-нибудь боксёр, но в одном могу заверить вас абсолютно твёрдо: славы Ивана Козловского он не добьётся. Никогда!

Мама ужасно покраснела и сказала:

— Ну, это мы ещё увидим!

А когда мы шли домой, я всё думал:

«Неужели Козловский поёт громче меня?»



ДУРОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ (1863—1934)

У классной доски

На арене — школа. На партах, будто настоящие школьники, сидят морские львы, свиньи, слон, телёнок, ослик, пеликан, фокстерьер Пик и большой сенбернар Лорд.

Бэби — один из первых учеников. Он получает круглые пятёрки, и даже с плюсом. Особенно он силен в арифметике.

Я вызываю Бэби к доске:

— Бэби, сколько будет три и четыре?

Бэби берёт хоботом громадный кусок мела и выводит на доске семь толстых палок. Порой он писал таким размашистым, слоновьим почерком, что единицы не помещались на доске.

— Лорд, сколько не хватает единиц на доске?

И Лорд лаял ровно столько раз, сколько надо было. А пеликан, сидевший на второй скамье, шипел на весь «класс».

Я журил пеликана:

— Нельзя подсказывать... Нехорошо.

Как видите, совсем как в настоящей школе. И даже книги на партах лежат.

Книги были особенные, деревянные, и ученики перелистывали их кто как мог: свинья — пяточком, осёл — мордой, пеликан — длинным, будто ножницы, клювом, а морские львы — лапами.

Случалось, Бэби выводил на доске больше палок, чем нужно. Тогда Лео, морской лев, подбегал к доске, стано-

вился на задние лапы, упирался левым ластом в доску, а правым стирал лишние единицы.

Публика аплодировала и удивлялась. Ей всё это казалось чем-то вроде чуда. А тут никакого чуда нет. Я долго и терпеливо обучал зверей всем этим движениям. А некоторым вещам и учить не надо было. Так, например, сидя на арене за партой, старый пёс Лорд нередко зевал, широко раскрывая пасть. Я его этому не учил — он зевал от усталости. А я говорил:

— Лорд — плохой ученик: зевает на уроке. Надо ему поставить четыре по поведению.

И публика смеялась.

Но вот урок окончен. Парты убираются, и ученик Бэби подходит к своему учителю. Я ложусь на землю. Бэби высоко поднимает ноги и осторожно переступает через меня. Публика ахает и аплодирует.

Бэби быстро бежит вокруг арены и снова, ещё выше поднимая ноги, шагает через моё беспомощно раскинутое тело.

Вот он стоит надо мной. Я командую:

— Алле, Бэби!

И слон медленно начинает подгибать задние ноги, становится на колени, затем подгибает передние и осторожно опускается на меня.

— Раздавит, раздавит! — кричит публика.

— Довольно!

— Ай, раздавил!..

Но Бэби и не думает меня давить. Правда, в нём примерно три тонны, и если бы он действительно лёг на меня, от учителя осталось бы мокрое место, но Бэби чувствует свой громадный вес. Как только его живот приближается ко мне, Бэби каменеет. Он напрягает все мускулы, старается удержаться в трудной позе и только тревожно гудит. По этому гуденью я узнаю, что Бэби хочет поскорее окончить утомительный номер и подняться.

— Алле!

Бэби медленно поднимается, выпрямляя толстые, как колонны, ноги. В публике облегчённо вздыхают.

— Бэби, алле!

И громадный слон поднимает передние ноги. Вот он стоит на одних задних ногах, высоко подняв передние, и балансирует. А я с распростёртыми руками стою под ним. И кажется, вот-вот слон не устоит на двух ногах и тяжёлая туша рухнет на меня.

— Алле!

Я отскакиваю. Бэби ставит передние ноги на землю и с облегчением выпускает воздух через хобот. Публика аплодирует.

Я заставляю Бэби поднять хобот и открыть рот. Он послушно исполняет это. Затем я вкладываю в его рот голову и расставляю руки. Публика замирает. Бэби стоит смирно, несмотря на то что мои волосы щекочут его скользкий язык. В такой позе я не могу крикнуть: «Алле!» Я жду, пока публика не начнёт аплодировать и кричать: «Довольно!» Иногда приходится ждать долго, но ничего не поделаешь. И когда наконец публика начинает хлопать, я вынимаю голову из пасти Бэби, и мы оба кланяемся. Надо отвечать на аплодисменты, нехорошо быть невежливым.



ЖИТКОВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ (1882—1938)

Храбрый утёнок

Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку возле куста, а сама уходила.

Как только утята подбегали к тарелке, вдруг прилетала большая стрекоза и начинала кружить над ними. Она очень страшно стрекотала. Перепуганные утята убегали и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их всех перекусает.

А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и потом улетала.

После этого утята уже целый день не подходили к тарелке. Они боялись, что стрекоза прилетит опять.

Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила:

— Должно быть, наши утята заболели. Что-то они ничего не едят.

Она не знала, что утята каждый вечер голодные ложились спать.

Однажды к утятам пришёл в гости их сосед, утёнок Алёша, и утята рассказали ему про стрекозу. Он стал смеяться.

— Ну и храбрецы! — сказал он. — Я один прогоню эту стрекозу. Вот вы увидите завтра.

— Ты хвастаешь, — сказали утята. — Завтра ты первый испугаешься и побежишь.

На другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тарелку с едой и ушла.

— Ну, смотрите, — сказал смелый Алёша, — сейчас я буду драться с вашей стрекозой.

Только он сказал это, как вдруг зажужжала стрекоза. Прямо сверху она полетела на тарелку. Утята хотели убежать, но Алёша не испугался.

Не успела стрекоза сесть на тарелку, как Алёша схватил её клювом за крыло. Насилу она вырвалась и с поломанным крылом улетела.

С тех пор она никогда не прилетала в сад, и утята каждый день наедались досыта. Они не только ели сами, но и угощали храброго Алёшу за то, что он спас их от стрекозы.



Про обезьянку

Мне было двенадцать лет, и я учился в школе. Раз на перемене подходит ко мне товарищ мой Юхименко и говорит:

— Хочешь, я тебе обезьянку дам?

Я не поверил — думал, он мне сейчас штуку какую-нибудь устроит, так что искры из глаз посыплются, и скажет: вот это и есть «обезьянка». Не таковский я.

— Ладно, — говорю, — знаем.

— Нет, — говорит, — в самом деле. Живую обезьянку. Она хорошая. Её Яшкой зовут. А папа сердится.

— На кого?

— Да на нас с Яшкой. Убирай, говорит, куда знаешь. Я думаю, что к тебе всего лучше.

После уроков пошли мы к нему. Я всё ещё не верил. Неужели, думал, живая обезьянка у меня будет? И всё спрашивал, какая она. А Юхименко говорит:

— Вот увидишь, не бойся, она маленькая.

Действительно, оказалась маленькая. Если на лапки встанет, то не больше полуаршина¹. Мордочка сморщенная, старушечья, а глазки живые, блестящие. Шерсть на ней рыжая, а лапки чёрные. Как будто человечесьи руки в перчатках чёрных. На ней был надет синий жилет. Юхименко закричал:

— Яшка, Яшка, иди, что я дам!

И засунул руку в карман. Обезьянка закричала: «Аи! аи!» — и в два прыжка вскочила Юхименке на руки. Он сейчас же сунул её в шинель, за пазуху.

— Идём, — говорит.

Я глазам своим не верил. Идём по улице, несём такое чудо, и никто не знает, что у нас за пазухой. Дорогой Юхименко мне говорил, чем кормить.

— Всё ест, всё давай. Сладкое любит. Конфеты — беда! Дорвётся — непременно обожрётся. Чай любит жидкий и чтоб сладкий был. Ты ей внакладку. Два куска. Вприкуску не давай: сахар сожрёт, а чай пить не станет.

Я всё слушал и думал: я ей и трёх кусков не пожалею, миленькая такая, как игрушечный человек. Тут я вспомнил, что и хвоста у ней нет.

— Ты, — говорю, — хвост ей отрезал под самый корень?

— Она макака, — говорит Юхименко, — у них хвостов не растёт.

Пришли мы к нам домой. Мама и девочки сидели за обедом. Мы с Юхименкой вошли прямо в шинелях. Я говорю:

— А кто у нас есть!

Все обернулись. Юхименко распахнул шинель. Никто ещё ничего разобрать не успел, а Яшка как прыгнет с Юхименки маме на голову, толкнулся ножками — и на буфет. Всю причёску маме осадил.

¹ Аршин — старая русская мера длины, равна 71 см, полуаршин — 35,5 см.

Все вскочили, закричали:

— Ой, кто, кто это?

А Яшка уселся на буфет и строит морды, чавкает, зубки скалит.

Юхименко боялся, что сейчас ругать его будут, и скорее к двери. На него и не смотрели — все глядели на обезьянку. И вдруг девочки все в один голос затаили:

— Какая хорошенькая!

А мама всё причёску прилаживала.

— Откуда это?

Я оглянулся. Юхименки уже нет. Значит, я остался хозяином. И я захотел показать, что знаю, как с обезьянкой надо. Я засунул руку в карман и крикнул, как давеча Юхименко:

— Яшка, Яшка! Иди, я тебе что дам!

Все ждали. А Яшка и не глянул — стал чесаться медленно и часто чёрной лапочкой.

До самого вечера Яшка не спускался вниз, а прыгал по верхам: с буфета на дверь, с двери на шкаф, оттуда на печку.

Вечером отец сказал:

— Нельзя её на ночь так оставлять, она квартиру вверх дном переверотит.

И я начал ловить Яшку. Я к буфету — он на печь. Я его оттуда щёткой — он прыг на часы. Качнулись часы и стали. А Яшка уже на занавесках качается. Оттуда — на картину — картина покосилась: я боялся, что Яшка кинется на висющую лампу.

Но тут уже все собрались и стали гоняться за Яшкой. В него кидали мячиком, катушками, спичками и наконец загнали в угол.

Яшка прижался к стене, оскалился и защёлкал языком — пугать начал. Но его накрыли шерстяным платком и завернули, запутали.

Яшка барахтался, кричал, но его скоро укрутили так, что осталась торчать одна голова. Он вертел головой, хлопал глазами, и казалось, сейчас заплачет от обиды.

Не пеленать же обезьяну каждый раз на ночь! Отец сказал:

— Привязать. За жилет и к ножке, к столу.

Я принёс верёвку, нащупал у Яшки на спине пуговицу, продел верёвку в петлю и крепко завязал. Жилет у Яшки на спине застёгивался на три пуговики.

Потом я поднёс Яшку, как он был, закутанного, к столу, привязал верёвку к ножке и только тогда размотал платок.

Ух, как он начал скакать! Но где ему порвать верёвку! Он покричал, позлился и сел печально на полу.

Я достал из буфета сахару и дал Яшке. Он схватил чёрной лапочкой кусок, заткнул за щёку. От этого вся мордочка у него скривилась.

Я попросил у Яшки лапу. Он протянул мне свою ручку.

Тут я рассмотрел, какие на ней хорошенькие чёрные ноготки. Игрушечная живая ручка! Я стал гладить лапку и думаю: совсем как ребёночек. И пощекотал ему ладошку. А ребёночек-то как дёрнет лапку — раз! — и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится. Вот и ребёночек!

Но тут меня погнали спать.

Я хотел Яшку привязать к своей кровати, но мне не позволили. Я всё прислушивался, что Яшка делает, и думал, что непременно ему надо устроить кроватку, чтоб он спал, как люди, и укрывался одеяльцем. Голову бы клал на подушечку. Думал, думал и заснул.

Утром вскочил — и, не одеваясь, к Яшке. Нет Яшки на верёвке. Верёвка есть, на верёвке жилет привязан, а обезьянки нет. Смотрю, все три пуговицы сзади расстёгнуты. Это он расстегнул жилет, оставил его на верёвке, а сам удрал. Я искать по комнате. Шлёпаю босыми ногами. Нигде нет. Я перепугался. А ну как убежал? Дня не пробыл, и вот на

тебе! Я на шкафы заглядывал, в печку — нигде. Убежал, значит, на улицу. А на улице мороз — замёрзнет, бедный! И самому стало холодно. Побежал одеваться. Вдруг вижу, в моей же кровати что-то возится. Одеяло шевелится. Я даже вздрогнул. Вот он где! Это ему холодно на полу стало, он удрал и ко мне на кровать. Забился под одеяло. А я спал и не знал. Яшка спросонья не дичился, дался в руки, и я напялил на него снова синий жилет.

Когда сели пить чай, Яшка вскочил на стол, огляделся, сейчас же нашёл сахарницу, запустил лапу и прыг на дверь. Он прыгал так легко, что, казалось, летает, не прыгает. На ногах у обезьяны пальцы, как на руках, и Яшка мог хватать ногами. Он так и делал. Сидит, как ребёнок, на руках у кого-нибудь и ручки сложил, а сам ногой со стола тянет что-нибудь.

Стащит ножик и ну с ножом скакать. Это чтобы у него отнимали, а он будет удирать. Чай Яшке дали в стакане. Он обнял стакан, как ведро, пил и чмокал. Я уж не пожалел сахару.

Когда я ушёл в школу, я привязал Яшку к дверям, к ручке. На этот раз обвязал его вокруг пояса верёвкой, чтобы уж не мог сорваться. Когда я пришёл домой, то из прихожей увидал, чем Яшка занимается. Он висел на дверной ручке и катался на дверях, как на карусели. Оттолкнётся от косяка и едет до стены. Пихнёт ножкой в стену и едет назад.

Когда я сел готовить уроки, я посадил Яшку на стол. Ему очень нравилось греться около лампы. Он дремал, как старичок на солнышке, покачивался и, прищурясь, глядел, как я тыкаю пером в чернила. Учитель у нас был строгий, и я чистенько написал страницу. Промокать не хотелось, чтобы не испортить. Оставил сохнуть. Прихожу и вижу: сидит Яков на тетради, макает пальчик в чернильницу, ворчит и выводит чернильные вавилоны по моему писанию. Ах ты, дрянь! Я чуть не заплакал с горя. Бросился на Яшку. Да

куда! Он на занавески — все занавески чернилами перепачкал. Вот оно почему Юхименкин папа на них с Яшкой сердился...

Но раз и мой папа рассердился на Яшку. Яшка обрывал цветы, что стояли у нас на окнах. Сорвёт лист и дразнит. Отец поймал и отдул Яшку. А потом привязал его в наказание на лестнице, что вела на чердак. Узенькая лесенка. А широкая шла из квартиры вниз.

Вот отец идёт утром на службу. Почистился, надел шляпу, спускается по лестнице. Хлоп! Штукатурка падает. Отец остановился, стряхнул со шляпы. Глянул вверх — никого. Только пошёл — хлоп, опять кусок извёстки прямо на голову. Что такое?

А мне сбоку было видно, как орудовал Яшка. Он наломал от стенки извёстки, разложил по краям ступенек, а сам прилёг, притаился на лестнице, как раз у отца над головой. Только отец пошёл, а Яшка тихонечко толк ножкой штукатурку со ступеньки и так ловко примерил, что прямо отцу на шляпу, — это он ему мстил за то, что отец вздул его накануне.

Но когда началась настоящая зима, завыл ветер в трубах, завалило окна снегом, Яшка стал грустным. Я его всё грел, прижимал к себе. Мордочка у Яшки стала печальная, обвисшая, он подвизгивал и жался ко мне. Я попробовал сунуть его за пазуху, под куртку. Яшка сейчас же там устроился: он схватился всеми четырьмя лапками за рубаху и так повис, как приклеился. Он так и спал там, не разжимая лап. Забудешь другой раз, что у тебя живой набрюшник под курткой, и обопрёшься о стол. Яшка сейчас лапкой заскребёт мне бок: даёт мне знать, чтоб осторожней.

Вот раз в воскресенье пришли в гости девочки. Сели завтракать. Яшка смирно сидел у меня за пазухой, и его совсем не было заметно. Под конец раздали конфеты. Только я стал первую разворачивать, вдруг из-за пазухи,

прямо из моего живота, вытянулась мохнатая ручка, ухватила конфету и назад. Девочки взвизгнули от страха. А это Яшка услышал, что бумагой шелестят, и догадался, что едят конфеты. А я девочкам говорю: «Это у меня третья рука; я этой рукой прямо в живот конфеты сую, чтоб долго не возиться». Но уж все догадались, что это обезьянка, и из-под куртки слышно было, как хрустит конфета: это Яшка грыз и чавкал, как будто я животом жую.

Яшка долго злился на отца. Примирился Яшка с ним из-за конфет. Отец мой как раз бросил курить и вместо папирос носил в портсигаре маленькие конфетки. И каждый раз после обеда отец открывал тугую крышку портсигара большим пальцем, ногтем, и доставал конфетки. Яшка тут как тут: сидит на коленях и ждёт — ёрзает, тянется. Вот отец раз и отдал весь портсигар Яшке; Яшка взял его в руку, а другой рукой, совершенно как мой отец, стал подковыривать большим пальцем крышку. Пальчик у него маленький, а крышка тугая и плотная, и ничего не выходит у Яшеньки. Он завыл с досады. А конфеты брякают. Тогда Яшка схватил отца за большой палец и его ногтем, как стамеской, стал отковыривать крышку. Отца это рассмешило, он открыл крышку и поднёс портсигар Яшке. Яшка сразу запустил лапу, нагребастал полную горсть, скорее в рот и бегом прочь. Не каждый же день такое счастье!

Был у нас знакомый доктор. Болтать любил — беда. Особенно за обедом. Все уж кончили, у него на тарелке всё остыло, тогда он только хватится — поковыряет, наспех глотнёт два куса:

— Благодарю вас, я сыт.

Вот раз обедает он у нас, ткнул вилку в картошку и вилкой этой размахивает — говорит. Разошёлся — не унять. А Яша, вижу, по спинке стула поднимается, тихонько подкрался и сел у доктора за плечом. Доктор говорит:

— И понимаете, тут как раз... — И остановил вилку с картошкой возле уха — на один момент всего.

Яшенька лапочкой тихонько за картошку и снял её с вилки — осторожно, как вор.

А доктор дальше:

— И представьте себе... — И тык пустой вилкой себе в рот. Сконфузился — думал, стряхнул картошку, когда руками махал, оглядывается. А Яшки уж нет — сидит в углу и прожевать картошку не может, всю глотку забил.

Доктор сам смеялся, а всё-таки обиделся на Яшку.

Яшке устроили в корзинке постель: с простынёй, одеяльцем, подушкой. Яшка не хотел спать по-человечьи: всё наматывал на себя клубком и таким чучелом сидел всю ночь. Ему сшили платице, зелёненькое, с пелеринкой, и стал он похож на стриженую девочку из приюта.

Вот раз я слышу звон в соседней комнате. Что такое? Пробираюсь тихонько и вижу: стоит на подоконнике Яшка в зелёном платице, в одной руке у него ламповое стекло, а в другой — ёжик, и он ёжиком с остервенением чистит стекло. В такую ярость пришёл, что не слышал, как я вошёл. Это он видел, как стёкла чистили, и давай сам пробовать.

А то оставишь его вечером с лампой, он отвернёт огонь полным пламенем — лампа коптит, сажа летает по комнате, а он сидит и рычит на лампу.

Беда стала с Яшкой, хоть в клетку сажай! Я его и ругал, и бил, но долго не мог на него сердиться. Когда Яшка хотел понравиться, он становился очень ласковым, залезал на плечо и начинал в голове искать. Это значит, он вас уже очень любит.

Надо ему выпросить что-нибудь — конфет там или яблоко, — сейчас залезет на плечо и заботливо начинает лапками перебирать в волосах: ищет и ноготком поскрёбывает. Ничего не находит, а делает вид, что поймал зверя: выкусывает с пальчиков чего-то.

Вот раз пришла к нам в гости дама. Она считала, что она красавица. Разряженная. Вся так шёлком и шуршит.

На голове не причёска, а прямо целая беседка из волос накручена — в завитках, в локончиках. А на шее, на длинной цепочке, зеркальце в серебряной оправе.

Яшка осторожно к ней по полу подскочил.

— Ах, какая обезьянка миловидная! — говорит дама. И давай зеркальцем с Яшкой играть.

Яшка поймал зеркальце, повертел — прыг на колени к даме и стал зеркальце на зуб пробовать.

Дама отняла зеркальце, зажала в руке. А Яшке хочется зеркало получить. Дама погладила небрежно Яшку перчаткой и потихоньку спихивает с колен. Вот Яшка и решил понравиться, подольститься к даме. Прыг ей на плечо. Крепко ухватился за кружева задними лапками и взялся за причёску. Раскопал все завитки и стал искать. Дама покраснела.

— Пошёл, пошёл! — говорит.

Не тут-то было! Яшка ещё больше старается: скребёт ноготками, зубками щёлкает.

Дама эта всегда против зеркала садилась, чтоб на себя полюбоваться, и видит в зеркале, что взлохматил её Яшка, — чуть не плачет. Я двинулся на выручку. Куда там! Яшка вцепился что было силы в волосы и на меня глядит дико. Дама дёрнула его за шиворот, и своротил ей Яшка причёску. Глянула на себя в зеркало — чучело чучелом. Я замахнулся, спугнул Яшку, а гостья наша схватилась за голову и — в дверь.

— Безобразие, — говорит, — безобразие! — И не попрощалась ни с кем. «Ну, — думаю, — держу до весны и отдам кому-нибудь, если Юхименко не возьмёт. Уж столько мне попадало за эту обезьянку!»

И вот настала весна. Потеплело. Яшка ожил и ещё больше проказил. Очень ему хотелось на двор, на волю. А двор у нас был огромный, с десятину¹. Посреди двора

¹ Десятина — мера земельной площади, равна примерно 1,12 га.

был сложен горой казённый уголь, а вокруг склады с товаром. И от воров сторожа держали на дворе целую свору собак. Собаки большие, злые. А всеми собаками командовал рыжий пёс. Каштан. На кого Каштан зарычит, на того все собаки бросаются. Кого Каштан пропустит, и собаки не тронут. А чужую собаку бил Каштан с разбегу грудью. Ударит, с ног собьёт и стоит над ней, рычит, а та уж и шелохнуться боится.

Я посмотрел в окно — вижу: нет собак во дворе. Дай, думаю, пойду, выведу Яшеньку погулять первый раз. Я надел на него зелёненькое платице, чтобы он не простудился, посадил Яшку к себе на плечо и пошёл. Только я двери раскрыл, Яшка — прыг наземь и побежал по двору. И вдруг, откуда ни возьмись, вся стая собачья, и Каштан впереди, прямо на Яшку. А он, как зелёненькая куколка, стоит маленький. Я уж решил, что пропал Яшка, — сейчас разорвут. Каштан сунулся к Яшке, но Яшка повернулся к нему, присел, прицелился. Каштан стал за шаг от обезьянки, оскалился и ворчал, но не решался броситься на такое чудо. Собаки все оцетинились и ждали, что Каштан.

Я хотел броситься выручать. Но вдруг Яшка прыгнул и в один момент уселся Каштану на шею. И тут шерсть клочьями полетела с Каштана. По морде и глазам бил Яшка, так что лап не видно было. Взвыл Каштан, и таким ужасным голосом, что все собаки врассыпную бросились. Каштан сломя голову пустился бежать, а Яшка сидит, вцепился ногами в шерсть, крепко держится, а руками рвёт Каштана за уши, щиплет шерсть клочьями. Каштан с ума сошёл: носится вокруг угольной горы с диким воем. Раза три обежал Яшка верхом вокруг двора и на ходу спрыгнул на уголь. Взобрался не торопясь на самый верх. Там была деревянная будка; он влез на будку, уселся и стал чесать себе бок как ни в чём не бывало. Вот, мол, я — мне нипочём!

А Каштан — в ворота от страшного зверя.

С тех пор я смело стал выпускать Яшку во двор: только Яшка с крыльца — все собаки в ворота. Яшка никого не боялся. Приедут во двор подводы, весь двор забьют, пройтись негде. А Яшка с воза на воз перелетает. Вскочит лошади на спину — лошадь топчется, гривой трясёт, фыркает, а Яшка не спеша на другую перепрыгивает. Извозчики только смеются и удивляются:

— Смотри, какая сатана прыгает. Ишь ты! У-ух!

А Яшка — на мешки. Ищет щёлочки. Просунет лапку и щупает, что там. Нашупает, где подсолнухи, сидит и тут же на возу щёлкает. Бывало, что и орехи нашупает Яшка. Набьёт за щёки и во все четыре руки старается нагрести.

Но вот нашёлся у Якова враг. Да какой! Во дворе был кот. Ничей. Он жил при конторе, и все его кормили объедками. Он разжирел, стал большой, как собака. Злой был и царапучий.

И вот раз под вечер гулял Яшка по двору. Я его никак не мог дозваться домой. Вижу, вышел на двор котище и прыг на скамью, что стояла под деревом. Яшка, как увидел кота, — прямо к нему. Присел и идёт не спеша на четырёх лапах. Прямо к скамье и глаз с кота не спускает. Кот подобрал лапы, спину нагорбил, приготовился. А Яшка всё ближе ползёт. Кот глаза вытаращил, пятится. Яшка на скамью. Кот всё задом на другой край, к дереву. У меня сердце замерло. А Яков по скамье ползёт на кота. Кот уж в комок сжался, подобрался весь. И вдруг — прыг, да не на Яшку, а на дерево. Уцепился за ствол и глядит сверху на обезьянку. А Яшка всё тем же ходом к дереву. Кот поцарапался выше — привык на деревьях спасаться. А Яшка на дерево, и всё не спеша, целится на кота чёрными глазками. Кот выше, выше, влез на ветку и сел с самого краю. Смотрит, что Яшка будет делать. А Яков по той же ветке ползёт, и так уверенно, будто он сроду ничего другого не делал, а только котов

ловил. Кот уж на самом краю, на тоненькой веточке еле держится, качается. А Яков ползёт и ползёт, цепко перебирая всеми четырьмя ручками. Вдруг кот прыг с самого верха на мостовую, встряхнулся и во весь дух прочь без оглядки. А Яшка с дерева ему вдогонку: «Йау, йау», — каким-то страшным, звериным голосом — я у него никогда такого не слышал.

Теперь уж Яков стал совсем царём во дворе. Дома он уж есть ничего не хотел, только пил чай с сахаром. И раз так на дворе изюму наелся, что еле-еле его отходили. Яшка стонал, на глазах слёзы, и на всех капризно смотрел. Всем было сначала очень жалко Яшку, но когда он увидел, что с ним возятся, стал ломаться и разбрасывать руки, закидывать голову и подвывать на разные голоса. Решили его укутать и дать касторки. Пусть знает!

А касторка ему так понравилась, что он стал орать, чтобы ему ещё дали. Его запеленали и три дня не пускали на двор.

Яшка скоро поправился и стал рваться на двор. Я за него не боялся: поймать его никто не мог, и Яшка целыми днями прыгал по двору. Дома стало спокойнее, и мне меньше влетало за Яшку. А как настала осень, все в доме в один голос:

— Куда хочешь убирай свою обезьянку или сажай в клетку, а чтоб по всей квартире эта сатана не носилась.

То говорили, какая хорошенькая, а теперь, думаю, сатана стала. И как только началось ученье, я стал искать в классе, кому бы сплавить Яшку. Подыскал наконец товарища, отозвал в сторону и сказал:

— Хочешь, я тебе обезьянку подарю? Живую.

Не знаю уж, кому он потом Яшку сплавил. Но первое время, как не стало Яшки в доме, я видел, что все немного скучали, хоть признаваться и не хотели.



Про слона

Мы подходили на пароходе к Индии. Утром должны были прийти. Я сменился с вахты, устал и никак не мог заснуть: всё думал, как там будет. Вот как если б мне в детстве целый ящик игрушек принесли и только завтра можно его раскупорить. Всё думал: вот утром сразу открою глаза — и индусы, чёрные, заходят вокруг, забормочут непонятно — не то что на картинке. Бананы прямо на кусте, город новый — всё зашевелится, заиграет. И слоны! Главное — слонов мне хотелось посмотреть. Всё не верилось, что они там не так, как в Зоологическом, а запросто ходят, возят — по улице вдруг такая громада прёт.

Заснуть не мог, прямо ноги от нетерпения чесались. Ведь это, знаете, когда сушей едешь — совсем не то: видишь, как всё постепенно меняется. А тут две недели океан — вода и вода — и сразу новая страна. Как занавес в театре подняли.

Наутро затопали на палубе, загудели. Я бросился к иллюминатору (окну) — готово: город белый на берегу стоит; порт, суда, около борта шлюпки, в них чёрные люди в белых чалмах, зубами блестят, кричат что-то. Солнце светит со всей силы, жжёт, — кажется, светом давит. Тут я как с ума сошёл, задохнулся прямо — как будто я не я и всё это сказка. Есть ничего с утра не хотел. Товарищи дорогие, я за вас по две вахты в море стоять буду, на берег отпустите скорей!

Выскочили вдвоём на берег. В порту, в городе всё бурлит, кипит, народ толчётся, а мы — как оголтелые и не знаем, что смотреть, и не идём, а будто нас что несёт (да и после моря по берегу всегда странно ходить). Смотрим — трамвай. Сели в трамвай, сами толком не знаем, зачем едем, лишь бы дальше — очумели прямо. Трамвай нас мчит, мы глазеем по сторонам — и не заметили, как

выехали на окраину. Дальше не идёт. Вылезли. Дорога. Пошли по дороге. Придём куда-нибудь.

Тут мы немного успокоились и заметили, что здорово жарко.

Солнце над самой маковкой стоит, тень от тебя не ложится, а вся тень под тобой: идёшь и тень свою топчешь.

Порядочно уже прошли, уж людей не стало встречаться, смотрим — навстречу слон. С ним четверо ребят, бегут рядом по дороге. Я прямо глазам не поверил: в городе ни одного не видали, а тут запросто идёт по дороге — мне казалось, что из Зоологического вырвался. Слон нас увидел и остановился. Нам жутковато стало: больших при нём никого нет, ребята одни. А кто его знает, что у него на уме? Мотанёт раз хоботом — и готово. А слон, наверно, про нас так думал: идут какие-то необыкновенные, неизвестные, кто их знает? И стал.

Сейчас хобот загнул крючком, мальчишка старший стал на крюк на этот, как на подножку, рукой за хобот придерживается, и слон его осторожно отправил себе на голову. Тот там уселся между ушами, как на столе. Потом слон тем же порядком отправил ещё двоих сразу, а четвёртый был маленький, лет трёх, должно быть, — на нём только рубашонка была коротенькая, вроде лифчика. Слон ему подставляет хобот — иди, мол, садись. А он выкрутасы разные делает, хохочет, убегает. Старший кричит ему сверху, а он скачет и дразнит — не возмёшь, мол. Слон не стал ждать, опустил хобот и пошёл — сделал вид, что он на его фокусы и смотреть не хочет. Идёт, хобот мерно покачивает, а мальчишка вьётся около ног, кривляется. И как раз, когда он ничего не ждал, слон вдруг хоботом цап! Да так ловко — поймал его за рубашонку сзади и подымает вверх осторожно. Тот руками, ногами, как жучок, — нет уж, никаких тебе! Поднял его слон, осторожно опустил себе на голову, а там ребята его приняли. Он там, на слоне, всё ещё воевать пробовал.

Мы поравнялись, идём стороной дороги, а слон с другого бока и на нас внимательно и осторожно глядит. А ребята тоже на нас пялятся и шепчутся меж собой. Сидят как на дому, на крыше. Вот, думаю, здорово: им нечего там бояться. Если б и тигр попался навстречу — слон тигра поймает, схватит хоботищем поперёк живота, сдавит, швырнёт выше дерева и, если на клыки не подцепит, всё равно будет ногами топтать, пока в лепёшку не растопчет.

А тут мальчишку взял, как козявку двумя пальчиками, осторожно и бережно.

Слон прошёл мимо нас, смотрим — сворачивает с дороги и пошёл в кусты. Кусты плотные, колючие, стеной растут. А он через них как через бурьян — только ветки похрустывают — перелез и пошёл к лесу. Остановился около дерева, взял хоботом ветку и пригнул ребятам. Те сейчас же повскакали на ноги, схватились за ветку и что-то с неё обирают. А маленький подскакивает, старается тоже себе ухватить, возится — будто он не на слоне, а на земле стоит. Слон пустил ветку и другую пригнул. Опять та же история. Тут уж маленький совсем, видно, в роль вошёл, совсем залез на эту ветку, чтоб ему тоже досталось, и работает. Все кончили, слон пустил ветку, а маленький-то, смотрим, так и полетел с веткой! Ну, думаем, пропал — полетел теперь, как пуля, в лес. Бросились мы туда. Да нет! Куда там — не пролезть через кусты; колючие и густые, путаные. Смотрим — слон в листьях хоботом шарит. Нашупал этого маленького — он там, видно, обезьянкой уцепился, — достал его и посадил на место. Потом слон вышел на дорогу впереди нас и пошёл обратно. Мы за ним. Он идёт и по временам оглядывается, на нас косится — чего, мол, сзади идут какие-то.

Так мы за слоном пришли к дому. Вокруг плетень. Слон отворил хоботом калиточку и осторожно просунулся во двор; там ребят спустил на землю. Во дворе индуска на

него начала кричать чего-то. Нас она сразу не заметила. А мы стоим, через плетень смотрим.

Индуска орёт на слона — слон нехотя повернулся и пошёл к колодцу. У колодца врыты два столба, и между ними выюшка, на ней верёвка намотана и ручка сбоку. Смотрим — слон взялся хоботом за ручку и стал вертеть. Вертит как будто пустую, вытащил — целая бадья там на верёвке, ведер десять. Слон упёрся корнем хобота в ручку, чтоб не вертелась, изогнул хобот, подцепил бадью и, как кружку с водой, поставил на борт колодца. Индуска набрала воды, ребят тоже заставила таскать — она как раз стирала. Слон опять бадью спустил и полную выкрутил наверх. Хозяйка его опять начала ругать — слон пустил бадью в колодец, тряхнул ушами и пошёл прочь — не стал воду больше доставать, пошёл под навес. А там в углу двора на хлипких столбиках навес был устроен — только-только слону под него подлезть. Сверху камышу накидано и каких-то листьев длинных.

Тут как раз индус, сам хозяин. Увидал нас. Мы говорим: слона пришли посмотреть. Хозяин немного знал по-английски. Спросил, кто мы, всё на мою русскую фуражку показывает. Я говорю: русские.

Он обрадовался, засмеялся, сразу другой стал, позвал к себе. Я спрашиваю:

— Чего это слон не выходит?

— А это он, — говорит, — обиделся, и, значит, не зря. Теперь нипочём работать не станет, пока не успокоится.

Смотрим — слон вышел из-под навеса, в калитку — и прочь со двора. Думаем — теперь совсем уйдёт. А индус смеётся. Слон пошёл к дереву, опёрся боком и ну тереться. Дерево здоровое — прямо всё ходуном ходит. Это он чешется — так вот, как свинья об забор.

Почесался, набрал пыли в хобот и туда, где чесал, пылью, землёй как дунет — раз, и ещё, и ещё. Это он прочищает, чтобы не заводилось ничего в складках: вся кожа

у него твёрдая, как подошва, а в складках — потоньше, а в южных странах всяких насекомых кусачих масса.

Ведь смотрите какой: о столбики в сарае не чешется, чтоб не развалить, осторожно даже пробирается туда, а чесаться ходит к дереву.

Я говорю индусу:

— Какой он у тебя умный.

А он хохочет.

— Ну, — говорит, — если б я полтора года лет прожил, не тому б ещё выучился. А он, — показывает на слона, — моего деда ещё нянчил.

Я глянул на слона — мне показалось, что не индус тут хозяин, а слон, слон тут самый главный. Я говорю:

— Старый он у тебя?

— Нет, — говорит, — ему полтора года лет, он в самой поре... Вон у меня слонёнок есть, его сын, — двадцать лет ему, совсем ребёнок; к сорока годам только в силу входить начнёт. Вот погодите, придёт слониха, увидите: он маленький.

Пришла слониха и с ней слонёнок — с лошадь величинной, без клыков; он за матерью, как жеребёнок, шёл.

Ребята индусовы бросили матери помогать, стали прыгать, куда-то собираться, слон тоже пошёл, слониха и слонёнок с ними. Индус объясняет, что на речку. Мы тоже с ребятами.

Они нас не дичились, всё пробовали говорить — они по-своему, а мы по-русски — и хохотали всю дорогу. Маленький больше всех к нам приставал — всё мою фуражку надевал и что-то кричал смешное, — может быть, про нас.

Воздух в лесу пахучий, пряный, густой.

Шли лесом. Пришли к реке.

Не река, а поток — быстрый, так и мчит, так берег и гложет. К воде обрывчик в аршин. Слоны вошли в воду, взяли с собой слонёнка. Поставили, где ему по грудь вода, и стали его вдвоём мыть.

Наберут со дна песку с водой в хобот и, как из кишки, его поливают.

Здорово так — только брызги летят.

А ребята боятся в воду лезть: больно уж быстрое течение — унесёт. Скачут на берегу — и давай в слона камешками кидать. Ему нипочём. Он даже внимания не обращает — всё своего слонёнка моет. Потом, смотрю, набрал в хобот воды и вдруг как повернёт на мальчишек и одному прямо в пузо как дунет струёй — тот так и сел.

Хохочет — заливается.

Слон опять своего мыть. А ребята ещё пуще камешками его донимать. Слон только ушами трясёт: не приставайте, мол, видите — некогда баловаться! И как раз, когда мальчишки не ждали, думали — он водой на слонёнка дунет, — он сразу хобот повернул да в них.

Те рады, кувyrкаются.

Слон вышел на берег, слонёнок ему хобот протянул как руку. Слон заплёл свой хобот об его и помог ему на обрывчик вылезти.

Пошли все домой — трое слонов и четверо ребят.

На другой день я уже расспросил, где можно слонов поглядеть на работе.

На опушке леса, у речки, нагорожен целый город тёсаных брёвен. Штабеля стоят, каждый вышиной с избу. Тут же стоял один слон. И сразу видно было, что он уже совсем старик: кожа на нём совсем обвисла и заскорузла, и хобот, как тряпка, болтается. Уши обгрызенные какие-то.

Смотрю — из лесу идёт другой слон. В хоботе качается бревно — громадный брус обтёсанный. Пудов, должно быть, во сто. Носильщик грузно переваливается, подходит к старому слону. Старый подхватывает бревно с одного конца, а носильщик опускает бревно и перебирается хоботом в другой конец. Я смотрю: что же это они будут делать? А слоны вместе, как по команде, подняли бревно

на хоботах вверх и аккуратно положили на штабель. Да так ровно и правильно — как плотник на постройке!

И ни одного человека около них.

Я потом узнал, что этот старый слон и есть главный артельщик; он уже состарился на этой работе.

Носильщик ушёл не спеша в лес, а старик повесил хобот, повернулся задом к штабелю и стал смотреть на реку, как будто хотел сказать: «Надоело мне это — и не глядел бы».

А из лесу идёт уже третий слон с бревном.

Мы — туда, откуда выходили слоны.

Прямо стыдно рассказывать, что мы тут увидели.

Слоны с лесных разработок таскали эти брёвна к речке. В одном месте у дороги — два дерева по бокам, да так, что слону с бревном не пройти. Слон дойдёт до этого места, опустит бревно на землю, повернёт бревно вдоль дороги, присядет на передние колена, подвернёт хобот — и самым носом, самым корнем хобота толкает бревно вперёд. Земля, каменья летят, трёт и пашет бревно землю, а слон ползёт и пихает. Видно, как трудно ему на коленках ползти. Потом встанет, отдышится и не сразу за бревно берётся. Опять повернёт его поперёк дороги, опять на колени. Положит хобот на землю и коленками накатывает бревно на хобот. Как хобот не раздавит! Гляди — снова уже встал и несёт. Качается, как грузный маятник, бревнище на хоботе.

Их было восемь — всех слонов-носильщиков, и каждому приходилось пихать бревно носом: люди не хотели спилить те два дерева, что стояли на дороге.

Нам неприятно стало смотреть, как тужится старик у штабеля, и жаль было слонов, что ползали на коленках. Мы недолго постояли и ушли.



Как я ловил человечков

Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка. А на полке пароходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба: жёлтая и на ней два чёрных пояса. И две мачты. А от мачт шли к бортам верёвочные лесенки. На корме стояла будочка, как домик. Полированная, с окошечками и дверкой. А уж совсем на корме — медное рулевое колесо. Снизу под кормой — руль. И блестел перед рулём винт, как медная розочка. На носу два якоря. Ах, какие замечательные! Если б хоть один у меня такой был!

Я сразу запросил у бабушки, чтоб поиграть пароходиком. Бабушка мне всё позволяла. А тут вдруг нахмурилась: — Вот это уж не проси. Не то играть — трогать не смей. Никогда! Это для меня дорогая память.

Я видел, что, если и заплакать, — не поможет.

А пароходик важно стоял на полке на лакированных подставках. Я глаз от него не мог оторвать. А бабушка:

— Дай честное слово, что не прикоснёшься. А то лучше спрячу-ка от греха.

И пошла к полке.

Я чуть не заплакал и крикнул всем голосом:

— Честное-расчестное, бабушка. — И схватил бабушку за юбку. Бабушка не убрала пароходика.

Я всё смотрел на пароходик. Влезал на стул, чтоб лучше видеть. И всё больше и больше он мне казался настоящим. И непременно должна дверца в будочке отворяться. И наверно, в нём живут человечки. Маленькие, как раз по росту пароходика. Выходило, что они должны быть чуть ниже спички. Я стал ждать, не поглядит ли кто из них в окошечко. Наверно, подглядывают. А когда дома никого нет, выходят на палубу. Лазят, наверно, по лестничкам на мачты.

А чуть шум — как мыши: юрк в каюту. Вниз — и притаятся. Я долго глядел, когда был в комнате один. Никто не выглянул. Я спрятался за дверь и глядел в щёлку. А они хитрые, человечки проклятые, знают, что я подглядываю. Ага! Они ночью работают, когда никто их спугнуть не может. Хитрые.

Я стал быстро-быстро глотать чай. И запросился спать. Бабушка говорит:

— Что это? То тебя силком в кровать не загонишь, а тут этакую рань и спать просишься.

И вот, когда улеглись, бабушка погасила свет. И не видно парходика. Я ворочался нарочно, так что кровать скрипела. Бабушка:

— Чего ты всё ворочаешься?

— А я без света спать боюсь. Дома всегда ночник зажигают. — Это я наврал: дома ночью темно наглухо.

Бабушка ругалась, однако встала. Долго ковырялась и устроила ночник. Он плохо горел. Но всё же было видно, как блестел парходик на полке.

Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и маленькую дырочку. И из дырочки глядел не шевелясь. Скоро я так присмотрелся, что на парходике мне всё стало отлично видно. Я долго глядел. В комнате было совсем тихо. Только часы тикали. Вдруг что-то тихонько зашуршало. Я насторожился — шорох этот на парходике. И вот будто дверка приоткрылась. У меня дыхание спёрло. Я чуть двинулся вперёд. Проклятая кровать скрипнула. Я спугнул человечка!

Теперь уж нечего было ждать, и я заснул. Я с горя заснул.

На другой день я вот что придумал. Человечки, наверно же, едят что-нибудь. Если дать им конфету, так это для них целый воз. Надо отломить от леденца кусок и положить на парходик, около будочки. Около самых дверей. Но такой кусок, чтоб сразу в ихние дверцы не про-

лез. Вот они ночью двери откроют, выглянут в щёлочку. Ух ты! Конфетища! Для них это — как ящик целый. Сейчас выскочат, скорее конфетину к себе тащить. Они её в двери, а она не лезет! Сейчас сбегают, принесут топорики — маленькие-маленькие, но совсем всамделишные — и начнут этими топориками тукать: тук-тук! тук-тук! И скорее пропирать конфетину в дверь. Они хитрые, им лишь бы всё вёртко. Чтоб не поймали. Вот они завозятся с конфетиной. Тут, если я и скрипну, всё равно им не поспеть: конфетина в дверях застрянет — ни туда, ни сюда. Пусть убегут, а всё равно видно будет, как они конфетину тащили. А может быть, кто-нибудь с перепугу топорик упустит. Где уж им будет подбирать! И я найду на пароходике на палубе малюсенький настоящий топорик, остренький-преостренький.

И вот я тайком от бабушки отрубил от леденца кусок, как раз какой хотел. Выждал минуту, пока бабушка в кухне возилась, раз-два — на стол ногами и положил леденец у самой дверки на пароходике. Ихних полшага от двери до леденца. Слез со стола, рукавом затёр, что ногами наследил. Бабушка ничего не заметила.

Днём я тайком взглядывал на пароходик. Повела бабушка меня гулять. Я боялся, что за это время человечки утянут леденец и я их не поймаю. Я дорогой нюнил нарочно, что мне холодно, и вернулись мы скоро. Я глянул первым делом на пароходик! Леденец как был — на месте. Ну да! Дураки они днём браться за такое дело!

Ночью, когда бабушка заснула, я устроился в домике из одеяла и стал глядеть. На этот раз ночник горел замечательно, и леденец блестел, как льдинка на солнце, острым огоньком. Я глядел, глядел на этот огонёк и заснул, как назло! Человечки меня перехитрили. Я утром глянул — леденца не было, а встал я раньше всех, в одной рубашке бегал глядеть. Потом со стула глядел — топорика, конечно, не было. Да чего же им было бросать: работали не

спеша, без помехи, и даже крошечки ни одной нигде не валялось — всё подобрали.

Другой раз я положил хлеб. Я ночью даже слышал какую-то возню. Проклятый ночник еле коптел, я ничего не мог рассмотреть. Но наутро хлеба не было.

Чуть только крошек осталось. Ну понятно, им хлеба-то не особенно жалко, не конфеты: там каждая крошка для них леденец.

Я решил, что у них в пароходике с обеих сторон идут лавки. Во всю длину. И они днём там сидят рядом и тихонько шепчутся. Про свои дела. А ночью, когда все-все заснут, тут у них работа.

Я всё время думал о человечках. Я хотел взять тряпочку, вроде маленького коврика, и положить около дверей. Намочить тряпочку чернилами. Они выбегут, не заметят сразу, ножки запачкают и наследят по всему пароходику. Я хоть увижу, какие у них ножки. Может быть, некоторые босиком, чтобы тише ступать. Да нет, они страшно хитрые и только смеяться будут над всеми моими штуками.

Я не мог больше терпеть.

И вот я решил непременно взять пароходик и посмотреть и поймать человечков. Хоть одного. Надо только устроить так, чтобы остаться одному дома. Бабушка всюду меня с собой таскала, во все гости. Всё к каким-то старухам. Сиди — и ничего нельзя трогать. Можно только кошку гладить. И шушукает бабушка с ними полдня.

Вот я вижу — бабушка собирается: стала собирать печенье в коробочку для этих старух — чай там пить. Я побежал в сени, достал мои варежки вязанные и натёр себе и лоб и щёки — всю морду, одним словом. Не жалея. И тихонько прилёг на кровать.

Бабушка вдруг хватилась:

— Боря, Боряшка, где ж ты?

Я молчу и глаза закрыл. Бабушка ко мне:

— Что это ты лёг?

— Голова болит.

Она тронула лоб.

— Погляди-ка на меня! Сиди дома. Назад пойду, малины возьму в аптеке. Скоро вернусь. Долго сидеть не буду. А ты раздевайся-ка и ложись. Ложись, ложись без разговору.

Стала помогать мне, уложила, увернула одеялом и всё приговаривала: «Я сейчас вернусь, живым духом».

Бабушка заперла меня на ключ. Я выждал пять минут: а вдруг вернётся? Вдруг забыла там что-нибудь?

А потом я вскочил с постели как был, в рубаше. Я вскочил на стол, взял с полки пароходик. Сразу руками понял, что он железный, совсем настоящий. Я прижал его к уху и стал слушать: не шевелятся ли? Но они, конечно, примолкли. Поняли, что я схватил ихний пароход. Ага! Сидите там на лавочке и примолкли, как мыши. Я слез со стола и стал трясти пароходик. Они стряхнутся, не усидят на лавках, и я слышу, как они там болтаются.

Но внутри было тихо.

Я понял: они сидят на лавках, ноги поджали и руками что есть сил уцепились в сиденья. Сидят как приклеенные.

Ага! Так погодите же. Я подковырну и приподниму палубу. И вас всех там накрою. Я стал доставать из буфета столовый нож, но глаз не спускал с пароходика, чтоб не выскочили человечки. Я стал подковыривать палубу. Ух, как плотно всё заделано. Наконец удалось немножко подсунуть нож. Но мачты поднимались вместе с палубой. А мачтам не давали подниматься эти верёвочные лесенки, что шли от мачт к бортам. Их надо было отрезать — иначе никак. Я на миг остановился. Всего только на миг. Но сейчас же торопливой рукой стал резать эти лесенки. Пилил их тупым ножом. Готово, все они повисли, мачты свободны. Я стал ножом приподнимать палубу. Я боялся сразу дать боль-

шую щель. Они бросятся все сразу и разбегутся. Я оставил щёлку, чтобы пролезть одному. Он ползет, а я его — хлоп! — и захлопну, как жука в ладони. Я ждал и держал руку наготове — схватить.

Не лезет ни один! Я тогда решил сразу отвернуть палубу и туда в серёдку рукой — прихлопнуть. Хоть один да попадётся. Только надо сразу: они уж там небось приготовились — откроешь, а человечки прыск все в стороны.

Я быстро откинул палубу и прихлопнул внутрь рукой. Ничего. Совсем, совсем ничего! Даже скамеек этих не было. Голые борта. Как в кастрюльке. Я поднял руку. И под рукой, конечно, ничего. У меня руки дрожали, когда я прилаживал назад палубу. Всё криво становилось. И лесенки никак не приделать. Они болтались как попало. Я кой-как приткнул палубу на место и поставил парходик на полку. Теперь всё пропало!

Я скорее бросился в кровать, завернулся с головой.

Слышу ключ в дверях.

— Бабушка! — под одеялом шептал я. — Бабушка, милая, родная, чего я наделал-то!

А бабушка стояла уж надо мной и по голове гладила:

— Да чего ты ревёшь да плачешь-то чего? Родной ты мой, Борюшка! Видишь, как я скоро?

Она ещё не видала парходика.



КАТАЕВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ
(1897—1986)

Цветик-семицветик

Жила девочка Женя. Однажды послала её мама в магазин за баранками. Купила Женя семь баранок: две баранки с тмином — для папы, две баранки с маком — для мамы, две баранки с сахаром — для себя и одну маленькую розовую баранку — для братика Павлика. Взяла Женя связку баранок и отправилась домой. Идёт, по сторонам зеваёт, вывески читает, ворон считает. А тем временем сзади пристала незнакомая собака да все баранки одну за другой и съела: съела папины с тмином, потом мамины с маком, потом Женины с сахаром. Почувствовала Женя, что баранки стали что-то чересчур лёгкие. Обернулась, да уж поздно. Мочалка болтается пустая, а собака последнюю, розовую Павликову бараночку доедает, облизывается.

— Ах, вредная собака! — закричала Женя и бросилась её догонять.

Бежала, бежала, собаку не догнала, только сама заблудилась. Видит — место совсем незнакомое, больших домов нет, а стоят маленькие домики. Испугалась Женя и заплакала. Вдруг откуда ни возьмись — старушка.

— Девочка, девочка, почему ты плачешь?

Женя старушке всё и рассказала.

Пожалела старушка Женю, привела её в свой садик и говорит:

— Ничего, не плачь, я тебе помогу. Правда, баранок у меня нет и денег тоже нет, но зато растёт у меня в са-

дикое один цветок, называется «цветик-семицветик», он всё может. Ты, я знаю, девочка хорошая, хоть и любишь зевать по сторонам. Я тебе подарю цветик-семицветик, он всё устроит.

С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене очень красивый цветок вроде ромашки. У него было семь прозрачных лепестков, каждый другого цвета: жёлтый, красный, синий, зелёный, оранжевый, фиолетовый и голубой.

— Этот цветик, — сказала старушка, — не простой. Он может исполнить всё, что ты захочешь. Для этого надо только оторвать один из лепестков, бросить его и сказать:

Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли —
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы сделалось то-то

или то-то.

И это тотчас сделается.

Женя вежливо поблагодарила старушку, вышла за калитку и тут только вспомнила, что не знает дороги домой. Она захотела вернуться в садик и попросить старушку, чтобы та проводила её до ближнего милиционера, но ни садика, ни старушки как не бывало. Что делать? Женя уже собиралась, по своему обыкновению, заплакать, даже нос наморщила, как гармошку, да вдруг вспомнила про заветный цветок.

— А ну-ка, посмотрим, что это за цветик-семицветик!

Женя поскорее оторвала жёлтый лепесток, кинула его и сказала:

Лети, лети, лепесток,
 Через запад на восток,
 Через север, через юг,
 Возвращайся, сделав круг.
 Лишь коснёшься ты земли —
 Быть по-моему вели.
 Вели, чтобы я была дома
 с баранками!

Не успела она это сказать, как в тот же миг очутилась дома, а в руках — связка баранок!

Женя отдала маме баранки, а сама про себя думает: «Это и вправду замечательный цветок, его непременно надо поставить в самую красивую вазочку!»

Женя была совсем небольшая девочка, поэтому она влезла на стул и потянулась за любимой маминой вазочкой, которая стояла на самой верхней полке.

В это время, как на грех, за окном пролетали вороны. Жене, понятно, тотчас захотелось узнать совершенно точно, сколько ворон — семь или восемь. Она открыла рот и стала считать, загибая пальцы, а вазочка полетела вниз и — бац! — раскололась на мелкие кусочки.

— Ты опять что-то разбила, тяпа-растяпа! — закричала мама из кухни. — Не мою ли самую любимую вазочку?

— Нет, нет, мамочка, я ничего не разбила. Это тебе послышалось! — закричала Женя, а сама поскорее оторвала красный лепесток, бросила его и прошептала:

Лети, лети, лепесток,
 Через запад на восток,
 Через север, через юг,
 Возвращайся, сделав круг.
 Лишь коснёшься ты земли —
 Быть по-моему вели.
 Вели, чтобы мамина любимая
 вазочка сделалась целая!

Не успела она это сказать, как черепки сами собой поползли друг к другу и стали срастаться.

Мама прибежала из кухни — глядь, а её любимая вазочка как ни в чём не бывало стоит на своём месте. Мама на всякий случай погрозила Жене пальцем и послала её гулять во двор.

Пришла Женя во двор, а там мальчики играют в папанинцев: сидят на старых досках, и в песок воткнута палка.

— Мальчики, мальчики, примите меня поиграть!

— Чего захотела! Не видишь — это Северный полюс? Мы девчонок на Северный полюс не берём.

— Какой же это Северный полюс, когда это одни доски?

— Не доски, а льдины. Уходи, не мешай! У нас как раз сильное сжатие.

— Значит, не принимаете?

— Не принимаем. Уходи!

— И не нужно. Я и без вас на Северном полюсе сейчас буду. Только не на таком, как ваш, а на всамделишном. А вам — кошкин хвост!

Женя отошла в сторонку, под ворота, достала заветный цветик-семицветик, оторвала синий лепесток, кинула и сказала:

Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли —
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы я сейчас же была
на Северном полюсе!

Не успела она это сказать, как вдруг откуда ни возьмись налетел вихрь, солнце пропало, сделалась страшная ночь, земля закружилась под ногами, как волчок.

Женя, как была в летнем платье с голыми ногами, одна-одинёшенька оказалась на Северном полюсе, а мороз там сто градусов!

— Ай, мамочка, замерзаю! — закричала Женя и стала плакать, но слёзы тут же превратились в сосульки и повисли на носу, как на водосточной трубе.

А тем временем из-за льдины вышли семь белых медведей и прямёхонько к девочке, один другого страшней: первый — нервный, второй — злой, третий — в берете, четвёртый — потёртый, пятый — помятый, шестой — рябой, седьмой — самый большой.

Не помня себя от страха, Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-семицветик, вырвала зелёный лепесток, кинула и закричала что есть мочи:

Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли —
Быть по-моему вели.
Вели, чтоб я сейчас же очутилась
опять на нашем дворе!

И в тот же миг она очутилась опять во дворе. А мальчишки на неё смотрят и смеются:

- Ну и где же твой Северный полюс?
- Я там была.
- Мы не видели. Докажи!
- Смотрите — у меня ещё висит сосулька.
- Это не сосулька, а кошкин хвост! Что, взяла?

Женя обиделась и решила больше с мальчишками не водиться, а пошла на другой двор водиться с девочками. Пришла, видит — у девочек разные игрушки. У кого коляска, у кого мячик, у кого прыгалка, у кого трёхколес-

ный велосипед, а у одной — большая говорящая кукла в кукольной соломенной шляпке и в кукольных калошках. Взяла Женю досада. Даже глаза от зависти стали жёлтые, как у козы.

«Ну, — думает, — я вам сейчас покажу, у кого игрушки!» Вынула цветик-семицветик, оторвала оранжевый лепесток, кинула и сказала:

Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли —
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы все игрушки,
какие есть на свете, были мои!

И в тот же миг откуда ни возьмись со всех сторон повалили к Жене игрушки.

Первыми, конечно, прибежали куклы, громко хлопая глазами и пища без передышки: «папа-мама», «папа-мама». Женя сначала очень обрадовалась, но кукол оказалось так много, что они сразу заполнили весь двор, переулок, две улицы и половину площади. Невозможно было сделать шагу, чтобы не наступить на куклу.

Вокруг, представляете себе, какой шум могут поднять пять миллионов говорящих кукол? А их было никак не меньше. И то это были только московские куклы. А куклы из Ленинграда, Харькова, Киева, Львова и других советских городов ещё не успели добежать и галдели, как попугаи, по всем дорогам Советского Союза. Женя даже слегка испугалась. Но это было только начало. За куклами сами собой покатались мячики, шарики, самокаты, трёхколёсные велосипеды, тракторы, автомобили, танки, танкетки, пушки. Прыгалки ползли по земле, как ужи, путаясь под ногами

и заставляя нервных кукол пищать ещё громче. По воздуху летели миллионы игрушечных самолётов, дирижаблей, планеров. С неба, как тюльпаны, сыпались ватные парашютисты, повисая на телефонных проводах и деревьях.

Движение в городе остановилось. Поставые милиционеры влезли на фонари и не знали, что им делать.

— Довольно, довольно! — в ужасе закричала Женя, хватаясь за голову. — Будет! Что вы, что вы! Мне совсем не надо столько игрушек. Я пошутила. Я боюсь...

Но не тут-то было! Игрушки всё валили и валили...

Уже весь город был завален до самых крыш игрушками.

Женя по лестнице — игрушки за ней. Женя на балкон — игрушки за ней. Женя на чердак — игрушки за ней. Женя выскочила на крышу, поскорее оторвала фиолетовый лепесток, кинула и быстро сказала:

Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли —
Быть по-моему вели.
Вели, чтоб игрушки поскорей
убирались обратно в магазины.

И тотчас все игрушки исчезли.

Посмотрела Женя на свой цветик-семицветик и видит, что остался всего один лепесток.

— Вот так штука! Шесть лепестков, оказывается, потратила — и никакого удовольствия. Ну, ничего. Вперёд буду умнее.

Пошла она на улицу, идёт и думает: «Чего бы мне ещё всё-таки велеть? Велю-ка я себе, пожалуй, два кило «мишек». Нет, лучше два кило «прозрачных». Или нет... Лучше сделаю так: велю полкило «мишек», полкило «прозрачных»,

сто граммов халвы, сто граммов орехов и ещё, куда ни шло, одну розовую баранку для Павлика. А что толку? Ну, допустим, всё это я велю и съем. И ничего не останется. Нет, велю я себе лучше трёхколёсный велосипед. Хотя зачем? Ну, покатаюсь, а потом что? Ещё, чего доброго, мальчишки отнимут. Пожалуй, и поколотят! Нет. Лучше я себе велю билет в кино или в цирк. Там всё-таки весело. А может быть, велеть лучше новые сандалеты? Тоже не хуже цирка. Хотя, по правде сказать, какой толк в новых сандалетах? Можно велеть чего-нибудь ещё гораздо лучше. Главное, не надо торопиться».

Рассуждая таким образом, Женя вдруг увидела превосходного мальчика, который сидел на лавочке у ворот. У него были большие синие глаза, весёлые, но смирные. Мальчик был очень симпатичный — сразу видно, что не драчун, и Жене захотелось с ним познакомиться. Девочка без всякого страха подошла к нему так близко, что в каждом его зрачке очень ясно увидела своё лицо с двумя косичками, разложенными по плечам.

— Мальчик, мальчик, как тебя зовут?

— Витя. А тебя как?

— Женя. Давай играть в салки?

— Не могу. Я хромой.

И Женя увидела его ногу в уродливом башмаке на очень толстой подошве.

— Как жалко! — сказала Женя. — Ты мне очень понравился, и я бы с большим удовольствием побегала с тобой.

— Ты мне тоже очень нравишься, и я бы тоже с большим удовольствием побегал с тобой, но, к сожалению, это невозможно. Ничего не поделаешь. Это на всю жизнь.

— Ах, какие пустяки ты говоришь, мальчик! — воскликнула Женя и вынула из кармана свой заветный цветик-семицветик. — Гляди!

С этими словами девочка бережно оторвала последний, голубой лепесток, на минутку прижала его к глазам, затем разжала пальцы и запела тонким голоском, дрожащим от счастья:

Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли —
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы Витя был здоров!

И в ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, стал играть с Женей в салки и бегал так хорошо, что девочка не могла его догнать, как ни старалась.



ОСЕЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА (1902—1969)

СЫНОВЬЯ

Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький старичок на камушек отдохнуть присел.

Вот говорит одна женщина другой:

— Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит.

— А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, — говорит другая.

А третья молчит.

— Что же ты про своего сына не скажешь? — спрашивают её соседки.

— Что ж сказать? — говорит женщина. — Ничего в нём особенного нету.

Вот набрали женщины полные вёдра и пошли. А старичок — за ними. Идут женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину.

Вдруг навстречу три мальчика выбегают.

Один через голову кувыркается, колесом ходит — любуются им женщины.

Другой песню поёт, соловьём заливается — заслушались его женщины.

А третий к матери подбежал, взял у неё вёдра тяжёлые и потащил их.

Спрашивают женщины старичка:

— Ну что? Каковы наши сыновья?

— А где же они? — отвечает старик. — Я только одного сына вижу!



Синие листья

У Кати было два зелёных карандаша. А у Лены ни одного. Вот и просит Лена Катю:

— Дай мне зелёный карандаш.

А Катя и говорит:

— Спрошу у мамы.

Приходят на другой день обе девочки в школу. Спрашивает Лена:

— Позволила мама?

А Катя вздохнула и говорит:

— Мама-то позволила, а брата я не спросила.

— Ну что ж, спроси ещё у брата, — говорит Лена.

Приходит Катя на другой день.

— Ну что, позволил брат? — спрашивает Лена.

— Брат-то позволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш.

— Я осторожненько, — говорит Лена.

— Смотри, — говорит Катя, — не чини, не нажимай крепко, в рот не бери. Да не рисуй много.

— Мне, — говорит Лена, — только листочки на деревьях нарисовать надо да травку зелёную.

— Это много, — говорит Катя, а сама брови хмурит. И лицо недовольное сделала.

Посмотрела на неё Лена и отошла. Не взяла карандаш. Удивилась Катя, побежала за ней:

— Ну, что ж ты? Бери!

— Не надо, — отвечает Лена.

На уроке учитель спрашивает:

— Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие?

— Карандаша зелёного нет.

— А почему же ты у своей подружки не взяла?

Молчит Лена. А Катя покраснела как рак и говорит:

— Я ей давала, а она не берёт.

Посмотрел учитель на обеих:

— Надо так давать, чтобы можно было взять.



Хорошее

Проснулся Юрик утром. Посмотрел в окно. Солнце светит. Денёк хороший.

И захотелось мальчику самому что-нибудь хорошее сделать.

Вот сидит он и думает:

«Что, если б моя сестрёнка тонула, а я бы её спас!»

А сестрёнка тут как тут:

— Погуляй со мной, Юра!

— Уходи, не мешай думать!

Обиделась сестрёнка, отошла. А Юра думает:

«Вот если б на няню волки напали, а я бы их застрелил!»

А няня тут как тут:

— Убери посуду, Юрочка.

— Убери сама — некогда мне!

Покачала головой няня. А Юра опять думает:

«Вот если б Трезорка в колодец упал, а я бы его вытащил!»

А Трезорка тут как тут. Хвостом виляет: «Дай мне попить, Юра!»

— Пошёл вон! Не мешай думать!

Закрыл Трезорка пасть, полез в кусты. А Юра к маме пошёл:

— Что бы мне такое хорошее сделать?

Погладила мама Юру по голове:

— Погуляй с сестрёнкой, помоги няне посуду убрать, дай водички Трезору.



ПАУСТОВСКИЙ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ (1892—1968)

Какие бывают дожди

...Солнце садится в тучи, дым припадает к земле, ласточки летают низко, без времени голосят по дворам пехути, облака вытягиваются по небу длинными туманными прядями — всё это приметы дождя. А незадолго перед дождём, хотя ещё и не натянуло тучи, слышится нежное дыхание влаги. Его, должно быть, приносит оттуда, где дожди уже пролились.

Но вот начинают капать первые капли. Народное слово «капать» хорошо передаёт возникновение дождя, когда ещё редкие капли оставляют тёмные крапинки на пыльных дорогах и крышах.

Потом дождь расходится. Тогда-то и возникает чудесный прохладный запах земли, впервые смоченной дождём. Он держится недолго. Его вытесняет запах мокрой травы, особенно крапивы.

Характерно, что независимо от того, какой будет дождь, его, как только он начинается, всегда называют очень ласково — дождиком. «Дождик собрался», «дождик припустил», «дождик траву обмывает»...

Чем, например, отличается спорый дождь от грибного?

Слово «спорый» означает — быстрый, скорый. Спорый дождь льётся отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегаящим шумом.

Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, ещё видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг.

При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает.

А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда тёплые. Он не звенит, а шепчет что-то своё, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой.

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после него начинают буйно лезть грибы — липкие маслята, жёлтые лисички, боровики, румяные рыжики, опёнки и бесчисленные поганки.

Во время грибных дождей в воздухе пахнет дымком и хорошо берёт хитрая и осторожная рыба — плотва.

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». Сверкающие солнечные капли этого дождя похожи на крупные слёзы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, как не сказочной красавице царевне!

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков — от мерного стука по тесовой крыше и жидкого звона в водосточной трубе до сплошного, напряжённого гула, когда дождь льёт, как говорится, стеной.

Всё это — только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде...

(Из повести «Золотая роза»)



Кишата

1

Осенью 1902 года я должен был поступить в подготовительный класс Первой киевской гимназии. В ней учился мой средний брат, Вадим. После его рассказов я начал бояться гимназии, иногда даже плакал и просил маму оставить меня дома.

— Неужели ты хочешь быть экстерном? — испуганно спрашивала мама.

Экстернами назывались те мальчики, что учились дома и только каждый год сдавали экзамены при гимназии.

Со слов братьев я хорошо представлял себе кошмарную судьбу этих экстернов. Их нарочно проваливали на экзаменах, всячески издевались над ними, требовали от них гораздо больше знаний, чем от обыкновенных гимназистов. Ниоткуда экстернам не было помощи. Им даже не подсказывали.

Я представлял себе этих истощённых от зубрёжки, заплаканных мальчиков с красными от волнения, оттопыренными ушами. Зрелище было жалкое. Я сдавался и говорил:

— Ну хорошо, я не буду экстерном...

Я не завидовал, как другие мальчики, тому, что киевские кадеты¹ носили белые погоны с жёлтыми вензелями и становились во фронт перед генералами. Не завидовал я и гимназистам, хотя их шинели из серого офицерского сукна, с серебряными пуговицами считались очень красивыми. С детства я был равнодушен ко всякой форменной одежде, кроме морской.

Когда осенью 1902 года я впервые надел длинные брюки и гимназическую курточку, мне было неловко, неудобно и я на время перестал чувствовать себя самим собой. Я стал для себя чужим мальчиком с тяжёлой фуражкой на голове. Я невзлюбил эти твёрдые синие фуражки с огромным гербом, потому что у всех моих товарищей — учеников приготовительного класса — всегда торчали из-под фуражек оттопыренные уши. Когда они снимали фуражку, уши у них делались обыкновенными. Но стоило им надеть фуражку, как уши тотчас оттопыривались. Будто нарочно для того, чтобы инспектор Бодянский, взяв пригостишку за ухо, мог сказать страшным своим голосом:

— Опять опоздал, мизерабль²! Становись в угол и думай о своей горькой судьбе!

Поэтому, как только мама купила мне фуражку, я, подражая старшим братьям, вытащил из неё маленький железный обруч и вырвал атласную подкладку. Такова была традиция — чем больше потрёпана фуражка, тем выше гимназическая доблесть. «Только зубрили и подлизы ходят в новых фуражках», — говорили братья.

¹ Кадёты — воспитанники кадетского корпуса. Там учились будущие офицеры.

² Мизерабль — несчастный (французское слово).

На фуражке полагалось сидеть, носить её в кармане и сбивать ею созревшие каштаны. После этого она приобретала тот боевой вид, который был гордостью настоящего гимназиста.

Мне купили ещё ранец с шелковистой спинкой из оленьей шкурки, пенал, тетради в клетку, тонкие учебники для подготовительного класса, и мама повела меня в гимназию.

Бабушка Викентия Ивановна в это время гостила у нас в Киеве. Она перекрестила меня и повесила мне на шею крестик на холодной цепочке. Трясущимися руками она расстегнула ворот моей чёрной курточки, засунула крестик мне под рубаху, отвернулась и прижала платок к глазам.

— Ну, иди! — сказала она глухим голосом и слегка оттолкнула меня. — Будь умным. Трудись!

Я ушёл с мамой. Всё время я оглядывался на наш дом, будто меня уводили из него навсегда...

2

...Мы вошли с мамой в здание гимназии. Широкая чугунная лестница, стёртая каблуками до свинцового блеска, вела вверх, где был слышен грозный гул, похожий на жужжание пчелиного роя.

— Не пугайся, — сказала мне мама. — Это большая перемена.

Мы поднялись по лестнице. Впервые мама не держала меня за руку. Сверху быстро спускались два старшеклассника. Они уступили нам дорогу. Один из них сказал мне в спину:

— Привели ещё одного несчастного кишонка!

Так я вступил в беспокойное и беспомощное общество пригостишек или, как их презрительно звали старые гимназисты, в общество кишат. Кишатами нас прозвали за то, что мы, маленькие и юркие, кишели и путались на переменах у взрослых под ногами...

Я сел за низенькую парту, изрезанную перочинным ножом. Мне было трудно дышать. Кисло пахло чернилами. Назаренко¹ диктовал: «Однажды Лебедь, Рак да Щука...» За открытым окном на ветке сидел воробей и держал в клюве сухой лист клёна. Мне хотелось поменяться судьбой с воробьём. Воробей посмотрел через окно в класс, жалобно пискнул и уронил лист клёна.

— Новичок, — прогремел Назаренко, — достань тетрадь, пиши и не засматривайся по сторонам, если не хочешь остаться без обеда!

Я достал тетрадку и начал писать. Слеза капнула на промокашку. Тогда мой сосед, чёрный мальчик с весёлыми глазами, Эмма Шмуклер, шепнул:

— Проглоти слюну, тогда пройдёт.

Я проглотил слюну, но ничего не произошло. Я долго ещё не мог вздохнуть всей грудью.

Так начался первый гимназический год.

3

Против подготовительного класса был физический кабинет. В него вела узкая дверь. Мы часто заглядывали на переменах в этот кабинет. Там скамьи подымались амфитеатром² к потолку.

В физический кабинет водили на уроки старшеклассников. Мы, конечно, бились в коридоре у них под ногами, и это им, должно быть, надоело. Однажды один из старшеклассников, высокий бледный гимназист, протяжно свистнул. Старшеклассники тотчас начали хватать нас, кишат, и затаскивать в физический кабинет. Они рассаживались на скамьях и держали нас, зажав коленями.

¹ Назаренко — учитель в подготовительном классе.

² Амфитеатр — места в зале, в классах, расположенные возвышающимся полукругом: каждый следующий ряд выше предыдущего.

Вначале нам это понравилось. Мы с любопытством рассматривали таинственные приборы на полках — чёрные диски, колбы и медные шары. Потом в коридоре затрещал первый звонок. Мы начали вырываться. Старшеклассники нас не пускали. Они крепко держали нас, а самым буйным давали так называемые «груши». Для этого надо было винтообразно и сильно ковырнуть большим пальцем по темени. Это было очень больно.

Зловеще затрещал второй звонок. Мы начали рваться изо всех сил, просить и плакать. Но старшеклассники были неумолимы. Бледный гимназист стал около двери.

— Смотри, — кричали ему старшеклассники, — рассчитай точно!

Мы ничего не понимали. Мы были от ужаса. Сейчас будет третий звонок. Назаренко ворвётся в пустой приготовительный класс. Гнев его будет страшен. Реки наших слёз не смогут смягчить этот гнев.

Затрещал третий звонок. Мы ревели на разные голоса. Бледный гимназист поднял руку. Это значило, что в конце коридора появился физик. Он шёл неторопливо, с опаской прислушиваясь к воплям из физического кабинета.

Физик был очень толстый. Он протискивался в узкую дверь боком. На этом и был построен расчёт старшеклассников. Когда физик заклинился в дверях, бледный гимназист махнул рукой. Нас отпустили, и мы, обезумевшие, помчались, ничего не видя, не понимая и оглашая рыданиями физический кабинет, к себе в класс. Мы с размаху налетели на испуганного физика. На мгновение у двери закипел водоворот из стриженных детских голов. Потом мы вытолкнули физика, как пробку, из дверей в коридор, прорвались у него между ногами и помчались к себе. К счастью, Назаренко задержался в учительской комнате и ничего не заметил.

Старшеклассникам удалось всего раз проделать над нами эту предательскую штуку. Потом мы всегда были настороже. Когда старшеклассники появлялись в коридоре, мы тотчас прятались к себе в класс, закрывали двери и загоразживали их партами.

(Из повести «Далёкие годы»)



Корзина с еловыми шишками

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается зелёными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живёт, как птица пересмешник, весёлое эхо. Оно только и ждёт, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать всё золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал в горах. К тому же кованные листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил Григ.

— Дагни Педерсен, — вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

— Вот беда! — сказал Григ. — Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

— У меня есть старая мамина кукла, — ответила девочка. — Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у неё зеленоватые и в них поблескивает огоньками листва.

— А теперь она спит с открытыми глазами, — печально добавила Дагни. — У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

— Слушай, Дагни, — сказал Григ, — я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

— Ой, как долго!

— Понимаешь, мне нужно её ещё сделать.

— А что это такое?

— Узнаешь потом.

— Разве за всю свою жизнь, — строго спросила Дагни, — вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

— Да нет, это не так, — неуверенно возразил он. — Я сделаю её, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Я не разобью, — умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. — И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с неё пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни», — подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

— Ты ещё маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты её едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чём-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжёлая. В еловых шишках много смолы, и поэтому они весят гораздо больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

— Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп, — ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: — Разве вы не зайдёте к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять её в руки.

— Спасибо! Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошёл в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из неё вываливались шишки.

«Я напишу музыку, — решил Григ. — На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет».

* * *

В Бергене всё было по-старому.

Всё, что могло приглушить звуки, — ковры, портьеры и мягкую мебель — Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нём могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль.

Рояль мог петь обо всём — о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и чёрные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине ещё долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сёстрами. Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок...

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошёл снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык...

Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с сияющими зелёными глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке.

«Спасибо!» — говорит она, сама ещё не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце, — говорит ей Григ. — Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на солнце расцвёл белый цветок и наполнил всё твоё существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодёжи жизнь, работу, талант. Отдал всё без возврата. Потому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни...»

Григ думал так и играл обо всём, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается.

Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щёлку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол.

Около её босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из дома Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

* * *

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил её... погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал её ещё девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой с тяжёлыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится...

Магда работала театральной портнихой. Муж её Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатухе под крышей театра...

В комнате у тётушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шёлка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с чёрными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потёртых на сгибе. Всё это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить...

В комнату надо было подыматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком для позолоты.

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим, тётушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс... сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но всё же тётушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт...

Был тёплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть своё единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в чёрном и, наоборот, в тёмные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела чёрное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав — ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и её длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат...

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца...

Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на неё странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал её имя.

— Это ты меня звал, Нильс? — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на неё, прижав ко рту платок, тётушка Магда.

— Что случилось? — спросила Дагни.

Магда схватила её за руку и прошептала:

— Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

— Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвящённая дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула так глубоко, что у неё заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступившие к горлу слёзы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у неё шумела буря. Потом она наконец услышала, как поёт ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был её лес, её родина! Её горы, песни рожков, шум её моря!..

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке... Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был

Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила всё пространство между землёй и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась лёгкая рябь. Сквозь неё светили звёзды...

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту сторону, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы...

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье, — говорил он. — Ты — блеск зари!».

Музыка стихла. Сначала медленно, потом всё разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на неё. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! — думала Дагни. — Зачем?» Если бы можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы его за шею, прижалась мокрой от слёз щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю... — ответила бы Дагни. — За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек...»



ПЕРМЯК ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ (1902—1982)

Некрасивая Ёлка

В датском говорящем лесу росли датские говорящие деревья. Они разговаривали только по-датски.

В жаркие солнечные дни, изнемогая от зноя, деревья перешептывались друг с другом так тихо, что даже чуткие птицы не могли разобрать, о чём они шепчутся. Зато как только поднимался ветер, в лесу начинался такой шумный разговор, что его без труда мог услышать всякий.

Самой болтливой в лесу была Осина. Её голос, звенящий одиннадцатую тысячами листочков, не умолкал и в полдень. Осина любила позлословить, как, впрочем, и Берёза. А Ёлка наоборот. Ёлка была на редкость молчалива и задумчива. Она в отличие от своих стройных и красивых сестёр росла не очень красивой. Даже, скажем прямо, совсем некрасивой: однобокой и кривой.

Ёлку не любили её лесные собратья, хотя ни одному из них она не сделала ничего дурного. Она не затеняла им солнца, не лишала их влаги, не шелестела, как Дуб или Ясень. Вообще она вела себя очень скромно. Но деревья усвоили отвратительную манеру отношения друг к другу — по внешности. По одежке. По красоте ветвей и строению кроны. А Ёлка была дурнушкой. Это и послужило поводом для насмешек самовлюблённого Ясеня, молодого красавца Клёна и Берёзы с изысканно тонкими ветвями.

Не любили они Ёлку и потому, что ей оказывал особое внимание Сказочник, пользовавшийся большим уважением в лесу. Он часто садился под елью со своими тетрадями и писал сказки или задумчиво мечтал.

Почему он предпочитал именно её тень, никто не знал, но болтали в лесу разное.

Ясень говорил, что Сказочник, так же как и Ёлка, одинок, некрасив и долговяз. Клён находил, будто Ёлка специально для Сказочника осыпает мягкие иглы, чтобы ему было удобнее сидеть под нею. Берёза городила такое, что лучше не повторять этого. И вообще мы не должны брать на себя роль Ветра, который разносит нелепые лесные слухи. К тому же нам давно пора приступить к главному и начать с того, как в лес однажды пришли лесорубы и срубили старый Дуб и как в лесу раздался громкий плач. Плакали дети, внуки, племянники и друзья старого Дуба.

Им казалось, что уже всё кончено. И особенно после того, как старый Дуб был распилен на кряжи и увезён из леса.

Когда дубовая родня оплакивала свежий пень, появился Сказочник. Ему тоже было жаль, что в лесу не стало зелёного богатыря, трёхсотлетнего Дуба. И его слеза капнула на срез пня.

Но слёзы никогда не помогают горю. Зная об этом, он решил рассказать сказку о том, во что иногда превращаются деревья, когда их увозят из леса.

— Господа, — сказал он по-датски, обращаясь к деревьям, — не угодно ли вам прослушать сказку о вашем завтрашнем дне?

В говорящем лесу стало тихо. Деревья насторожили свои листья и стали слушать.

— Никому из вас, как, впрочем, и мне, — начал Сказочник, — не хочется покидать этот прекрасный лес. Но не все, уходя из него, перестают жить. Не все, оказавшись срубленными, умирают.

Лес зашумел и насупился. Начало сказки деревьям показалось не более чем утешительным враньём.

Сказочник подал знак. В лесу стало снова тихо.

— А известно ли вам, господа, что Дуб проживёт ещё сотни и сотни лет, когда он станет дубовым резным потолком библиотеки? А он станет именно им. Так ли уж плохо это, господа деревья?

Деревья одобрительно зашелестели. Теперь Сказочник, завладев вниманием слушающих, спокойно уселся на золотой ковёр мягкой еловой осыпи и стал говорить о том, как снова придут в лес лесорубы и спилят созревшие деревья, не давая им сгнить на корню и превратиться в ничто. Спленные деревья станут домом, мостом, музыкальными инструментами, мебелью или паркетным полом, чтобы жить и служить поколениям.

— Так ли уж это плохо, господа? — сказал он и продолжил сказку о том, как одна мечтательница Сосна превратилась в корабельную мачту и побывала в Индии, Китае, на Курильских островах... Стал рассказывать, как одна Осина стала тридцатью тремя корытами.

— Превращение в корыта хотя и не так заманчиво, — сказал он, — но всё же стать корытом лучше, чем никем, ничем и ни для кого.

— Это верно, — заметила слегка обиженная Осина, — превратиться в корыта куда приятнее, нежели стать дровами. Да, дровами, — повторила она, покосившись на некрасивую Ёлку и окидывая её неприязненным взглядом от корня до вершины.

Заметив этот взгляд, самовлюблённый Ясень спросил Сказочника:

— А почему бы вам не рассказать о еловых дровах?

— Вот именно, — поддержал надменный Клён. — Это бы вселило радужные надежды одной нашей общей знакомой.

Сказочник смутился. Ему не хотелось огорчать некрасивую Ёлку. Он любил её. Он жалел её. Но правда выше любви и жалости.

— Господа, — тихо сказал Сказочник, — разве уж так плохо сгореть для других? Ведь должен же кто-то своим

огнём радовать детей и согревать их в зимнюю стужу. Должен же кто-то выпекать хлебы и плавить металл.

— Да, конечно, конечно, господин Сказочник, кто-то должен это делать, — подтвердил Ясень. — Но согласитесь, что всё-таки лучше стать полированным столом или буфетом, нежели золой и пеплом.

— Хотя, — усмехнулась Берёза, — зола тоже на что-то нужна. Ею, кажется, чистят кастрюли и посыпают тротуары. Так ли уж это плохо, господа? — прошелестела она, издевательски повторяя фразу Сказочника.

Деревья дружно захохотали.

Сказочник снова умолк, а затем, коснувшись рукой Ели, сказал в раздумье:

— Впрочем, никто не знает, как может повернуться судьба. Одни, собираясь жить в веках, забываются ранее, чем увядают цветы на их могилах. Другие, живя скромно и тихо, ни на что особенное не рассчитывая, не думают о бессмертии, а оно, несмотря на это, приходит само. Не отчаивайтесь, некрасивая Ёлка! Как знать, может быть, всё будет по-другому.

С тех пор прошло много лет. Деревья выросли и возмужали. Под некрасивой Ёлкой жили муравьи. Сказочник давно уже не появлялся в лесу, и, как сообщил Ветер, Ель больше никогда не укроет его прохладной и ласковой тенью своих ветвей. Два лесоруба — Время и Возраст — сделали своё дело.

— М-да! — сказал Ясень. — Хотя он и ярко горел... хотя нам от него было тепло и радостно, всё же он сгорел, как сгорают дрова.

— Вот именно, — подтвердил Клён, ставший ещё выше и надменнее. — Если выразаться образно, то он был среди людей не более чем некрасивая Ёлка. То ли дело мы! Мы — ценные деревья. Мы можем превратиться во что угодно: и в спальню королевы, и в трон короля.

Ёлка молча слушала хвастливые, самодовольные рассуждения, и тонкие струйки смолы катились по ее шершавой коре. Ёлка не переставала верить, что она встретится со Сказочником и услышит знакомые слова любимых сказок.

Но напрасно. С ним можно было теперь встречаться только во сне. Поэтому Ёлка часто дремала, надеясь увидеть золотой сон. А он не приходил. Зато пришли лесорубы.

Лесорубы спилили созревшие деревья, и каждое из них получило своё назначение. У поваленной Сосны обрубили ветки и верхушку, затем доставили её на корабельную верфь. Она будет мачтой.

Ясень, Клён и Берёза были отправлены на мебельную фабрику. Осину предназначили для корыт.

Дошла очередь и до некрасивой Ёлки. Её распилили на мелкие чурбаки.

«Так и есть, — подумала Ёлка, — я стала дровами. Теперь мне только остётся сгореть так же ярко, как сгорели вы, дорогой друг, озаряя нас волшебным светом своих сказок».

Готовясь отправиться в топку котла или камина, Ёлка забыла слова Сказочника о том, что «никто не знает, как может повернуться судьба».

Судьба Ёлки повернулась самым неожиданным образом. Ёлка попала на бумажную фабрику и превратилась в ослепительно белые, тонкие, плотные листы бумаги.

Теперь перед нею открылись тысячи возможностей. Она могла стать конвертами и совершать на всех видах транспорта почтовые путешествия. Она могла оказаться газетой или географической картой. Она могла стать нарядной театральной афишей и зазывать людей на представление.

Мало ли куда идёт бумага... Но не будем, однако, строить предположения. Всё оказалось куда лучше, чем может нарисовать самое пылкое воображение.

Ёлку отправили в типографию, и там она стала превращаться в книгу. В какую? Книга книге рознь. А она стала

превращаться в прекрасную книгу сказок. Это она почувствовала тотчас, как на ней появились чётко отпечатанные блестящей чёрной краской дорогие её сердцу слова...

Это были сказки, слышанные ею в дни юности в говорящем лесу.

— Неужели мы с вами встретились снова? — сказала Ёлка, ставшая бумагой, и увидела Сказочника.

Он появился на первой странице — отпечатанным великолепными портретными красками.

— Теперь я вижу, — сказала она, — что не все, оказавшись срубленными, умирают. Мы стали жить с вами книгой сказок.

Искусные руки переплётчика стали одевать книгу в нарядную одежду с золотой отделкой и затейливым тиснением.

Как она красива была теперь! На неё можно было любоваться часами, читать и слушать сутками напролёт. Её бережно брали и очень осторожно листали. Сказки смешили и радовали. Сказки учили мудрости, возвышали души, согревали сердца, будили ненависть к злу и утверждали светлое.

Вскоре Ёлка, став книгой, очутилась на серебристой берёзовой полке в самом лучшем ясеневом шкафу библиотеки.

Она сразу узнала этот шкаф. Он оказался таким же самовлюблённым, каким рос в сказочном говорящем лесу. Ясневый шкаф очень громко хвалился своей новой жилицей на центральной полке:

— Видишь ли ты, Кленовый стол, какое сокровище живёт во мне?

— Да, — ответил Кленовый стол. — Какие мы благородные деревья!

— Как бы позавидовала нам та некрасивая Ёлка, — обрадовалась Берёзовая полка, — как бы позавидовала она, если б могла увидеть, во что мы превратились! С какой отличной книгой живём мы теперь в соседстве! Что ты ска-

жешь на это, старый Дуб? — обратилась Берёзовая полка к резному потолку.

Мудрый резной потолок хитро усмехнулся с высоты своими замысловатыми узорами и, не проронив ни единого слова, застыл в своей изумительной орнаментальной улыбке.

Он, видимо, всё понял.

Теперь у Ёлки были все основания произнести сокрушительную отповедь по адресу Клёна, Ясеня и некоторых других, глумившихся над нею. Но она ничего не сказала, потому что это была добрая, великодушная, настоящая Ёлка. А она могла бы сейчас отчитать их не только по-датски, но и по-английски, и по-немецки, и по-русски, и по-французски. Потому что всемирно известная книга датского сказочника разговаривала на всех языках мира. Даже на тех, которые пока ещё не имеют букв и грамматики. Она сумела бы их отчитать и на этих языках...

Но разве счастье в торжестве низменной страсти возмездия? Это жалкая радость слабых. Ради этого не стоило рассказывать сказку о бессмертии прекрасного.

Вот и всё.



Про нос и язык

У Кати было два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык — один и нос — тоже один.

— Скажи, бабушка, — просит Катя, — почему это у меня всего по два, а язык один и нос один?

— А потому, милая внучка, — отвечает бабушка, — чтобы ты больше видела, больше слышала, больше делала, больше ходила и меньше болтала и нос свой курносый куда не надо не совала.

Вот, оказывается, почему языков и носов бывает только по одному.

Ясно?

Торопливый ножик

Строгал Митя палочку, строгал да бросил. Косая палочка получилась. Неровная. Некрасивая.

— Как же это так? — спрашивает Митю отец.

— Ножик плохой, — отвечает Митя, — косо строгает.

— Да нет, — говорит отец, — ножик хороший. Он только торопливый. Его нужно терпению выучить.

— А как? — спрашивает Митя.

— А вот так, — сказал отец.

Взял палочку да принялся её строгать потихонечку, полегонечку, осторожно.

Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, и тоже стал строгать потихонечку, полегонечку, осторожно.

Долго торопливый ножик не хотел слушаться. Торопился: то вкривь, то вкось норовил вильнуть, да не вышло. Заставил его Митя терпеливым быть.

Хорошо стал строгать ножик. Ровно. Красиво. Послушно.



Самое страшное

Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и как не бояться такого! Товарищей он бил. В девочек из рогатки стрелял. Взрослым рожи строил. Собаке Пушку на хвост наступал. Коту Мурзею усы выдёргивал. Колючего ёжика под шкаф загонял. Даже своей бабушке грубил.

Никого не боялся Вова. Ничего ему не страшно было. И этим он очень гордился. Гордился, да недолго.

Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть. Оставили его — и всё. Он к девочкам побежал. Но и девочки, даже самые добрые, тоже от него отвернулись.

Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на улицу убежал. Хотел Вова с котом Мурзеем поиграть, а кот на шкаф забрался и недобрыми зелёными глазами на мальчика смотрит. Сердится.

Решил Вова из-под шкафа ёжика выманить. Куда там! Ёжик давно в другой дом жить перебрался.

Подошёл было Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз не подняла на внука. Сидит старенькая в уголке, чулок вяжет да слезинки утирает.

Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает на свете: Вова остался один. Один-одинёшенек!



ПРИШВИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1873—1954)

Моя Родина

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

Мать моя вставала рано, до солнца. Я однажды встал тоже до солнца... Мать угостила меня чаем с молоком. Молоко это кипятилось в глиняном горшочке и сверху всегда покрывалось румяной пенкой, а под этой пенкой оно было необыкновенно вкусное, и чай от него делался прекрасным.

Это угощение решило мою жизнь в хорошую сторону; я начал вставать до солнца, чтобы напиться с мамой вкусного чаю. Мало-помалу я к этому утреннему вставанию так привык, что уже не мог проспать восход солнца.

Потом и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда рано, когда весь животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему работать.

И часто-часто я думаю: что, если бы мы так для работы своей поднимались с солнцем! Сколько бы тогда у людей прибыло здоровья, радости, жизни и счастья!

После чаю я уходил на охоту...

Моя охота была и тогда и теперь — в находках.

Нужно было найти в природе такое, чего я ещё не видел, и, может быть, никто ещё в своей жизни с этим не встречался...

Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять — их надо открывать и показывать.

Для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоёмы. В лесах, степях, горах разные ценные животные — будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес, степь, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу — значит охранять Родину.



Норка и Жулька

Норка до того ревнует меня к Жульке, что, когда я позову к себе Жульку, — бежит с большой быстротой, а Жулька, само собой, ревнует Норку и тоже спешит, если я позову Норку.

Теперь у них так и пошло:

— Норка! — кричу я.

Появляется Жулька.

— Жулька!

Появляется Норка.

Ребята и утята

Маленькая дикая уточка чирок-свистунок решилась наконец-то перевести своих утят из леса, в обход деревни, в озеро на свободу. Весной это озеро далеко разливалось, и прочное место для гнезда можно было найти только версты за три, на кочке, в болотном лесу. А когда вода спала, пришлось все три версты путешествовать к озеру. В местах, открытых для глаз человека, лисицы и ястреба, мать шла позади, чтобы не выпускать утят ни на минуту из виду. И около кузницы, при переходе через дорогу, она, конечно, пустила их вперёд. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Всё время, пока они ловили утят, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелётывала в разные стороны на несколько шагов в величайшем волнении. Ребята только было собрались закидать шапками мать и поймать её, как утят, но тут я подошёл.

— Что вы будете делать с утятами? — строго спросил я ребят.

Они трусили и ответили:

— Пустим.

— Вот то-то «пустим»! — сказал я очень сердито. — Зачем вам надо было их ловить? Где теперь мать?

— А вон сидит! — хором ответили ребята.

И указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно сидела с раскрытым от волнения ртом.

— Живо, — приказал я ребятам, — идите и возвратите ей всех утят!

Они как будто даже и обрадовались моему приказанию и побежали с утятами на холм. Мать отлетела немного и, когда ребята ушли, бросилась спасать своих сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежа-

ла к овсяному полю. За ней побежали утята — пять штук. И так по овсяному полю, в обход деревни, семья продолжала своё путешествие к озеру.

Радостно снял я шляпу и, помахав ею, крикнул:

— Счастливый путь, утята!

Ребята надо мной засмеялись.

— Что вы смеётесь, глупыши? — сказал я ребятам. — Думаете, так-то легко попасть утятам в озеро? Вот погодите, дождётесь экзамена в вуз. Снимайте живо все шапки, кричите «до свидания»!

И те же самые шапки, запylённые на дороге при ловле утят, поднялись в воздух; все разом закричали ребята:

— До свиданья, утята!



Лягушонок

В полднях от горячих лучей солнца стал плавиться снег. Пройдёт два дня, много три — и весна загудит. В полднях солнце так распаривает, что весь снег вокруг нашего домика на колёсах покрывается какой-то чёрной пылью. Мы думали, где-то угли жгли. Приблизил я ладонь к этому грязному снегу, и вдруг — вот те угли! — на сером снегу стало белое пятно: это мельчайшие жучки-прыгушки разлетелись в разные стороны.

В полдневных лучах на какой-нибудь час или два оживают на снегу разные жучки-паучки, блошки, даже комарики перелетают. Случилось, талая вода проникла в глубь снега и разбудила спящего на земле под снежным одеялом маленького розового лягушонка. Он выполз из-под снега наверх, решил по глупости, что началась настоящая весна, и отправился путешествовать. Известно, куда путешествуют лягушки: к ручейку, к болотцу.

Случилось, в эту ночь как раз хорошо припорошило, и след путешественника легко можно было разобрать. След вначале был прямой, лапка за лапкой к ближайшему болотцу... Вдруг почему-то след сбивается, дальше больше и больше. Потом лягушонок мечется туда и сюда, вперёд и назад, след становится похожим на запутанный клубок ниток.

Что случилось? Почему лягушонок вдруг бросил свой прямой путь к болоту и пытался вернуться назад?

Чтобы разгадать, распутать этот клубок, мы идём дальше и вот видим: сам лягушонок, маленький, розовый, лежит, растопылив безжизненные лапки.

Теперь всё понятно. Ночью мороз взялся за вожжи и так стал подхлёстывать, что лягушонок остановился, сунулся туда, сюда и круто повернул к тёплой дырочке, из которой почуял весну.

В этот день мороз ещё крепче натянул свои вожжи, но ведь в нас самих было тепло, и мы стали помогать весне.

Мы долго грели лягушонка своим горячим дыханием — он всё не оживал. Но мы догадались: налили теплой воды в кастрюльку и опустили туда розовое тельце с растопыренными лапками.

Крепче, крепче натягивай, мороз, свои вожжи — с нашей весной ты теперь больше не справишься! Не больше часа прошло, как наш лягушонок снова почуял своим тельцем весну и шевельнул лапками. Вскоре и весь он ожил.

Когда грянул гром и всюду зашевелились лягушки, мы выпустили нашего путешественника в то самое болотце, куда он хотел попасть раньше времени, и сказали ему в напутствие:

— Живи, лягушонок, только, не зная броду, не суйся в воду.



**СЛАДКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1920—1996)**

Лесная азбука

(В сокращении)

ХОРОВОД

Грибник хоть и не берёт мухоморы, но мухоморам рад: раз пошли мухоморы — белых жди! Да и глаз мухоморы радуют — хоть несъедобные и ядовитые. Стоят, подбоченясь, на белых ножках, в кружевных панталончиках, в красных клоунских колпаках: не хочешь, а залюбуешься!

Ну а набредёшь на хоровод мухоморий — впору остолбенеть!

Стоит дюжина красных молодцов посреди зелёной поляны: встали в круг и приготовились к танцу!

Было в старину поверье, что таким мухоморным кольцом отмечен круг, на котором по ночам пляшут ведьмы. Так и называют кольцо из грибов — «ведьмин круг». И хотя теперь никто в ведьм не верит, нет в лесу никаких ведьм, но посмотреть на «ведьмин круг» и сейчас интересно. Он без ведьм даже лучше, словно сами грибы приготовились к танцу.

Вот дюжина танцоров встала в тесный круг, вот — раз-два! — разомкнулись, вот — три-четыре! — приготовились. Теперь — пять-шесть! — кто-то хлопнет в ладоши, и — семь-восемь! — закружится хоровод! Всё быстрее и быстрее — пёстрой праздничной каруселью. Замелькают белые ножки, закивают красные шляпки, зашуршит лежащий лист.

СТОИШЬ И ЖДЁШЬ

И мухоморы стоят и ждут. Ждут, когда ты, наконец, догадаешься и уйдёшь. Чтобы без помех и чужого глаза затеять свой грибной хоровод вокруг круга ведьм. Как в старину...

ДУДКА

Дудкой ребята называют борщевик — растение с высоким и толстым стеблем, с лопушистыми листьями и с белым цветком-зонтиком наверху. Растёт он на лесных полянах, по светлым лесным опушкам. И пахнет мёдом. На сладкий запах слетаются мухи, осы, пчёлы, жуки, бабочки и старательно копошатся в белых цветах.

Но ребят борщевик влечёт не медовым запахом, а толстым, как палка, стеблем, полым внутри. Какие из него получают чудо-дудки!

Чего только из такой дудки не смастеришь. Свистульку смастерить можно: сидеть и весь день свистеть. Можно смастерить духовушку. Насыпать в дудку ягоды черёмухи или рябины и стрелять из кустов в прохожих. А можно сделать насос. Набирать из бочки воды и целый день гоняться друг за другом, поливая холодной струёй.

А насвистишься, настреляешься, наобливаешься — что тогда? А тогда возьми свою дудку и съешь! Чтобы добро не пропадало. Они, дудки, вполне съедобны — как огурчики. Может, даже лекарственные.

А взрослые-то всё кричат: хватит вам гоняться и обливаться, бросьте вы эти надоедные дудки!

Нет уж, дудки!..

ЗАЯЦ СЕРЫЙ

Кто сказал, что заяц серый? «Трусишка зайка серенький», «заяц серый, куда бегал?». А он, заяц-то, совсем не серый! И никогда серым не был. Он зимой белый, а летом — бурый. А его почему-то серым зовут.

Но вот продираюсь я как-то весной сквозь ольховые мелоча и вижу... серого зайца! Замелькал в прутнике, наставя уши и вскидывая задок. Серый ольшаник, серая опадь по низу и... серый заяц! Которого не бывает. И быть не может...

Вот ведь как иногда получается! На одну недельку в году стал заяц серым — и заметили! И даже в песнях прославили. А что остальные сорок восемь недель бурым и белым бегал — словно не замечали. Серенького углядели! Линючего, всклокоченного, облезлого. И серым в песенки вставили. А из песни, как известно, и слова не выбросишь!

ДУБ

Дуб есть дуб: могучий, суровый, величественный. И верный...

Задумали как-то лесоводы посадить в голой степи дубраву, чтобы укротить суховеи. Ну и для людей тень живительная, свежесть и красота. Привезли из дальнего леса жёлуди, зарыли в лунки. Но жёлуди не проросли.

Удивились лесоводы: в лесу глупая сойка рассуёт жёлуди куда вздумается, и они прорастают. А они, знатоки-специалисты, сажали по всем правилам, а ничего не вышло. А если не жёлуди, а саженцы дубовые высадить? Вырастили на лесной делянке саженцы, осторожно их выкопали, высадили в степи. Но и саженцы захирели.

Может, им в степи слишком сухо, дождей не хватает?

Стали саженцы поливать, охаживать. Молодые дубки всё равно завяли.

Может, после тенистого леса им не перенести горячего степного солнца?

Прикрыли саженцы от солнца — саженцы не прижились.

Наверное, нежные саженцы глушат свирепые сорняки, подумали лесоводы. И выдрали весь бурьян, выпололи сорняки. А саженцы снова погибли! Прямо как в сказке про

золотое яичко: дед бил-бил — не разбил, баба била-би-ла — не разбила. На счастье, прибежала мышка — осенила лесоводов мысль. А что, если?.. Так и сделали.

И снова привезли из далёкой дубравы жёлуди, снова для них — как в первый раз! — лунки выкопали, да попросту, без хитрых затей — по-сочьи! — рассовали в них жёлуди. Яичко упало и разбилось: жёлуди проросли!

Не потому проросли, что сойка умней лесоводов, а потому, что на этот раз лесоводы в каждую лунку вместе с жёлудем положили и горсть родной земли. Из той самой дубравы, где эти жёлуди выросли!

И поднялись дубки в степи — крепкие, красивые, стройные. А потом и лес зашумел и заслонил посевы от суховеев. Встала дубрава — могучая и величественная. Как и та, из которой жёлуди брали. А вместе с ними и горсти родной им земли.

ДАРЫ ЛЕСА

Всё, что вокруг тебя, — всё из леса. Стул, стол, диван. Шкаф, этажерка, рама. Книжная полка и книжки на ней. Пол, потолок, стены. Пенал, карандаши, тетради. Балалайка, гитара, скрипка. Навес во дворе, забор, крыльцо. Метла, лодка, удочки.

А варенье! Земляничное, малиновое, черничное. Брусничная вода и морс клюквенный. А грибы! Сушёные, солёные, маринованные. Орехи.

А целебная вода лесных родников и целебный лесной воздух? А тишина, прохлада, тень? А лесные секреты и тайны, что на каждом шагу? А тысячи птичьих песен, переполняющих уши? А тысячи цветов, веселящих глаза? А запахи, от которых в носу свербит? А лесные радости на каждый день?..



Медвежья горка

Увидеть зверя непуганым, за его домашними делами — редкая удача. Мне пришлось.

Искал я в горах горных индеек — уларов. До полудня пролазал зря. Улары — самые чуткие птицы гор. И лазать за ними приходится по кручам у самых ледников.

Устал. Присел отдохнуть.

Тишина — в ушах звенит. Жужжат на припёке мухи. Кругом горы, горы и горы. Вершины их, как острова, поднялись из моря облаков.

Разомлел я на припёке. И заснул. Проснулся — солнце уже вечернее, с золотым ободком. От скал протянулись вниз узкие чёрные тени. Ещё тише стало в горах.

Вдруг слышу: рядом за бугром, будто бык вполголоса: «Му-у-у! Му-у-у-у!» И когтями по камням — шарк, шарк! Вот так бык! С когтями...

Выглядываю осторожно: на уступе ската медведица и два медвежонка. Медведица только проснулась. Закинула башку вверх, зеваает. Зеваает и брюхо лапой чешет. А брюхо толстое, мохнатое. Медвежата тоже проснулись. Смешные, губастые, головастые. Сонными глазами луп-луп, с лапы на лапу переминаются, плюшевыми башками покачивают. Поморгали глазами, покачали башками — и схватились бороться. Лениво спросонок борются. Нехотя. Потом разозлились и сцепились всерьёз. Кряхтят. Упираются. Ворчат. А медведица всей пятернёй то по брюху, то по бокам: блохи кусают!..

Послюнил я палец, поднял — ветер на меня тянет. Перехватил ружьё половчее. Смотрю.

От уступа, на котором были медведи, до другого уступа, пониже, лежал ещё плотный нестаявший снег. Дотолкались медвежата до края — да вдруг и скатились по снегу на нижний уступ. Медведица перестала брюхо чесать,

перегнулась через край, смотрит. Потом позвала тихо: «Р-р-рму-у-у!»

Покарабкались медвежата наверх. Да на полгорке не утерпели и схватились опять бороться. Схватились — и опять покатались вниз. Понравилось им. Выкарабкается один, ляжет на пузечко, подтянется к краю — раз! — и вниз. За ним второй. На боку, на спине, через голову. Визжат: и сладко, и страшно. Я и про ружьё забыл. Кому же придёт в голову стрелять в этих неслухов, что штаны себе на горке протирают! Медвежата наловчились: схватятся и катятся вниз вдвоём. А медведица опять раз-дремалась.

Долго смотрел я на медвежью игру. Потом вылез из-за камня.

Увидели меня медвежата — притихли, во все глаза глядят. А тут и медведица меня заметила. Вскочила, фыркнула, вскинулась на дыбы. Я за ружьё. Глаза в глаза смотрим. Губа у неё отвисла, и два клыка торчат. Клыки мокрые и от травы зелёные.

Вскинул я ружьё к плечу. Медведица схватилась обеими руками за башку, рывкнула — да вниз с горки, да через голову! Медвежата за ней — снег вихрем! Я ружьём вслед машу, кричу:

— А-а, растяпа старая, будешь спать!

Скачет медведица по скату так, что задние лапы за уши забрасывает. Медвежата сзади бегут, курдючками толстыми трясут, оглядываются. И холки горбиком — как у мальчишек-озорников, которых матери закутают зимой в платки: концы под мышки и на спине узел горбиком.

Убежали медведи. «Эх, — думаю, — была не была!» Сел я на снег и — раз! — вниз по накатанной медвежьей горке. Оглянулся — не видал ли кто? — и, весёлый, пошёл к палатке.



Почему год круглый

— Потому год круглый, — сказало Солнце, — что Земля вокруг меня мчится по кругу. Как полный круг сделает, так и год.

— И совсем не потому! — проскрипел Дуб. — Год потому круглый, что за год на всех деревьях годовое кольцо нарастает. Как год, так новое кольцо. А кольцо — тоже круг!

— Нет, друзья, — прошептала Ёлка, — ведь всем известно, что мы, ёлки, круглый год зелёные. А как же мы могли бы быть зелёными, если бы год-то не был круглым.



Сорока и Заяц

— Слушай, Заяц, все говорят, что осина страсть горькая. А ты, смотрю, грызёшь её и даже не жмуришься!

— А я, Сорока, осинку на третье блюдо употребляю. Когда на первое только воздух свежий, на второе — прыжки по снегу, так и горькая осина на третье слаще мёда покажется!



ЧАРСКАЯ ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА (1875—1937)

Живая перчатка

Жил на свете рыцарь, свирепый и жестокий. До того свирепый, что все боялись его, — все, и свои и чужие. Когда он появлялся на коне среди улицы или на городской площади, народ разбегался в разные стороны, улицы и площади пустели. И было чего бояться рыцаря народу! Стоило кому-либо в недобрый час попасться ему на дороге, перейти ему нечаянно путь, и в одно мгновение ока свирепый рыцарь затапывал насмерть несчастного копытами своего коня или пронзал его насквозь тяжёлым острым мечом.

Высокий, худой, с очами, выбрасывающими пламя, с угрюмо сдвинутыми бровями и лицом, искривлённым от гнева, — он наводил ужас на всех. В минуты гнева он не знал пощады, становился страшным и выдумывал самые лютые кары для тех, кто являлся причиной его гнева, и для тех, кто случайно попадался ему в это время на глаза. Но жаловаться королю на свирепого рыцаря было бесполезно: король дорожил своим свирепым рыцарем за то, что тот был искусным полководцем, не раз во главе королевских войск одерживал победы над врагами и покорил много земель. Потому-то король высоко ценил свирепого рыцаря и спускал ему то, чего бы не спустил никому другому. А другие рыцари и воины хотя и не любили свирепого рыцаря, но ценили в нём храбрость, ум и преданность королю и стране...

Бой близился к концу. Свирепый рыцарь, закованный в золотую броню, скакал верхом между рядами войск, воодушевляя своих усталых и измученных воинов.

В этот раз бой был тяжёлый и трудный. Третьи сутки дрались воины под начальством свирепого рыцаря, но победа не давалась им. У врагов, напавших на королевские земли, было больше войска. Ещё минута-две, и враг несомненно одолел бы и ворвался прямо в королевский замок.

Напрасно свирепый рыцарь появлялся то тут, то там на поле брани и то угрозами, то мольбами старался заставить своих воинов собрать последние силы, чтобы прогнать врагов.

Вдруг конь рыцаря шарахнулся в сторону, заметив на земле железную перчатку, такую, какую носили в то время почти все рыцари. Свирепый рыцарь дал шпоры коню, желая заставить его перепрыгнуть через перчатку, но — лошадь ни с места. Тогда рыцарь велел юноше-оруженосцу поднять перчатку и подать её себе. Но едва только рыцарь дотронулся до неё, — перчатка точно живая выскочила из его руки и опять упала на землю.

Рыцарь велел опять её подать себе — и опять повторилось то же самое. Мало того: упав на землю, железная перчатка зашевелилась, как живая рука; пальцы её судорожно задвигались и снова разжались. Рыцарь приказал снова поднять её с земли и, в этот раз крепко зажав её в руке, помчался в передние ряды своих войск, потрясая в воздухе перчаткой. И каждый раз, когда он поднимал высоко перчатку, пальцы перчатки то сжимались, то снова разжимались, и в ту же минуту, точно по сигналу, войска кидались на врага с новой силой. И где ни являлся рыцарь со своей перчаткой, — усталые и измученные его воины оживали и с удвоенной силой бросались на врага. Прошло всего несколько минут, и враги бежали, а вестники свирепого рыцаря стали трубить победу...

Гордый и торжествующий объезжал теперь рыцарь ряды своих усталых, измученных бойцов, спрашивая, кому принадлежит странная перчатка, — но никто не видал до тех пор такой перчатки, никто не знал, откуда она взялась...

Во что бы то ни стало свирепый рыцарь решил узнать, кому принадлежит странная перчатка, и стал объезжать все города, все сёла и деревни и, потрясая в воздухе находкой, спрашивал, чья это перчатка. Нигде не отыскивался хозяин живой перчатки.

В одном городе попался свирепому рыцарю навстречу маленький мальчик и сказал:

— Я слышал от деда, что в лесу живёт старая Мааб... Она знает все тайны мира и, наверное, сумеет открыть тебе значение живой перчатки, рыцарь.

— Едем к ней! — был суровый приказ, и, прищпорив коня, свирепый рыцарь помчался к лесу... Покорная свита помчалась за ним.

Старуха Мааб жила в самой чаще тёмного леса. Она едва двигалась от дряхлости. Когда она увидела перчатку, то глаза у неё загорелись, словно яркие факелы в ночной темноте, и она вся побагровела¹ от восторга.

— Огромное счастье досталось тебе в руки, благородный рыцарь, — глухим голосом произнесла она. — Далеко не всем людям попадается подобное сокровище! Эта живая перчатка — перчатка победы... Судьба нарочно бросила её на твоём пути... Стоит тебе только надеть её на руку, и победа останется всегда за тобой!

Свирепый рыцарь просиял от счастья, надел на руку перчатку, щедро наградил золотом Мааб и умчался из дремучего леса в королевскую столицу.

Прошла неделя.

Не слышно ничего про обычные жестокие проделки рыцаря, не слышно, чтобы он в припадке гнева кого-либо подверг казни, не слышно, чтобы он обидел кого-либо.

Ещё так недавно лилась кровь вокруг свирепого рыцаря рекой, слышались стоны, раздавался плач.

¹ Побагроветь — сделаться багровым — красным густого, тёмного оттенка.

А теперь?

Правда, неделю тому назад попробовал было рыцарь ударить мечом кого-то из прохожих. Но неожиданно рука его, судорожно сжатая живыми пальцами перчатки, опустилась, и тяжёлый меч со звоном упал на землю.

Хотел рыцарь сбросить с руки докучную перчатку, да вспомнил вовремя, что даёт она ему победу, и удержался.

Другой раз хотел рыцарь направить своего коня на окружавшую его толпу людей, и снова до боли сжали его руку живые пальцы перчатки и он не мог двинуть ими для управления конём.

С этой самой минуты понял рыцарь, что идти наперекор живой перчатке бесполезно, что она, эта перчатка, удерживает его от самых жестоких поступков. И перестал он извлекать меч из ножен для гибели неповинных людей.

И люди не боялись теперь выходить из домов на улицы в то время, когда проезжал по ним свирепый рыцарь...

Они без страха появлялись на его пути и славили рыцаря за его победы над врагами.

Снова разгорелась война...

Уже давно дальний сосед короля, властелин богатой страны, прельщал взоры рыцаря.

И он говорил своему королю:

— Гляди! Твой дальний сосед богаче тебя, и хотя ты поклялся ему в вечной дружбе и мире, но если ты победишь его и присвоишь себе его владения, то станешь самым могучим и богатым в мире королём.

Король послушался слов своего любимца.

«Прав рыцарь, — думал король, — завоюю страну моего соседа и разбогатею от его богатства!» И приказал трубить новый поход...

Сошлись два войска на поле брани...

Дружины рыцаря встретились с дружинами короля. Рыцарь был вполне спокоен и заранее уверен в исходе боя.

Он знал: перчатка победы была на его руке...

Солнце восходило и заходило снова... Месяц сиял и мерк и снова сиял. Птицы пели, стихали и снова пели... А люди всё бились и бились без конца. Долгая то была битва...

Долгая и упорная, как никогда.

Свирепый рыцарь стоял в стороне, распорядясь боем, заранее уверенный в победе своих дружин.

Вдруг невиданное зрелище поразило его взоры: враги побеждали, а его воины ударились в бегство...

Взбешённый, он сам кинулся в бой... И... принуждён был отступить... Враги окружили его со всех сторон...

Не помня себя, он дал шпоры коню и погнал его с поля битвы.

Прискакал в столицу, весь обрызганный кровью, рыцарь и упал к ногам короля.

— Не вини меня, король! — вскричал он. — Не я, а старуха Мааб виновница гибели твоего войска... Она обманула меня, заставив надеть на руку перчатку гибели и поражения. Вели казнить её, король, казнить жестокой, страшной смертью, какую только можно придумать!

С первыми лучами солнца весь город высыпал на площадь... В этот ранний утренний час решена была казнь старухи Мааб, привезённой ещё накануне из леса. Решено было сжечь Мааб на костре, чтобы впредь не морочила людей, не выдавала перчатку гибели за перчатку победы.

Привезли на площадь Мааб, сняли с колесницы, ввели на возвышение, где лежали сложенные для костра дрова...

Поставили на них Мааб и привязали верёвками к столбу.

Перед самым столбом стоял свирепый рыцарь и кричал со злым смехом в самое лицо Мааб:

— Ты обманула меня, Мааб! За это умрёшь лютой смертью! И знак к казни я дам той самой перчаткой, которая мне, по твоим словам, должна была доставить победу...

С этими словами он поднял руку, чтобы дать знак палачам зажигать костёр, и вскрикнул в испуге. Рука не дви-

галась... Точно налитая свинцом, она безжизненно повисла вдоль тела. Тогда он открыл рот, желая отдать приказание начинать казнь, но в этот же миг живая перчатка поднялась вместе с рукой и, тесно прижавшись к его рту, чуть не задушила его.

Обезумев от ужаса, рыцарь вскричал:

— Спаси меня, Мааб! Спаси!

Мааб медленно сошла с костра, без всякого усилия перервав верёвки, и, приблизившись к рыцарю, произнесла:

— Я не солгала тебе... Живая перчатка воистину перчатка победы. В каждом правом деле она даст тебе победу всюду и везде. И в последней неудачной битве дала бы она тебе победу, если бы ты не шёл на соседнего короля с корыстолюбивыми целями овладеть его богатством, а защищал своего короля, свою родину, свою честь. И тогда бы ты не потерпел поражения, сознавая себя правым и в честном деле. Знай же, что живая перчатка будет служить тебе только во всех добрых и честных делах! Ведь удерживала она тебя в те минуты, когда ты хотел пролить кровь невинных людей! Дала тебе победу над самим собой! Дала победу и тогда, когда на твою страну напали злые враги!.. Так будет с нею и впредь!..

И, сказав это, исчезла как тень, растаяв в воздухе, Мааб...

Предсказание Мааб сбылось.

Живая перчатка помогала рыцарю во всех его правых делах, давая ему победу, и удерживала его всякий раз, когда он начинал какую-нибудь скверную, несправедливую затею...

И весь народ прославил его имя, и вместо свирепого рыцаря люди прозвали его рыцарем правым и благородным.



Содержание

ФОЛЬКЛОР

ПОТЕШКИ	5
НЕБЫЛИЦЫ	7
ЗАГАДКИ	9
СКОРОГОВОРКИ	11
СЧИТАЛКИ	13

ДОКУЧНЫЕ СКАЗКИ

«Стоит город пуст...»	15
Жили-были два брата	15
Жил-был старичок	15
Пришёл медведь к броду	15
Мы с тобой шли?	16

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

Как мужик гусей делил	17
Дочь-семилетка	18
Мена	22
Снегурочка	25
Привередница	27
Подземные царства	33
Царевна-лягушка	40
Крошечка-Хаврошечка	45

БЫЛИНЫ

Исцеление Ильи Муромца	48

БАСНИ**КРЫЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ**

Мартышка и Очки.....	53
Лебедь, Щука и Рак.....	54
Ворона и Лисица.....	54
Слон и Моська.....	55
Две Бочки.....	56
Свинья под Дубом.....	57

ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Белка и волк.....	58
Комар и лев.....	58
Муравей и Голубка.....	59
Голова и хвост змеи.....	59
Волк и старуха.....	60

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ**XIX век****ДРОЖЖИН СПИРИДОН ДМИТРИЕВИЧ**

Родине.....	63
Привет.....	64

ЖУКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Жаворонок.....	65
Мальчик с пальчик.....	65

ЛЕРМОНТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

«Горные вершины...».....	67
«На севере диком стоит одиноко...».....	67
Бородино.....	68
Тучи.....	71

НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

«Славная осень! Здоровый, ядреный...» (Отрывок из поэмы «Железная дорога»).....	72
«Не ветер бушует над бором...» (Отрывок из поэмы «Мороз. Красный нос»).....	72

«В зимние сумерки нянины сказки» (Отрывок из поэмы «Саша»).....	73
Мужичок с ноготок (отрывок из стих-я «Железная дорога».....	74
Дедушка Мазай и зайцы	75
Генерал Топтыгин	80
НИКИТИН ИВАН САВВИЧ	
«Тихо ночь ложится...»	84
«В синем небе плывут над полями...»	84
ПЛЕЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	
Сельская песня (Отрывок)	85
Весна	85
ПУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	
Зимнее утро.....	86
Осень (Отрывок)	87
Няне	88
Руслан и Людмила (Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»).....	88
«Гонимы вешними лучами...»	89
«Зима!.. Крестьянин торжествуя...».....	90
САВИНОВ ФЕОДОСИЙ ПЕТРОВИЧ	
Родина	91
СУРИКОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ	
Зима	92
Детство	92
ТОЛСТОЙ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ	
«Колокольчики мои...» (Отрывок)	94
«Звонче жаворонка пенье...»	94
ТЮТЧЕВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ	
«Чародейкою Зимою...»	95
«Зима не даром злится...»	95
Весенняя гроза	96
Весенние воды	96
ФЕТ АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ	
«Зреет рожь над жаркой нивой...»	97
«Уж верба вся пушистая...»	97

«Учись у них — у дуба, у березы...»	98
«Кот поёт, глаза прищуря...»	98
«Чудная картина...»	99
«Мама! Глянь-ка из окошка...»	99
«Ласточки пропали...»	100

XX век

АКИМ ЯКОВ ЛАЗАРЕВИЧ

В школу	101
Митины каникулы	102

БАЛЬМОНТ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ

У чудищ	103
Золотая рыбка	104

БЕРЕСТОВ ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ

Читалочка	105
Где право, где лево	105
Первое сентября	106

БЛОК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Зайчик	106
Снег да снег	107

ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Ниночкины покупки	108
Чудаки	109

ЕСЕНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Берёза	110
«Поёт зима — аукает»	110
Черёмуха	111

КОРИНЕЦ ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ

Лапки	111
Лошадиная сила	112

МАЯКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Тучкины штучки	114
Что такое хорошо и что такое плохо?	115
История Власа — лентяя и лоботряса (В сокращении)	117

МОШКОВСКАЯ ЭММА ЭФРАИМОВНА

Я маму мою обидел.....	119
Решительное решение.....	119
Таблица умножения.....	120
«Можно всему-всему научиться».....	121

САКОНСКАЯ НИНА

«От чистого сердца...».....	122
Зимний праздник.....	122
«Мы с мамой...».....	123

УСАЧЁВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Стая и стадо.....	124
Шуршащая песня.....	124
Часы.....	125

ЦВЕТАЕВА МАРИНА ИВАНОВНА

Так.....	126
За книгами.....	126
«Красной кистью...».....	127
Наши царства.....	128
«Бежит тропинка с бугорка...».....	128

ЧЁРНЫЙ САША

«Что ты тискаешь утенка?..».....	129
Храбрецы.....	130
Воробей.....	130
Волк.....	131
Зелёные стихи.....	132
Живая азбука.....	133

ЧУКОВСКИЙ КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ

Путаница.....	137
Федорино горе.....	138

АВТОРСКИЕ СКАЗКИ**РУССКИЕ СКАЗКИ****АКСАКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ**

Аленький цветочек.....	147

ГАРШИН ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ

Лягушка-путешественница 170

ПОГОРЕЛЬСКИЙ АНТОНИЙ

Чёрная Курица, или Подземные жители 175

ПУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Сказка о золотом петушке 207

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном
и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной царевне лебеди..... 214

ШВАРЦ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ

Сказка о потерянном времени..... 243

ЗАРУБЕЖНЫЕ СКАЗКИ

АНДЕРСЕН ГАНС ХРИСТИАН

Самое невероятное 253

Дюймовочка 257

Стойкий оловянный солдатик 269

Пятеро из одного стручка..... 274

Штопальная игла..... 278

Свинопас 282

БРАТЬЯ ЯКОБ ГРИММ И ВИЛЬГЕЛЬМ ГРИММ

Бременские уличные музыканты..... 287

Госпожа Метелица..... 291

Король лягушонок, или Железный Генрих..... 295

Три брата..... 300

Маленькие человечки..... 302

Семеро швабов..... 304

ХАРРИС ДЖОЭЛЬ ЧАНДЛЕР

Братец Кролик и Братец Лис..... 308

Сказка про лошадь Братца Кролика..... 311

Как повстречались Братец Лис
и Братец Черепаха 314

Смоляное Чучелко..... 316

Как Братец Кролик
перехитрил Братца Лиса 318

ШАРЛЬ ПЕРРО

Красная Шапочка	320
Кот в сапогах	324
Подарки феи	329

КИПЛИНГ ДЖОЗЕФ РЕДЬЯРД

Отчего у верблюда горб	332
Кошка, гулявшая сама по себе	336

РАССКАЗЫ И СКАЗЫ

XIX ВЕК

АНДРЕЕВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

Кусака	351

ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Тёма и Жучка	360
Поступление в гимназию	367

ДАЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Девочка Снегурочка	373
Старик-годовик	377

КУПРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Слон (в сокращении)	378

МАМИН-СИБИРЯК ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ

Приёмыш	387
Серая Шейка	393

ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Филипок	403
За ягодами	405
Кавказский пленник (Быль)	407

ТУРГЕНЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Воробей	433

УШИНСКИЙ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ

Четыре желания	434
Кто дерёт нос кверху	435
Ветер и Солнце	436
Учёный медведь	436

ЧЕХОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ

Белолобый.....	438
Ванька	444
Мальчики	448

XX век

БАЖОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Серебряное копытце	456
Синюшкин колодец.....	464

ГАЙДАР АРКАДИЙ

Совесть	478

ГОЛЯВКИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

Про то, для кого Вовка учится.....	480
Яндреев	480

ГОРЬКИЙ МАКСИМ

Воробышко.....	482

ДРАГУНСКИЙ ВИКТОР ЮЗЕФОВИЧ

Друг детства	485
Надо иметь чувство юмора.....	488
Одна капля убивает лошадь	492
«Он живой и светится...»	495
Слава Ивана Козловского.....	498

ДУРОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ

У классной доски.....	502

ЖИТКОВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ

Храбрый утёнок.....	505
Про обезьянку	506
Про слона.....	518
Как я ловил человечков.....	525

КАТАЕВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ

Цветик-семицветик	531

ОСЕЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Сыновья	539
Синие листья.....	540
Хорошее.....	541

ПАУСТОВСКИЙ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ

Какие бывают дожди (Из повести «Золотая роза») ... 542

Кишата 544

Корзина с еловыми шишками 549

ПЕРМЯК ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ

Некрасивая Ёлка 557

Про нос и язык 563

Торопливый ножик 564

Самое страшное 564

ПРИШВИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Моя Родина 565

Норка и Жулька 566

Ребята и утята 567

Лягушонок 568

СЛАДКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Лесная азбука (в сокращении) 570

Медвежья горка 574

Почему год круглый 576

Сорока и Заяц 576

ЧАРСКАЯ ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Живая перчатка 577

Литературно-художественное издание
әдеби-көркемдік баспа

Для младшего школьного возраста
мектеп жасындағы кіші балаларға арналған

СВЕТЛЯЧОК. ХРЕСТОМАТИИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

1–4 классы

(орыс тілінде)

Ответственный редактор *А. Жилинская*
Ведущий редактор *В. Ермолаева*
Художественный редактор *Е. Задвинская*
Технический редактор *Л. Зотова*
Компьютерная верстка *Л. Кузьмина*
Корректор *Д. Горобец*

В оформлении переплета использованы фото:
Ermolaev Alexander, Lyubov Kobyakova, Olga Krasavina / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

ООО «Издательство «ЭКСМО»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Тауар белгісі: «ЭКСМО»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 251 59 89, 90, 91, 92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо», 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: trade@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»
E-mail: International@eksmo-sale.ru

International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.
International@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел. +7(495) 411-68-59, доб. 2261, 1257.
E-mail: viprskaz@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми и канцелярскими товарами для школы и офиса
«Канц-Эксмо»: Компания «Канц-Эксмо», 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kancs@eksmo-sale.ru, сайт: www.kancs-eksmo.ru

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46.
Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru/

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить по адресу: <http://eksmo.ru/certification/>

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылған

Подписано в печать 17.07.2014. Произведено 04.08.2014. Формат 84х108 1/16.
Гарнитура «PragmaticaC». Печать офсетная. Усл. печ. л. 62,16.
Доп. тираж 5000 экз. Заказ 5028.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



ISBN 978-5-699-71646-3



9 785699 716463 >

